

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1832 ГОД





Издание воспроизводит последний, восьмой выпуск альманаха «Северные цветы», с которым связана целая эпоха в истории русской литературы. Особое место, принадлежащее этому сборнику, определяется не только обилием включенных в него художественных текстов, но и тем, что он был составлен и издан А. С. Пушкиным в память А. А. Дельвига.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1832 ГОД

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1832 ГОД

ЛП

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



СЕВЕРНЫЕ
ЦВЕТЫ
НА 1832 ГОД



Издание подготовил
Л. Г. ФРИЗМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАУКА
МОСКВА 1980

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

А. Л. ГРИШУНИН

С $\frac{70301-366}{042(02)-80}$ 487-79.4702010000.

ПРОЗА

ПРЕДСЛАВА И ДОБРЫНЯ

Старинная повесть *

Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о победе над печенегами. Скачет всадник за всадником, и последний возвещает приближение победоносного войска. Шумными толпами истекают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и восклицаний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и веселою апрельскою зеленью. Пыльное облако уже показалось в отдалении; оно приблизилось, рассеялось и обнажило стальные доспехи и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего солнца. Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы сыплют пред конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном проходит дружина, тихо и торжественно, ряд за рядом, и шумные толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают: «Да здравствует победитель печенегов, храбрый Владимир!»

---

* Повесть сия сочинена Батюшковым в деревне 1810 г. и подарена одному любителю словесности, которому свидетельствуем искреннюю благодарность за сообщение драгоценной сей рукописи и за позволение напечатать оную. Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности; может быть, скажут, что в ней не видно древней Руси и двора Владимирова. Как бы то ни было, по поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в других его произведениях, и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом.

Герой, по обычаю древнему, преклонил меч свой к земле, благосклонно поклонился народу и сказал богатырским голосом: «Честь и слава Добрыне! Он избавитель мой!» Богатырь, сидящий на борзом коне своем, отрешил златую запону забрала, снял шелом и открыл голову пред народом и Владимиром в знак почтения и благодарности. Слезы блистали в очах его; черные кудри, колеблемые дыханьем ветра, развевались по плечам, и правая рука его лежала на сердце. Восторженные киевляне снова воскликнули: «Честь и слава Добрыне и всей дружине Русской!» Цветы посыпались на юношу из разных кошниц прекрасных жен и дев киевских, и эхо разнесло по благоуханной долине, где видны были развалины храма, посвященного вечно юной Зимцерле [1]: «Честь и слава дружине!»

Супруга Владимира, прекрасная царевна Анна, и дочь ее, Предслава, выходят навстречу к великому князю. Он простирает к ним свои руки, попеременно прижимает к стальной броне, под которой билось нежное сердце, то супругу, то дочь свою, и все труды ратные забыты в сию сладкую минуту свидания! Владимир указывает им на Добрыню: «Вот избавитель мой!» — говорит он, обращаясь к супруге, к царедворцам и седовласым мудрецам греческим, притекшим с царевною из Царяграда. «Вот избавитель мой! — продолжает великий князь.— Когда единоборство с исполином печенегским кончилось победою, когда войска мои ринулись вослед бегущим врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал по грудам тел и вторгся в толпу отчаянных врагов. Мечи их засверкали надо мной, стрелы пробили шелом и щит; смерть была неизбежна. Но Добрыня рассеял толпы врагов, вторгся в средину ужасной сечи: он спас меня! Чем и как заплачу ему?»

Слезы благодарности заблистали в очах прекрасной Анны; она подала супругу своему и Добрыне правую и левую руку и повела их по узорчатым коврам в высокий терем княжеский. Предслава взглянула на Добрыню, и ланиты ее запылали, подобно алой заре пред утренним солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою, как у стыдливой девы, взглянувшей на жениха своего при блеске брачных светильников.

Прекрасна ты была, княжна Киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий Днепр, сверкающий в просеках дубовых. Но отчего сильно бьется девическое сердце твое под парчами и златою дымкою? Отчего белая грудь твоя волнуется, как лебедь на заливах Черного моря, когда полуденный ветер расколыхает воды его? Отчего глаза твои блистают огнем, когда они невольно обращаются на прекрасного витязя? Ах, и Добрыня давно любил тебя! Давно носил образ твой в сердце, в пламенной груди своей, покрытой тщатно стальною кольчугою! Повсюду образ твой, как тайный призрак, за ним следовал: и на потешных играх, где легкие копья ломаются в честь красных жен и дев киевских, и на войне против ляхов и половцев, на страшных битвах, где стрелы свистят, как вихри, и острые мечи, ударяя по шеломам, наносят глубокие раны. Давно уже богатырь любил красавицу; но никогда не являлась она ему столь прелестною, как в сии минуты славы и радостей народных. Тщетная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя с возлюбленной: и высокий сан ее, и слава Владимира, и слава предков красавицы, повелителей Царяграда! Ты знаешь сие, несчастный Добрыня, знаешь и — любишь. Но сердце твое чуждо радостей, чело твое мрачно посреди веселий и

торжеств народных. Как дерево, которого соки погибли от морозов и непогод зимних, не воскресает с весною, не распускает от вешнего дыхания молодых листков и почек, но стоит уныло посреди холмов и долин бархатных, где все нежится и пирует, так и ты, о витязь, часто мрачен и безмолвен стоишь посреди шумной гридницы, опершись на булатное копье. Все постыло для тебя: и красная площадь, огражденная высоким тыном (поприще словутых подвигов), и столы дубовые, на которых блестят кубки и златые чары с медом искрометным и заморскими винами; все постыло для тебя: турий рог недвижим в руке богатырской, и унылые взоры твои ничем не прельщаются, ниже плясками юных гречанок *, подруг Предславиных, которые, раскинув черные кудри свои по плечам, подобным в белизне снегам Скандинавии, и сплетясь рука с рукою, увеселяют слух и взоры Владимира разнообразными хороводами и нежным, протяжным пением. Они прекрасны, подруги Предславины... Но что звезды вечерние пред красным месяцем, когда он выходит из-за рощей в величии и в полной славе?

Долго ли таиться любви, когда она взаимна, когда все питает ее, даже самая робость любовников? Тогда сердца подобны двум ручьям, которые невольно, как будто влекомые тайною силою, по покатам долин и отлогих холмов ищут друг друга, сливаются воедино,

---

* Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось множество греков при его дворе. Скажем мимоходом, что мы не позволяли себе больших отступлений от истории; но просим читателя не забыть, что повесть не летопись. Здесь вымысл позволен. Относительно к басням

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable [2]

принимается в другом значении. *Соч.*

и дружные воды их составляют единую реку, тихую и прозрачную, которая по долгом и счастливом течении исчезает в морях неизмеримых. Счастливы они, если не найдут преграды в своем течении!

Так красавица и рыцарь невольно, неумышленно прочитали во взорах, в молчании и в словах отрывистых, им одним понятных, взаимную страсть. Они не видели под цветами ужасной пропасти, навеки их разлучающей, ибо она засыпана была руками двух сильных волшебниц, руками *любви и надежды!* Предслава не помышляла об опасности. Добрыня тогда только ужасался своей страсти, тогда только сердце его заливалось кровью, когда прекрасная Анна, мать его возлюбленной, обращала к нему приветливую речь или когда Владимир выхвалял послам чуждых народов силу и храбрость своего избавителя. Юноша страшился неблагодарности.

Терем младой княжны был отделен от высоких теремов Владимира. Длинные деревянные переходы, украшенные резьбой, соединяли сии здания. Вековые дубы, насажденные руками отважного Кия, как говорит предание, осеняли уединенную обитель красавицы. Часто весенние вечера она просиживала на высоком крыльце, опершись рукою на дубовые перилы; часто взоры ее стремились в синюю даль, где высокие холмы, величественно возвышаясь один над другим, неприметно сливались с небесной лазурью; часто, отдалив усердных прислужниц, одна среди безмолвия ночного, она предавалась сладким мечтаниям девического сердца, мечтаниям, которые невольно украшались образом Добрыни. Когда месяц осребрял высокие верхи дубов и кленов и тихое дыхание полночи колебало листы, перебирая их один после другого, тогда Предславу обнимал ужас. Ей мечталось видеть Добрыню.

Она вперяла прилежно слух и взоры; но все было тихо, безмолвно, мечта исчезала, а с ней и тайный, сладостный страх. Так младая княжна питала тоску и любовь свою, когда Добрыня воевал печенегов с великим князем Владимиром. Она переносилась мысленно на поля, обагренные кровью: опасности, окружающие отца ее, ужасали сердце красавицы; но при мысли, что Добрыня падет под мечом или булавою варвара, сердце ее обливалось кровью, тяжко поднималась высокая грудь и слезы падали обильною росою на златошвейные ткани.

Теперь сии деревянные переходы, осененные тению столетних дубов, сия тайная обитель невинности, учинились свидетельницею ее радости. Страстный витязь позабыл и страх, и благодарность: все забыто, когда сердце любит.

Витязь, в часы туманной полуночи, приходил к княжне, и там, у ног ее, поверял ей сердечную тоску и мучения, клялся в верности и утопал в счастии. Но любовники были скромны. Тих и ясен ручей при истоке, но скоро, возрастая собственными водами, становится быстр, порывист, мутен. Такова любовь при рождении, таковы и наши любовники [3].

Между тем все народы покорялись великому князю. И воинственные жители Дуная, и дикие хорваты, сыны густых лесов и пустыней, и печенеги, пиющие вино из черепов убиенных врагов на сражении,— все платили дань христианскому владыке. Народы стран северных, жители туманных берегов Варяжского моря, обитатели неизмеримой и бесплодной Биармии [4] страшились и почитали Владимира. Многие владельцы желали вступить в брак с Предславою, желали, но тщетно, ибо они были все служители идолов или поклонники Магомета.

Часто на холмах, окружающих Киев, неизвестный витязь становил златоглавый шатер и вызывал на единоборство богатырей киевских. Ристалище открывалось, и пришлец, почти всегда побежденный, со стыдом удалялся в свое отечество. Витязи иноплеменные ежедневно увеличивали двор Владимиров. Меж ними блистали красой и храбростью Горислав Ляхский, юноша прекрасный, как солнце весеннего утра, храбрый Стефан Угорский и сильный Андроник Чехский, покрытый косматой кожей медведя, которого он задавил собственными руками в бесплодных пустынях, орошенных Вислою. Все они требовали руки Предславиной, все состязалися с богатырями киевскими и угощаемы были под богатыми наметами гостеприимным Владимиром. «Не наживу друзей сребром и золотом,— говорил он,— нет, а друзьями наживу, по примеру деда и отца моего, сокровища и славу!»

Но ужасная туча сбиралась над главами наших любовников. Радмир, сын князей болгарских, владыка христианского поколения, спешит заключить союз с народом русским и тайно требует руки Предславиной. Владимир принимает богатые дары его и дает ласковый ответ посланнику болгарскому: Радмир вскоре является на берегах Днепровских. Десять ставок, одна другой богатее, блистают при восходе солнечном, и сии ставки принадлежат Радмиру, который, окруженный блистательной толпою витязей дунайских, вступает в терема княжеские. Вид его был величествен, но суров; взоры проницательны, но мрачны; стройный стан его был препоясан искривленным мечом; руки обнажены; грудь покрыта легкою кольчугой, а вниз рамен висела кожа ужасного леопарда. Предслава увидела незнакомца, и сердце ее затрепетало от тайного предчувствия. Невольный румянец, заменяемый смертною бледно-

стию, обнажал страсти, волнующие грудь красавицы. Взоры ее искали Добрыни, который безгласен, бледен стоял в толпе царедворцев; но надменный Радмир толковал в свою пользу явное смущение красавицы и, ободренный своим заблуждением: «Повелитель земли русской,— сказал он,— тебе известны храбрые поколения болгаров, населяющих обильные берега Дуная. Меч храбрых славян не один раз притуплялся о сие железо (указывая на свой меч); не один раз лилась кровь обоих народов, народов равно славных и воинственных, от которых трепетал и Запад, и поколения северные: ибо где неизвестна храбрость болгар и славян! Храбрые россы унизили надменные стены Царяграда; ты рассеял в прах стены Корсунские. Мечом предков моих избиты бесчисленные полчища греков, ими выжжен град, носивший имя древнего Ореста. Мудрые предки мои приняли веру истинного бога *, и ты, Владимир, отверг служение идолов, и ты капища претворил во храмы. Я желаю твоего союза, о повелитель земли Русской! Соединенные народы наши воедино удивят подвигами вселенную, расширят за Урал пределы твоего владычества... У твоего знамени будут сражаться мои воины. Меч мой будет твоим мечом... Но да введу в дом престарелого отца моего твою дочерь, да назову Предславу супругою!.. Владимир! я ожидаю благосклонного ответа».

Царедворцы и младые витязи русские с негодованием взирали на гордого Радмира: они с нетерпением ожидали решительного отказа. Но те из них, которые

* Болгары были магометанского исповедания, но не все, ибо император Михаил, победив их, принудил принять христианскую веру (смотри Нестора). Они же разорили Ариаиополь, носивший в древности имя основателя своего Ореста (и об этом упоминает Нестор). *Соч.* [5]

поседели не на поле ратном, а в служении *гридницы*[6], лучше знали сердце своего владыки: они прочитали во взорах его совершенное согласие, и хитрая их улыбка одобрила речь надменного Радмира. Решительность в битвах, пылкая храбрость и дух величия болгарского владыки, дух, алкающий славы и подвигов, давно были известны Владимиру; гордые слова, гордый и величавый вид его напоминали ему о годах его юности и, наконец, союз двух народов, доселе неприязненных, но равно храбрых и сильных, союз двух народов, скрепленный браком Предславы, долженствовал возвеличить княжество Русское,— и мудрый Владимир подал руку свою в знак согласия. Красавица безмолвна, бледна, как жертва, обреченная року, склоняясь на руку прекрасной Анны, робкими, медленными шагами приблизилась к своему отцу, который подал ей *чашу пиршества,* исполненную сладкого меда. Совершается древний обряд праотцев: жених принимает чашу из рук стыдливой невесты и выпивает до дна сладостный напиток.

Десять дней сряду солнце киевское освещает радушные пиры в теремах княжеских. Десять дней сряду все торжествует и радуется. Но красавица проливает слезы на лоно матери: единственное утешение в горести! Часто ужасная тайна готова вылететь из груди ее и всегда замирает на робких устах. Анна приписывает к нежности сердечной тоску дочери своей, и слезы ее текут с слезами красавицы. Но гордый Радмир, познавший в первый раз любовь, близок проникнуть ужасную тайну. С негодованием взирает на слезы и силится подавить в глубине сердца своего ужасную страсть — ревность, спутницу пламенной любви.

Между тем настает великий день, посвященный играм богатырским. При восходе лучезарного солнца

голос бранной трубы раздается в заповедных лугах, и на возвышенном месте, устланном коврами вавилонскими (похищенными при взятии Корсуня), возвышается высокий намет княжеский. Там восседает Владимир с супругою и прекрасною Предславой. Там, под другими шатрами, заседают старцы и жены киевские. Из них старейшины называются *судьями тризны,* ибо награда храброго искони принадлежала мудрости и красоте. Народ стекается за ставками, и бесчисленные толпы его покрывают ближние возвышения. Посреди ратного места пешие и конные витязи ожидали знака для начала игр. Грозный Роальд, витязь новгородский, возвышался меж ними, как древний дуб посреди низкого кустарника. Юный Переяславль, богатырь низкого рода, но низвергнувший разъяренного вола, Переяславль, победивший исполина печенегов, гордился чудесною силою. Он был пеш; кожа безобразного зверя, им растерзанного, развевалась на широких его раменах. Тяжелая секира, которую и три воина нашего века едва ли поднять могут, лежала на правом плече богатыря. Он ожидал борца и громким голосом вызывал на поединок всех витязей; вызывал — тщетно! Всякий страшится неестественной его силы. Гордый Свенальд, древле пришедший с отлогих берегов озера Нево, Свенальд, воевода Владимиров, являлся в толпе витязей в броне вороненой, в железном шеломе, на котором ветер развевал широкие крылья орлиные. Израненная грудь его, на которой струилась седая брада, черный шелом, исполинское копье и щит величины необычайной напоминали киевцам о товарище отважного Святослава. Но меж вами, о витязи, находилась славная воительница, притекшая с берегов баснословного Термодона * [7]. Высокая грудь ее, где розы сочета-

* Конечно — Царь-девица. *Соч.*

лись со свежими лилиями, грудь ее, подобная двум холмам чистейшего снега, покрыта была легкою тканью. Черные власы красавицы, едва удержанные златою повязкой, развевались волною по плечам, за которыми звенел резной тул [8], исполненный стрел. Нетерпеливый конь ее, легкий как ветер, был покрыт кожею ужасного леопарда; ноги его вздымали облако праха; златые бразды его, омоченные пеною, громко звенели, и он, казалось, гордился своею всадницею. Меч, кованный в Дамаске, блистал в правой руке ее, а левая покрыта была щитом сребра литого. Все в ней обличало деву, и гибкий стан, подобный пальме или стеблю лилейному, и маленькая нога, обутая в багряный полусапог; но рука ее страх врагам и дерзким витязям! Киевцы, пораженные новым для них зрелищем, громко выхваляли красавицу, и сердце, гордое сердце девицы, сильно билось от радости.

Но Добрыня явился, и все взоры на него обратились, и ланиты Предславы запылали розами. Витязь вошел в толпу, одетый тонким панцирем, на котором блистала голубая повязка, тайный подарок его любезной. Белые перья развевались на его шеломе. Меч-кладенец висел на широком поясе у левой бедры. По поданному знаку из шатра княжеского юные гридни подвели ему коня, на котором Владимир воевал в молодости. Давно уже никто не седлал его, давно уже на свободе топтал он траву в заповедных лугах Киевских. Предание говорит, что конь сей был некогда посвящен Световиду и имел дар пророчества *. В знак дружбы своей Владимир его отдает витязю. Добрыня смело вложил ногу в златое стремя; конь

* Конь бога Световида имел дар пророчества. Смотри *Мифологию славян* г. Кайсарова. *Соч.* [9]

почувствовал седока, преклонил смиренно дикую свою голову и радостным ржанием огласил луга и долины.

Знак был подан старейшинами, и взоры устремились на высокую мету, поставленную на конце поприща. К ней был привязан быстрокрылый сокол.

Стрелки отделились, и в числе их прекрасная воительница. Златый лук зазвенел в ее руках, и стрела помчалась по воздуху; но тщетное острие ударилось в дерево, зашаталось, и устрашенная птица затрепетала крыльями. Юный Горислав вынул каленую стрелу, и пернатая, пущенная из сильных рук его, рассекла воздух пламенною стезею. Так пролетает молния или звезда воздушная по синему небу! Стрела перерезала нити, которыми был привязан сокол, и птица, свободная от уз, быстро полетела над главами зрителей. Добрыня натягивает лук свой, пускает меткую стрелу... И сокол лежит у ног Предславы, и народ восклицает: «Честь и слава Добрыне!» А сердце красавицы утопало в веселии.

Изводят на поприще дикого вола, воспитанного на пажитях Черкасских: ужасная глава его, вооруженная крутыми рогами, поникла к земле; взоры дикие и мутные обращены были на толпу, которая раздалась в ту и другую сторону. Андроник, дерзкий витязь, желая разъярить чудовище, вонзил в ребра его легкое копье; острие впилось, древко зашаталось, и черная кровь хлынула рекою. Разъяренный вол бросается на толпу; тяжелые ноги его вздымают к небесам облако праха и пыли; пышет черный дым, искры сыплются из глубоких его ноздрей, и страшный рев, подобный грому, оглушает устрашенных зрителей. Между тем отрок Переяславль исторгается из толпы и сильными мышцами ухватывает за рога дикого зверя. Начинается ужасная борьба. Трижды разъяренный вол опрокидывал

богатыря и давил его своею громадою; трижды богатырь опрокидывал зверя, и ноги его, подобные столбам тяжелого здания, глубоко входили в песок. Наконец, храбрый юноша, уже близкий к погибели, вскакивает на хребет его, обхватывает жилистыми руками... и чудовище, изрыгая ручьи кровавой пены, падает бездыханно. Богатырь, покрытый пылью и потом, одним махом секиры своей отрубает ужасную голову чудовища, приподымает ее за крутые рога и бросает к ставке княжеской. Прекрасные княжны ужаснулись, а киевцы, удивленные сим новым и чудесным зрелищем, провозглашают богатыря победителем.

Радмир, сохраняя глубокое молчание, стоял близ ставки княжеской. Он желает сорвать пальму победы, требует позволения войти в толпу храбрых и в тайне сердца своего полагает совершить победу над Добрынею.

Начинаются игры не менее опасные, но в которых сила и храбрость должны уступить искусству; всадники разделяются на две стороны; каждый из них выбирает соперника; Радмир назначил Добрыню, и витязь благословляет сей выбор! В руках его и жизнь и слава соперника; в руках Предславы награда победителю — златый кубок, чудо искусства греческих художников.

Разъезжаются по широкой равнине: легкие кони летят, как вихри, один навстречу другому, копья ударились в щиты. Добрыня удвояет удары, и Радмир, простертый на земле, глотает пыль и прах! Русский витязь покидает коня своего, меч сверкает в руке болгара, удары сыплются на доспехи любовника Предславы, звонкие иверни[10] летят с кольчуги,— мщение и гнев владеют рукою витязей, равно храбрых и искусных... Но Владимир подает знак — и витязи остановились.

Ибо внезапно воздух помрачился тучами. Зашумели вихри, и гром трижды ударил над главами зрителей. Сердца малодушных жен и старцев, которые втайне поклонялись мстительному Чернобогу, исполнились ужасом. Празднество кончилось; мечи и копья витязей опустились долу; но дождь и снег беспрестанно шумели и наполняли внезапными ручьями путь и окрестную равнину. Порывистый вихрь сорвал воткнутые древки и разметал далеко наметы княжеские. Народ укрывался под развалинами древних капищ и толпами бежал к городу. Анна прижала к груди своей Предславу и робкою, но поспешною стопою, ведомая Владимиром и окруженная верными гриднями, удалялась в терем свой. Гласы бегущего народа, топот скачущих по полям всадников, свист разъяренных вихрей, дождь, падающий реками,— все сие устрашало прекрасную княжну. Омоченные власы рассыпались по высокому челу ее, вихрь сорвал легкие покровы с главы, дыхание ее прерывалось от скорого бега, и она, изнемогая, почти бездыханна, упала на пути, в дальнем расстоянии от Киева. Анна и Владимир спешили к ней на помощь, и Радмир предложил ей коня своего. Сердце Добрыни, в свою очередь, запылало ревностью: он желал бы сам проводить княжну, желал бы... Тщетное желание! Ненавистный болгар, жених ее, он один имеет сие право. Между тем служитель Радмиров подводил коня за звучащие бразды; Предслава приблизилась к нему... Она увидела беспокойство Добрыни, прочитала в глазах витязя глубокую печаль его, и горестный вздох вылетел из груди прекрасной девицы. Жених ей подал свою руку... О счастье! Нетерпеливый конь, устрашенный шумною толпою, вырвался из рук клеврета и стрелою исчез во мраке. Болгарский князь, снедаемый гневом, бросился вслед за ним: тщетны бы-

ли его старания, и ревность на крылах ветра заставила его возвратиться к Предславе. Но Добрыня, по приказанию Владимира, сидел уже на коне с княжною; уже борзый конь вихрем уносил счастливую чету, и великое пространство поля отделяло любовников от ревнивца. Сладкие минуты для Добрыни! Красавица обнимала его лилейными руками, сердце ее билось, билось так близко его сердца; нежная грудь ее прикасалась к стальной кольчуге, дыхание ее смешивалось с его дыханием (ибо витязь беспрестанно обращал к ней голову свою), и лицо ее, омоченное хладными ручьями дождя и снега, разгорелось, как сильное пламя... Конь мчался вихрем... И витязь в первый раз в жизни сорвал продолжительный, сладостный поцелуй с полуотверстых уст милой всадницы. Гибельный поцелуй! Он разлился, как огнь, глубоко проник в сердце и затмил светлые очи красавицы облаком любви и сладострастия. Она невольно преклонила голову свою на плечо витязя, подобно нежному маку, отягченному излишними каплями майской росы. Благовонные власы ее, развеваемые дыханием ветров, касались ланит счастливого любовника; он осыпал их сладкими поцелуями, осушал их своим дыханием, и упоение обоих едва ли кончилось, когда быстрый конь примчался к терему Владимира, когда он трижды ударил нетерпеливым копытом о землю, и прислужницы княжеские вышли им навстречу с пылающими светильниками.

Владимир возвратился в высокие терема и там нашел печальную и бледную Предславу. Ах, если бы матерь ее, которой ласковые руки осушали омоченные волосы дочери, если б матерь знала, какая буря свирепствовала в ее сердце, отчего лилии покрыли бледностию чело и ланиты, отчего высокая грудь красавицы столь томно волнуется под покровами!...

Но вскоре княжна, окруженная подругами, скрылась в терем свой, ибо глубокая ночь уже давно покрывала землю. Добрыня, увлеченный любовию, забыв и долг, и собственную безопасность, Добрыня, пользуясь ночным мраком, поспешил к терему красавицы. Все начинало вкушать сон в чертогах княжеских, но буря не умолкала. Ужасно скрипели древние дубы, осеняющие мирную обитель красоты, и град шумел беспрестанно, падая на деревянный кров терема. Тусклый свет ночной лампады едва мерцал сквозь густые ветви, и богатырь, стоящий на сырой земле, сохранял глубокое молчание. Он желал отличить образ Предславы, мелькающий в окнах терема, приблизился и увидел ее. Там, в тайном уединении, освещенная лучом лампады, являлась она посреди своих прислужниц, подобно деве, посвященной служению *Знича*[11], подобно жрице, когда она в глубокую ночь, уклонившись в Муромские убежища, медленно приближается к жертвеннику, на котором пылает неугасимое пламя, медленно снимает пред тайным божеством девственные покровы и совершает неисповедимые обряды.

Как билось сердце твое, храбрый юноша, когда красавица, отдалив подруг, отрешила узлы таинственных покровов! Как билось сердце твое, несчастный и вместе счастливейший из смертных, когда рука ее обнажила белую грудь, подобную двум глыбам чистейшего снега, когда волосы ее небрежно рассыпались по высокому челу и по алебастровым плечам! Нет, не в силах язык человеческий изобразить страстей, пылающих в груди нашего рыцаря! Но вы, пламенные любовники, перенеситесь мыслями в те времена страстей и блажепства, когда случай или любовь, властительница мира (ибо и случай покорствует), когда любовь открывала пред вами свои таинства; вы, счастливцы, можете чувствовать блаженство Добрыни!

Робкий голос его называл имя Предславы, и ветер трижды заглушал его. Наконец, красавица услышала: встревоженна, приблизилась к окну и при бледном луче светильника узнала его. Долго смотрела она, как ветер развевал черные его кудри, как снег сыпался медленно на открытую голову возлюбленного; долго в недоумении глядела она... и, наконец, сожаление (предание говорит: любовь), владея робкою рукой, тихонько отодвинула железные притворы терема — и витязь упал к ее ногам! «Что ты делаешь? — сказала прекрасная,— что ты делаешь, несчастный? Беги от меня, сокройся, пока мстительный бог... Ах, я навеки твоей не буду! Небо разлучает нас».— «Люди разлучают нас,— прервал ее Добрыня,— люди разлучают два сердца, созданные одно для другого, в один час, под одной звездою, созданные, чтобы утопать в блаженстве или глубоко, глубоко лежать в сырой земле, но лежать вместе, неразлучно!» — «Удались, заклинаю тебя...» — «Ах, Предслава, ты моя навсегда... Жених твой, сей болгар, должен упасть от меча храброго!» — «Ах, что ты хочешь предпринять? А судьба матери моей, а гнев, неукротимый гнев великого князя?» — «Так, Предслава: я вижу, ты меня не любишь. Брак с повелителем обильных стран Дунайских льстит твоему честолюбию. Вероломная женщина, ты не любишь Добрыни, ты забыла священнейший долг, клятвы любви... Но смерть мне остается в награду за верность!..»

Сияющий меч висел при бедре героя, правая рука его лежала на златой рукояти; но Предслава, слабая и вместе великодушная, Предслава бросилась в его объятия; горячие слезы текли из глаз ее, слезы любви, растворенные сердечною тоскою. Любовники долго безмолвствовали. Сама любовь запечатлевала стыдливые уста красавицы: вскоре слезы сладострастия заблистали,

как перлы, на длинных ее ресницах, розы запылали на щеках, грудь, изнемогая под бременем любви, едва, едва волновалась, и прерывистый, томный вздох, подобно шептанию майского ветерка, засыпающего на цветах, вылетел из груди ее, вылетел... и замер на пламенных устах любовника.

Быстро мчится время на крылах счастия; любовь осыпает розами своих любимцев, но время прикосновением хладных крыл своих вскоре и самые розы сладострастия превращает в терны колючие! Все безмолвствовало в обители красавицы. Светильник, догорая, изредка бросал пламень свой... и она проснулась от очарования среди мрака бурной ночи. Напрасно витязь прижимал печальную к груди своей, напрасно пламенные уста его запечатлевали тихое, невольное роптание: рука ее трепетала в руке любовника, слезы лились обильными ручьями, и хладный ужас застудил последний пламень в крови печальной любовницы.

Наконец, горестный поцелуй прощания соединил на минуту души супругов. Красавица вырвалась из объятий витязя. Добрыня надвинул сияющий шелом свой, открыл двери терема, ведущие на длинные переходы... О ужас!... он увидел, при сомнительном блеске месяца, который едва мелькал сквозь облака, увидел ужасный призрак... вооруженного рыцаря! — и сердце его, незнакомое со страхом, затрепетало — не за себя, за красавицу. Предслава упала бездыханная на праг светлицы. Но меч уже сверкал в руке незнакомца, страшный голос его раздавался во мраке: «Вероломные, мщение и смерть!» Добрыня, лишенный щита и брони, вооруженный одним шлемом и острым мечом своим, тщетно отбивал удары; тайный враг нанес ему тяжелую рану, и кровь ударилась ручьями. Богатырь, пылая мщением, поднял меч свой обеими руками; незнакомец уклонил-

ся — удар упал на перилы; щепы и искры посыпались, столпы здания зашатались в основаниях, и сердце незнакомца исполнилось ужасом. Красавица, пробужденная от омрака, бросилась в объятия Добрыни; тщетно дрожащая рука ее удерживала его руку, тщетно слезы и рыдания умоляли соперника: ревность и мщение кипели в лютом его сердце. Он бросился на Добрыню, и витязь, прижав к окровавленной груди своей плачущую супругу, долго защищал ее мечом своим. От частых ударов его разбился шелом соперника, иверни падали с кольчуги, гибель его была неизбежна... Но правая нога изменяет несчастному Добрыне, он скользит по помосту, омоченному ручьями дождя и крови, несчастный падает, защищая красавицу, и хладный меч соперника трижды по самую рукоять впивается в его сердце.

Светильники, принесенные устрашенными девами, стекающимися из терема, осветили плачевное зрелище... Радмир (ибо это он был, сей незнакомец, завлеченный ревностию к терему Предславы), Радмир довершал свое мщение. Добрыня, плавая в крови своей, устремил последний, умирающий взор свой на красавицу; улыбка, печальная улыбка, потухла в очах его, и имя Предславы вместе с жизнию замерло на устах несчастного.

Нет ни жалоб, ни упрека в устах красавицы. Нет слез в очах ее. Хладна, как камень, безответна, как могила, она бросила печальный, умоляющий взор на притекшего Владимира, на отчаянную матерь и, прижав к нагой груди своей сердце супруга, пала бездыханна на оледенелый его труп... как лилия, сорванная дыханием непогод, как жертва, обреченная любви и неизбежному року.

Насилу досказал! —

К. Батюшков

OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATTISTA PIRANESI *

Cet artiste, n'ayant pu trouver à exercer les rares talents dont il était doué, a pris plaisir à dessiner les édifices imaginaires, à mettre fabrique sur fabrique et à présenter des masses d'architecture à l'érection desquelles les travaux de plusieurs siècles et les revenus des plusieurs empires n'auraient pu suffire [1].

Roscoe. Vie de Léon X [2].

(А. С. Хомякову)

Кто из вас, друзья, испытывал наслаждение поутру рано, в поношенном сюртуке, с картузом на голове и с робко-дерзкою физиогномиею студента втираться в те маленькие книжные лавочки, где случай, богатство и бедность сносят книги всех изданий и форматов, от Rosarium Арнольда де Виллановы [3] до русских романов Дюкре-Дюмениля [4] включительно; где они соединяют *Державина* с *Поповским* [5], Фрерона [6] закрывают от пыли Вольтером, и рядом с благоразумным Лагарпом [7] ставят Гофмановы сказки и романы Нодье? [8] Ничто так не утишает порывов самолюбия, да и вообще ничто так не успокаивает души, как это зрелище. Я посещаю такие лавки, когда начинаю делаться *пессимистом*. Вы

* Для тех, которые найдут сходство между предметом сей статьи и статьи, напечатанной в Сев. Цв. 1831 года, под названием Последний квартет Беетговена,— считаем нужным заметить, что они суть отрывки из одного и того же сочинения, лишь несколько округленные.

входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу и со всею купеческою щедростью предлагает вам и романы Жанлис [9], и прошлогодние альманахи, и *Скотский лечебник* [10]. Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм: спросите только: «Где медицинские книги?» — и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментном переплете, и спокойно усядется дочитывать Академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для потомства, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга в пергаментном переплете и с латинским заглавием имеет право называться медицинскою; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа между «*Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабденной*» *Нестора Максимовича Амбодика* [11], и «Bonati Thesaurus medico-practicus undique collectus» [12], вам попадется маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смотрите — это: «Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam. 1673» [13]. Как замечательно! но это Эльзевир! [14] — Эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет всю нервную систему библиофила... Сваливаете несколько пожелтевших «Hortus sanitatis, Jardin de dévotion les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares ésprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de Dictionnaire» [15] — и вам попадается латинская книжка без переплета и без начала; развертываете: как будто похоже на Виргилия, но что слово, то ошибка! Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание Альда [16] 1514 года: «Virgilius ex recensione Naugerii» [17]. И вы недостойны назваться

библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание, перло Альдов, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

Теша воображение этими библиографическими мечтами, я с трепетом надежды и радости пробирался недавно по грязным улицам в знакомую мне книжную лавочку. Вхожу: новый предмет поразил мое внимание. В углу над большим фолиантом стояла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, подле которого болтался пучок, с тщанием свитый. Движение, мною сделанное, заставило ее обернуться — я узнал в ней того чудака, который, не покидая никогда своего старомодного платья, с важностию прохаживается по улицам Петербургским и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимает свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже я видал этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним книгу: это было собрание дурных гравюр, изданных в 70-х годах под названием *Нового Виньолы*[18]. Оригинал рассматривал их с большим вниманием; мерял пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление. «Он, видно, отставной архитектор,— подумал я,— чтоб полюбиться ему, притворюсь любителем архитектуры». При сих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на коих выставлено было: «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi». «Прекрасно! — подумал я, взял один том, развернул его, но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, мил-

лионы червонцев и столетия,— эти иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны,— все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудаке. Но, заметив, что он нимало не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом: «Вы, конечно, охотник до архитектуры?» — сказал я. «До архитектуры?» — повторил он, как бы ужаснувшись, нетвердым русским языком. «Да,— примолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный сюртук,— я большой до нее охотник!» — и замолчал. «Только-то? — подумал я,— этого мало». «В таком случае,— сказал я,— посмотрите лучше на эти прекрасные гравюры, а не на лубочные картинки, находящиеся перед вами».

Он подошел ко мне нехотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул он на показываемую ему мною книгу, как с ужасом отскочил от меня, замахал руками и закричал: «Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!» Это мне показалось довольно любопытно. «Я не могу надивиться вашему отвращению от этого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его». И с сими словами я вынул кошелек с деньгами. «Деньги! — закричал мой чудак таким голосом, как Жорж в *Жизни Игрока* [19],— у вас есть деньги!» — повторил он и затрясся всем телом. Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную дружбу; но любопытство превозмогло. «Разве вы нуждаетесь в деньгах?» — спросил я.

«— Очень нуждаюсь! — проговорил архитектор,— и очень, очень давно нуждаюсь»,— прибавил он, ударяя на каждое слово.

«— А много ли вам надобно? — спросил я с участием.— Может, я и могу помочь вам».

«— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу — сто миллионов».

«— На что же так много?» — спросил я с удивлением.

«— Чтобы соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начнется парк проектированного мною замка»,— отвечал он как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха. «Отчего же,— возразил я,— вы, человек с такими колоссальными идеями, вы приняли с отвращением произведения зодчего, который по своим идеям хоть несколько приближается к вам?»

«— Приближается? — воскликнул незнакомец,— приближается! Да что вы ко мне пристаете с этой проклятой книгой, когда я сам сочинитель ее?»

«— Нет, это уж слишком!» — отвечал я. С этими словами я взял лежавший возле «*Исторический словарь*» и показал ему страницу, на которой было написано: «Chevalier Giambattista Piranesi, célèbre architecte, m. en 1778...» [20].

«— Это вздор! это ложь! — закричал мой архитектор.— Ах, я был бы счастлив, если б это была правда! Но я живу, к несчастию моему, живу,— и эта проклятая книга мешает мне умереть».

Любопытство мое час от часу возрастало. «Объясните мне сию странность,— сказал я ему,— поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам».

Лицо старика прояснилось: он взял меня за руку. «Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я дорогой расскажу вам мою страшную историю». Мы вышли.

«— Так, сударь,— продолжал старик,— вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом... что я говорю? теперь запираться уже поздно,— я родился с гением необыкновенным. Страсть к архитектуре развивалась во мне с младенчества, и великий Микеланджело, поставивший пантеон на небольшую церковь Св. Петра в Риме [21], в старости был моим учителем. Он восхищался моими планами и проектами зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав, чтобы я сам себе прокладывал дорогу и старался увековечить мое имя без его стараний. С этой минуты начались мои несчастия. Я нигде не мог найти работы; деньги становились редки. Тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и папам, и кардиналам: все восхищались ими, но когда доходило дело до постройки — недостаток денег оставлял мои планы без исполнения. Между тем проходили годы; начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я скитался от двора к двору, от передней к передней с моим портфелем, который полнел час от часу более.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на окончание оной, я решился напечатать мои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за сию работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое... слушайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-эфироид; каждое здание,

каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют *вечным жидом*?[22] Все, что рассказывают о нем, есть ложь: этот злополучный перед вами.. Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя; духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь пиластры[23] гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Все они не дают умереть мне, допытывают меня, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание? Тщетно я перехожу из земли в землю, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто в Риме ночью я приближался к стенам, построенным этим счастливцем Микелем, и слабою рукою ударял в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться, или в Пизе вешался обеими руками на эту негодную башню, которая в продолжение семи веков нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться.

Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы я воссоздать моею творческой силой; рукоплескаю бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным

сердцем поэта, я перечувствую все, чем страждут несчастные, лишенные обиталища, пораженные ужасами природы; и не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все тщетно! час создания еще не наступил для меня или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. И знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется покровитель, с помощью которого все колоссальные мои замыслы будут не на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, много из них опережено веком, а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из моих проектов; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда я встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я — я видел ясно, как одна из пиластр храма, построенного в средине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастие: помогите же мне по обещанию вашему. Только сто миллионов, умоляю вас!» И с сими словами он упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул красненькую бумажку и сказал: «Вот все, что могу я дать вам теперь».

Старик уныло посмотрел на меня. «Я это предвидел,— отвечал он,— но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую я собираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; ибо он будет отнимать вид у моего увеселительного замка». С сими словами он поспешно удалился...

ь. ъ. й.

⟨В. Ф. Одоевский⟩

БАЙКАЛ

(Письмо к О. М. С. ...) *

25 мая в 5 часов вечера я распростился с Иркутском. По дороге к Байкалу, называемой Заморскою, минуя городскую заставу, немедленно подымаешься на Крестовскую гору, облегающую Иркутск с южной стороны. Кладбище с тремя каменными церквами, расположенное по сей горе над самым городом, представляет очень хороший вид. Возвышенности от кладбища далее на юг покрыты густым мелким березником и сосняком, от чего весною и осенью много бывает сырости и мокредин. При небольшом труде можно бы сии места превратить в поля или луга, и в обоих случаях город много выиграл бы, получив здоровое и красивое местоположение с сей стороны. Но только что переступите за межу городской земли, то вправо открываются холмистые поля и луга, пересекаемые перелесками и источниками. Пред вами внизу расстилается светлая Ангара, усеянная островами. Сии места, по их прелест-

* Письмо сие написано почтенным нашим ориенталистом, г. Бичуриным, обратившим на себя внимание просвещенной Европы своими сочинениями о Китае и Монголии, переводами с китайского языка разных замечательных творений и учеными своими состязаниями с парижским хинезистом г. Клапротом [1]. Расстроенное здоровье побудило г. Бичурина (в духовном звании отца Иакинфа) отправиться из Кяхты к Туркинским горячим водам, что за Байкалом. Помещенное здесь описание его плавания по Байкалу прислано им оттуда.

ному положению, составляют в летнее время лучшее гулянье для горожан. На десятой версте лежит Большая Разводная, село, расположенное на самом берегу Ангары. Здесь предел очарования, производимого силою трудолюбия на хорошей почве. Отселе чем далее к Байкалу, тем природа становится и диче и угрюмее. Дорога более лежит местами болотистыми, неудобными к населению. По левую сторону тянутся горы покрытые хвойным лесом. Из их падей вытекает множество горных речек и ключей. Вправо синеется Ангара, омывающая подошву высоких гор, покрытых лесом. Левый берег совершенно необитаем.

На двенадцатой версте второго переезда, при реке Тальце, находится стеклянный завод, на котором делают еще фарфоровую и фаянсовую посуду и ткут в небольшом количестве солдатские сукна. Виденные мною образчики фарфора изрядны. Глазур на фаянсе желтоват и темен. Стекло и белое и зеленоватое средней доброты. В такой стране, где фарфор и фаянс и стекло получаются из столицы или с Макарьевской ярмарки, подобное заведение обогатило бы содержателя, если бы он, сообразуясь с силами, устремил внимание к усовершенствованию одной которой-либо части. Рабочие сказывали, что сей фабрикант нуждается и в хороших мастерах, и в хороших материалах, несмотря на выгоднейшие пособия со стороны правительства.

Уже в три часа утра я приехал в Никольское зимовье, бедную деревушку, лежащую на берегу Ангары. Деревянная церковь во имя Св. Николая, построенная для проезжающих, совершенно обветшала. Здесь есть небольшая, но спокойная пристань, в которой суда, плавающие по Байкалу, останавливаются на зимовку или для починок. Пятью верстами далее находится

Лиственичное зимовье, расположенное по узкому каменистому берегу Байкала подле высоких гранитных гор, покрытых лиственничным лесом. Зимовьями называют здесь одинокие избушки, построенные для временного приюта зимою в необитаемом месте; но ныне и целые селения, заведенные на таковых местах, удерживают названия зимовей. В Лиственичном находится этапный дом, почтовый двор и до десяти обывательских домиков. Местоположение не дозволяет жителям заниматься ни хлебопашеством, ни скотоводством. Они пропитываются только рыбным и звериным промыслами.

На пространстве между селениями Никольским и Лиственичным Ангара выходит из великого своего водоема — Байкала, перекатываясь чрез каменныя вершины высочайшей подводной горы, соединяющей береговыя противоположныя горы между собою. Ангарское жерло содержит в себе около двух верст в ширину, на протяжении не более 10 саженей, при глубине, достаточной для пропуска больших судов. Сие подводное ущелье лежит в 20 саженях от правого берега и называется *береговыми воротами.* На половине переката выдалась из воды острая гранитная вершина, называемая *Шаманским камнем,* вышиною до двух саженей над поверхностию реки и около семи саженей в окружности. Чайки убелили сей камень, оставляя на нем следы своего пребывания, а монголы избрали оный священным местом для поклонения духу, охранителю сих мест.

Ангара, при выходе своем из Байкала, течет с таким стремлением, что на тридцать верст от устья никогда не покрывается льдом. Говорят, что поверхность Байкала 69-ю саженями выше поверхности Ангары, протекающей подле Иркутска. Это можно усмотреть из

самого местоположения. Иркутск расположен на небольшом мысу, образующем подошву гор, которые от южной городской заставы продолжаются до самого Байкала, постепенно возвышаясь. Почему некоторые не без основания опасаются, что сей город соделается жертвою Байкала, если сильный удар землетрясения осадит каменное русло жерла ангарскаго.

Байкал, по-монгольски *Байгал,* есть собственное имя, данное сему озеру монголами, первобытными обитателями его окрестностей. Уверяют, что китайцы еще в 119 году до Р. Х. видели Байкал * с Боргойскаго хребта и, соглашая созвучность сего имени с местоположением в отношении к своему отечеству, назвали сие озеро Бэй-Хай, что значит: северное море. Жители Восточной Сибири наименовали Байкал *морем* единственно по его обширности **; но он не имеет ни одного из качеств, свойственных морям. Вода в нем пресная, светлая, весьма холодная. Периодических приливов и отливов, также стремления вод в одну которую-либо сторону никогда в нем не бывает. В Байкале находятся две только вещи, общие ему с морями: тюлени, которых здесь называют *нерпами,* и морская губка, называемая бодягою.

Происхождение Байкала приписывают подземному огню. В самой вещи, если посмотреть на высочайшие береговые горы, опускающиеся в глубину озера в по-

---

* См.: *Записки о Монголии,* ч. III, с. 15.

** В 1806 году окончено геометрическое измерение Байкала, производившееся зимним временем по береговой черте. По оному измерению Байкал содержит в окружности своей 1865, в длину 585 верст. Ширина его в самом узком месте, против устий Селенги, простирается до 50 верст.— См. *Описание Сибири,* г. Семивского.

луразрушенном виде; если обратить внимание на чрезвычайную неровность дна его, на острые вершины с деревьями и мхами, показывающиеся в воде при значительном отдалении от берегов; особенно если представить себе недосягаемую глубину подле той самой подводной горы, чрез которую из него выходит Ангара; то нельзя не убедиться, что некогда, еще во времена незапамятные, сильное землетрясение произвело провал, составляющий водоем Байкала. Землетрясения здесь хотя не очень сильны, но ежегодно случаются.

Байкал преизобилует рыбою. Водятся в нем осетры, таймени, ленки, щуки, налимы, хариузы, сиги, окуни и в несметном количестве омули, названные так от монгольского слова: *омоли*. Они принадлежат к роду сельдей и разделяются на три вида: первый вид составляют омули бугульдейские, длиною в четверть. Они зимою во множестве подходят к западному берегу Байкала против острова Ольхона, где и ловят их неводами подо льдом. Второго вида суть *смешанные* омули, так названные мною потому, что руно их состоит из рыб разной величины, от двух вершков до аршина. В июле они во множестве приваливаются к восточному берегу Байкала, простирающемуся верст на сто от реки Турки на запад. Тело сих омулей чрезвычайно нежно и бело, жирно и вкусом не уступает лучшей белой рыбице *. Третий вид составляют обыкновенные шестивершковые омули, идущие в августе в Селенгу, а в сентябре в прорву близ Посольского монастыря. Последние называются еще *котцовыми*, потому что ловят их не неводами, а перегородками, из коих верхняя быва-

* Кажется, что вид сих омулей еще неизвестен естествоиспытателям.

ет глухая, а нижняя с узкими отверстиями внутрь. Лов селенгинских омулей чрезвычайно велик в сравнении с котцовыми. С недавнего времени узнали, что такие же омули и в то же время идут еще в реки Баргузин и Верхнюю Ангару, и также в большом количестве; но отдаленность сих мест и неудобность плавания к оным не дозволяют пользоваться здесь ловом омулей. Берега Байкала и до сего времени еще так мало населены, что на двухтысячном протяжении находится только несколько небольших деревушек.

На рейде пред Лиственичным стояли два казенные судна, определенные для перевоза путников, едущих по подорожным. Небо было пасмурно, при крепком северо-западном ветре, который, впрочем, был недостаточен для больших судов. Я не имел терпения сидеть на пустом берегу: поставил бричку в рыбачью лодку, плывшую отселе прямо в Селенгу, и в 11 часов утра отправился в путь. Рыбачьи лодки считаются удобнейшими для скорой переправы чрез Байкал, потому что при безветрии могут идти на веслах, а при сильном волнении не столько подвержены качке, как большие суда.

Чем более мы отдалялись от берега, тем более развертывалась пред нами картина окрестных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их в полном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по западному берегу Байкала, и чем далее к северу, тем становятся выше. Темно-зеленая хвоя оттеняет вершины их одну от другой в разных направлениях. В туманной дали юго-востока Хамар-дабан выходил из волн морских во всей своей огромности. Северо-восточный берег еще был невидим, и лазуревый небосклон сливался с темною поверхностию вод. О! что значат пейзажи славнейших художников в сравнении с под-

линниками их в природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании, и ничего более не чувствуешь. Здесь, напротив, истаиваешь в невыразимых удовольствиях души и наконец весь исчезаешь в смиренном благоговении к невидимой некоей силе.

В два часа по полудни миновали мы Кадильное, а в пять и Голоустное. Сии два зимовья суть единственныя селения на всем западном берегу Байкала, если только два дома с почтовым двором можно назвать селением. Пред закатом солнца ветр начал стихать, и вскоре совершенно замер. Хозяин привязал руль и с своими работниками спокойно предался сну — в десяти верстах от берега. Якорей, по причине глубины, не бросают.

28-го. В три часа утра солнце еще скрывалось от нас за горами, как первые лучи его уже рассыпались по их вершинам и золотом отразились в зеркальной влаге. В горных падях медленно образовались туманы. Они густели, темнели, развертывались и наконец начали отделяться от гор целыми рядами облаков. Во все утро царствовала глубокая тишина. Наконец гладкая поверхность Байкала начала рябеть, и вскоре направление облаков сделалось однообразным к северо-востоку. Мы снова пустились в путь по ветру попутному. По мере как Хамар-дабан тонул в синеве юго-востока, в отдаленности северо-востока открывались новые горы. Но Хаимские гольцы, еще за двести верст видимые из-за других гор, оспоривали первенство у самого Хамар-дабана. Гранитная плоскость их, покрытая вечными снегами, представляла белейший венец, лежавший на темно-хвойной сливной макушке прочих гор. Бесподобна величественная картина!

В три часа пополудни пронеслись над западным берегом небольшие дождевые тучи и вслед за оными

по темно-зеленой плоскости вершин древесных образовались ряды белоснежных холмов. Это были новые облака, еще в младенчестве своем. В пять часов ужасная буря ринулась с гор на море, и я еще в первый раз увидел, как ветр со свистом свертывал воду и перебрасывал ее чрез огромные валы. Но в это самое время мы успели войти в устье Селенги, а на другой день (29-го) в семь часов утра пришли в Чертовку, небольшое селение, лежащее на левом берегу Селенги, в 20-ти верстах от ее устья. Сие селение тем достопримечательно, что в августе собирается сюда множество народа для засола омулей, промышляемых как в самой Селенге, так и в устьях ее.

Устье Селенги разделяется на пять больших рукавов и занимает обширную равнину, содержащую в себе около 70 верст в длину и столько же в ширину. Сия равнина нечувствительно возвышается от моря до самых восточных гор, вся состоит из наноснаго ила и есть не что иное, как произведение самой Селенги. Во времена, неизвестные самым преданиям, горы те служили восточным пределом Байкала. Селенга, увлекая быстрым течением землю, отторгаемую от рыхлых своих берегов и, наконец, слагая сию ношу при впадении в Байкал, медленно образовала помянутую равнину. Сим же образом и ныне продолжает увеличивать оную: ибо, по уверению здешних старожилов, в течение последних тридцати лет образовалось около пяти верст материка, который едва отделяется от поверхности воды, и, кроме некоторых трав, тростника и тальника, ничего еще не произращает. Подводныя мели, могущия впоследствии образовать новый материк, простираются уже далеко в море и отличаются от глуби глинистым цветом воды. Сие медленное, но беспрерывно продолжаемое действие Селенги некогда разделит

Байкал на два водоема, и река, достигнув западного берега, оставит здесь небольшой пролив для протока вод из северного Байкала в южный. Природа открыто и вместе таинственно действует в изменении своих образов. Видим, что травы растут, но не можем подсмотреть, как они постепенно увеличиваются. Замечаем, что моря отступают от одних берегов к другим; но не можем приметить, как сие отступление совершается...

Н. Б.

Июля 13
1831.
Горячеводск



Отрывок из китайского романа:

ХАУ-ЦЮ-ДЖУАНЬ,

Т. Е. БЕСПРИМЕРНЫЙ БРАК

Перевод с китайского

(Девица Бин-Син, быв похищена человеком, искавшим ее руки, освобождается юным и благородным Тей-Гундзы. Похититель, молодой повеса знатного рода, по имени Го-Гундзы, старается снова завлечь ее в свои сети; но все его замыслы рушатся умом и хитростию девицы Бин-Син. Не успевая в своих коварствах, Го-Гундзы ищет отмстить ее освободителю; но и тот не дается в обман. Здесь описан один из способов мщения, выдуманных Го-Гундзы и тестем его Шуй-Жунем, дядею помянутой девицы.

Роман сей отменно занимателен, как странностию своего содержания, так и любопытным изображением китайских нравов, описанных китайцем.

Встречаемое в сем отрывке слово Гун-дзы придается к личному имени молодого человека и означает благородного юношу, сына знатного отца. Гун есть в Китае титул достоинства 2-го класса [1].)

Глава XII

За притворным угощением оказались явные злодеи

...Шуй-Жунь, видя неуспешность своих замыслов, печально пошел к Го-Гундзы и сказал ему: «Лукав этот Тей. Непременно хочет кончить все дело тайком. Вы должны быть осторожны».

— Мне кажется, он сущий дьявол,— отвечал Го-Гундзы,— как же мне, простаку, от него остеречься? Видно, он не на шутку хочет быть моим соперником. Разве уж подружиться мне с ним и, пригласив его к себе на завтрак, напоить допьяна и побить его? Господа Джан, Ли, Ван не откажутся мне в том пособить.

— И это было бы хорошо,— заметил Шуй-Жунь,— но, кажется, невозможно!

— Почему невозможно? — возразил Го-Гундзы.— Пусть он сын *Дутана* [2], но мой отец почти Чын-сян [3]: чем же я меньше его?

— Когда так,— молвил Шуй-Жунь,— то теперь же отправьтесь к нему, пока он не уехал.

Го-Гундзы, поспешно приготовя билет и переодевшись, поехал. Тей-Гундзы, увидя билет его, велел своему слуге сказать, что его нет дома; а сам ушел в другую комнату. Го-Гундзы, вошед в переднюю, наговорил Сиоу-Даню множество вежливостей, относившихся к его господину, и уехал. Тогда Тей-Гундзы начал рассуждать: «Я противник его; зачем же ему было приезжать ко мне? видно, не успев в прежних своих хитростях, выдумал еще какую-нибудь; но едва ли и теперь успеешь, дружок! Впрочем, дело уже кончено, и я завтра же уеду; когда мне с ним видеться?» Потом, пораздумавшись, он говорил про себя: «Пусть он ветреник и неуч, но он сын знатного вельможи. Всяк осудит меня, если не посещу его взаимно. А как это роскошное дитя встает поздно, то завтра пораньше отвезу к нему билет» [4].

Поутру Тей-Гундзы приказал Сиоу-Даню готовиться к отъезду, а сам, взяв слугу из гостиницы, пошел к Го-Гундзы. Этот уже давно поставил постового; и только Тей-Гундзы подошел к воротам и послал билет, как

Го-Гундзы, порядочно одетый, встретил его и сказал с веселым видом: «Я, меньшой ваш брат [5], единственно из почтения к вам был у вас вчера; но мог ли я надеяться, чтоб вы для меня беспокоили себя?» Тут он начал усильно просить Тея, чтоб он вошел к нему в дом. Тей-Гундзы, сверх чаяния встретив его у ворот и увидев оказываемые им знаки уважения, принужден был войти в приемную комнату и, после новых приветствий, хотел было уйти; но Го-Гундзы удержал его, говоря, что «здесь не такое место, где бы прилично было слушать *его наставления*», и ввел его во внутреннюю комнату. Здесь они взаимно друг друга приветствовали и сели; им подали чай. Тогда Го-Гундзы сказал: «Давно я желал вас видеть; но, за разными делами, не мог до вчерашнего дня засвидетельствовать вам мое почтение. Теперь же, имея счастье видеть вас у себя, не в силах изъяснить мою радость. Нельзя ли, для такой радости, нам вместе повеселиться?»

— Чувствуя вашу приязнь, я с великим бы удовольствием исполнил ваше желание,— отвечал Тей-Гундзы,— но отъезд мой так скор, как спустить стрелу с тетивы. В другое время не премину удовлетворить ваше желание.

Он хотел идти; но Го-Гундзы, остановив его, сказал:

— Мне будет стыдно перед целым городом, если не удостоите сколько-нибудь посидеть у меня. Отъезд можно отложить на несколько часов.

— Не почтите, чтоб я обманывал вас,— молвил Тей-Гундзы,— истинно мне скоро должно выехать отсюда.

Го-Гундзы, схватя его за рукав, сказал:

— Хоть я, меньшой ваш брат, не великий ученый; но отец мой считается вельможей. Не презирайте ме-

ня. А если презираете, то не следовало бы удостоивать меня посещением; когда же посетили, то вы гость, а я хозяин; и хозяин желает изъявить гостю любовь свою.

— Видя вашу любовь, никак не сказал бы об отъезде,— возразил Тей-Гундзы,— но когда уже все готово, то не могу долее у вас оставаться.

— Не смею больше удерживать,— сказал Го-Гундзы,— но крайне буду беспокоиться, отпустив вас с тощим желудком. Могу ли предложить вам хотя маленькую закуску?

Тей-Гундзы, видя сильное настояние и неотступную просьбу, сел и сказал:

— В первый раз я пришел к вам и навожу вам беспокойство!

— Между искренними друзьями,— отвечал Го-Гундзы,— нет ни я, ни ты. Напрасно говорите об этом.

Во время сего разговора вошел Шуй-Жунь и, раскланявшись с Тей-Гундзы, сказал ему:

— Вчера моя племянница, желая вам изъявить свою признательность, просила моим именем вас к себе. Не знаю, почему вы отказались; а теперь, к счастию моему, нахожу вас здесь.

— Отказался я по правилам благопристойности,— отвечал Тей-Гундзы.— Сюда же пришел засвидетельствовать [6] взаимное почтение Джин-джу *; но сверх чаяния, он удержал меня.

— В древности,— подхватил Шуй-Жунь,— с первого свидания великого мужа почитали как старого друга. Разве вы и зять мой хуже древних мужей?

Го-Гундзы засмеялся и сказал: «Почтенный мой тесть говорит сущую правду!»

* Титул Го-Гундзы.

Тей-Гундзы, видя их ласки и почтение к нему, подумал, что они ласкали его от чистого сердца и, забыв все прежнее, не стал уже напоминать об отъезде. Вскоре набрали на стол, и Тей-Гундзы, заметя большие приготовления, сказал: «Вы обещались подать только завтрак; а здесь наставлено столько кушанья и вина: не рано ли будет?»

— Самое время,— отвечал Го-Гундзы,— станем помаленьку попивать.

Они сели втроем за стол, ели, пили и разговаривали по-дружески; и лишь только Тей-Гундзы хотел выйти из-за стола, как слуга вошел с докладом, что приехал советника Военной Коллегии третий сын Ван. Го-Гундзы с поспешностию встретив его и введши в компату, указал ему на Тей-Гундзы и примолвил: «Это старший брат Тей, великий муж в учености и несравненный герой».

— Не вы ли,— сказал Ван-Гундзы,— вошли в Янсянь-Тан [7]?

— Я тот самый,— отвечал Тей-Гундзы.

— Давно я желал вас видеть,— подхватил Ван-Гундзы,— извините меня!

И, налив рюмку вина, поднес ее Тей-Гундзы, присовокупя: «Хотя это вино Го-Гундзы, но я в знак почтения подношу его вам».

Тей-Гундзы, взаимно налив рюмку, сказал: «Много делаете мне чести; вы золото в сравнении со мною!» — и, выпив с ним три рюмки, хотел идти. Тут нечаянно вошел второй сын чиновника Ли и проговорил без дальних околичностей: «Здесь все старые друзья! что за веселье?»

— Здесь приезжий гость,— сказал ему Го-Гундзы. Тей-Гундзы, вышед из-за стола, хотел изъявить ему почтение; но Ли-Гундзы, удержав его, спросил: «Кто

этот любезный друг? смею ли спросить о вашей фамилии?»

— Я из Дай-минь-фу [8],— отвечал Тей-Гундзы,— имя мое Тей-Джунь-юй.

— Ах! так вы-то Гундзы Тей-Дутана? — подхватил Ли-Гундзы и, отдав ему низкий поклон, продолжал,— довольно я наслышался вашего громкого имени и счастлив, что сего дня вас вижу.

Тей-Гундзы, из учтивости сев с ним, говорил: «Старший брат Ли сейчас только пришел, и непристойно мне выйти вслед за сим; но как я уже давно здесь сижу, то позвольте мне расстаться с вами».

— Братец Тей,— возразил Ли-Гундзы,— вы крайне обижаете вашего меньшого брата; я лишь только вошел, а вы хотите нас оставить. Зачем же давно не ушли? Не явно ли, что я недостоин веселиться с вами?

Шуй-Жунь примолвил к тому, оборотясь к Тей-Гундзы: «Сян-Шын! вы давно хотели идти; но с братом Ван выпили вы по три рюмки; теперь должны и с Ли-Сян-Шыном тоже выпить, иначе вы обидите его».

Тей-Гундзы принужден был выпить еще три рюмки, и вдруг слуга вошел доложить, что приехал господин Джан (сын члена Военной Коллегии). Едва встали из-за стола, как увидели его пьяного. Выпучив глаза, имея шапку на боку, он шел и кричал: «Кто таков этот Тей, что приехал сюда высказывать себя мудрецом? что он не является ко мне?»

Тей-Гундзы, стоя вдали и не сделав поклона, отвечал:

— Я Тей-Тин-Шын; на что требуете меня?

Джан-Гундзы, посмотрев на него и захохотав, сказал:

— Я думал, что брат Тей о семи головах и муж величавый; а теперь вижу прекрасные глаза, брови ду-

гою, белое личико... настоящая девушка!... Уж не воскрес ли Лю-Хеу (*) [9]? — Но об этом поговорим после, а теперь выпьем.

Посадя Тей-Гундзы подле себя, приказал он налить две рюмки и, взяв одну, сказал:

— Теперь знаю вас лично; но не ведаю вашего сердца. Выпьем же для перваго свидания!

Он выпил — и с ним поневоле Тей-Гундзы. «Вот по-дружески!» — сказал Джан-Гундзы, и приказал еще налить две рюмки.

Но Тей-Гундзы возразил: «Я пришел давно, пил много, и для братьев Ван, Ли выпил по три рюмки».

— А для меня только одну? — воскликнул Джан-Гундзы.— Ты обижаешь меня. Скажу тебе откровенно, что в здешнем городе никто еще не осмеливался меня оскорбить, и я до того не допущу.

Тут, взяв рюмку, он выпил и принуждал Тей-Гундзы выпить; но сей, взяв рюмку, зажмурился и, облокотясь на кресла, покачивал головою. Джан-Гундзы, видя сие, сказал гневно: «Мы условились пить; а ты, притворяясь таким образом, не обижаешь ли меня?»

— Когда мог пить, так пил,— отвечал Тей-Гундзы,— что за насилие? что за обида?

— Неужто осмелишься не выпить? — спросил Джан-Гундзы.

— А что же, если не выпью? — был ему ответ.

— Ах ты скотина! — вскричал Джан-Гундзы.— Можешь величаться у себя в Дай-минь-фу, а не здесь! Не выпущу, коли не выпьешь...» И вдруг вылил вино ему на голову.

Тей-Гундзы вскочил со стула и, схватя Джана за горло, вскричал:

---

* Советник династии Хан царя Гао-дзу.

— Ах ты раб презренный! как ты осмелился? Сам идешь на смерть!

— Неужто,— закричал Джан-Гундзы,— смеешь меня ударить?

— А почему же нет? — отвечал Тей-Гундзы и дал ему пощечину.

Тогда Ван, Ли-Гундзы вскрикнули: «Грубиян! знаешь ли, где ты?» А Го-Гундзы примолвил: «Я удержал тебя от доброго сердца, а ты еще осмелился бесчинствовать!.. Скорее заприте ворота: прибить его до полусмерти и отнести к Ань-Юаню!» [10] И вдруг при сих словах из боковой комнаты выскочили человек восемь здоровых и сильных; а Шуй-Жунь, закричав: «Не троньте, не троньте!» — подбежал к Тей-Гундзы и хотел схватить его за руку.

— Собаки бешеные! можете ли обидеть меня? — вскрикнул Тей-Гундзы и, подняв одной рукою Джан-Гундзы, махнул им так, что уронил стол с кушаньем и всею посудой, а Шуй-Жуня так отбросил, что он отскочил на сажень, упал и едва поднялся. Призванные восемь человек хотели броситься на Тея; но он, приподняв Джан-Гундзы, начал им отмахиваться, отчего у бедняка голова закружилась, глаза помутились, и ему сделалась дурнота; едва мог он проговорить: «Друзья! не троньте его... Что вам надобно?»

— Ничего не надобно,— молвил Тей-Гундзы,— кроме того, чтобы проводить меня.

— Я провожу,— отозвался Джан-Гундзы.

Тогда Тей-Гундзы, поставив его на пол, вышел с ним из комнаты; прочие же стояли, выпуча глаза, и ворчали про себя: «Можно ли так буянить середи города?.. Пускай идет; после узнает».

Тей-Гундзы, вышед за ворота и опустя Джан-Гундзы, сказал ему:

— Брат старший! прими на себя труд сказать своим товарищам, что ни сто человек пехоты с сотнею конных ничего не в состоянии мне сделать, когда есть хоть малое орудие в моих руках; а сии расслабленные вином и беспутством пять человек и десяток сволочи могут ли выдрать бороду у тигра? Когда б не знатная порода их, я переломал бы им ноги и ощипал бы у них волосы с голов. Скажи им, чтобы они молились за оказанную мною милость и питали ко мне благодарность.

Тут он простился с Джапом и пошел в свою гостиницу, где маленький слуга его давно был готов к отъезду. Нечаянно увидя Шуй-Юна с лошадью, Тей-Гундзы спросил: «Зачем ты здесь?»

— Госпожа моя,— отвечал он,— услыша, что удержали вас у Го-Гундзы, предвидела, что произойдет меж вами ссора, а после они же обнесут вас пред Ань-Юанем; для сего прислала она лошадь, чтоб вы прежде их отправились к наместнику и с ним объяснились.

— Чем могу отблагодарить госпоже вашей? — сказал Тей-Гундзы,— непременно исполню все по ее наставлению.

И тотчас после обеда, написав прошение на вышеупомянутых господчиков, Тей-Гундзы поехал в город Суй-де-фу [11] к Ань-Юаню и, услыша, что он заседает в присутственном месте, вошел на двор и ударил в бубен. В минуту военные стражи, выскочив на сей удар, взяли Тея и повели его к палате, в коей заседал Ань-Юань. Как сей вельможа послан был сюда в лице государя, то Гундзы, став на колени, подал бумагу. Ань-Юань отчасти уже узнал его; но, увидя из бумаги, что он сын Дутана, и не прочтя еще прошения, приказал запереть ворота и ввести просителя. Когда же Тей-Гундзы, вошед в присутствие, хотел стать на колени, то Ань-Юань, не допустив его до этого и взаимно ока-

зав ему почтение, посадил, велел подать чаю и спросил:

— Любезный друг! когда вы приехали сюда? не имеете ли здесь какого дела?

— Я, ученик, странствую для того, чтоб учиться,— отвечал Гундзы.— Не имея важного дела, не осмелился бы вас беспокоить; но нечаянно попался я в общество таких людей, что едва спас от них жизнь свою. Почему всенижайше прошу успокоить и защитить меня.

— Кто посмел обидеть вас? — спросил Ань-Юань,— предоставьте мне вас успокоить.

И, прочитав его прошение, сказал хладнокровно:

— Вот кто таковы... Но не можно ли простить их?

— Ваш долг истреблять порок и защищать невинность,— возразил Гундзы,— как же хотите простить этих людей?

— Не то, чтоб я хотел их пощадить,— отвечал Ань-Юань,— но как родители их знатные вельможи, то предстоит великая трудность в решении. А чтоб воздержать их и исправить, это также не без труда, ибо они надеются на силу и богатство родителей своих. Да если представить и государю, то едва ли будет успешно. Предоставьте мне решить. Пообдумаю хорошенько, и вы навсегда будете спокойны.



СТРАШНЫЙ СУД

(Отрывок из романа: Последний Новик)

«— Он велел мне приходить к себе. Иду к нему, гость не на радость! Сяду на большое место под образами, насыщусь его хлебом с солью, напьюсь медов сладких и — отблагодарю за гостеприимство. Долго не забудет званого посетителя!» Так говорил сам с собою В *[1] в ожесточении против жизни, человечества и более против человека, отнявшего у него единственное благо на земле; так говорил он, подходя к *Носу,* одной из деревень, которыми *староверы* обсели Чудское озеро. Мертвая осенняя природа; тяжелые, подобно оледенелым валам, тучи, едва движущиеся с севера; песчаная степь, сердито всчесанная непогодами; по ней редкие ели, недоростки и уроды из царства растений; временем необозримые, седые воды Чудского озера, бьющиеся непрерывно с однообразным стоном о мертвые берега свои, как узник о решетку своей темницы; иссохший лист, хрустящий под ногами путника нашего: все вторило состоянию души В *. Вот он уж и в деревне.

Латыши, чухны проводят обыкновенно унылую, тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко друг от друга хижинах, вдали от больших дорог и мыз, будто и теперь грозится на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, длинных деревень, где тысячи любят жаться друг к

другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться; где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел В*, можно было сейчас узнать, что ее обитатели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких изб, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими *коньками*, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный *осьмиконечный* крест [2]. Наружность домов содержалась в необыкновенной чистоте; особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и поскоблены. Тишина, царствовавшая в селении, не удивила бы В*, знавшего, что в жилищах раскольников наблюдается всегда строгое благочиние, если бы сия тишина не походила на какую-то мертвенность. Никого не было видно на улице и в огородах. У двух, трех домов брякнул он по нескольку раз с расстановкою большим железным кольцом о бляху такого же металла, несколько раз постучался довольно крепко у окон палочкою и прочитал жалостным голосом моление: «Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» Хоть бы голос женщины откликнулся ему! Где могли быть жители *Носа* в гулевую пору, в обеденные часы?

Немало удивился он, когда ворота у одного дома без труда отворились, лишь только он осмелился приподнять щеколду и толкнуть слегка полотно их. На дворе тощий скот пожирал навоз; собака, такая худая, что лопатки ее выставлялись острыми углами и можно

было перечесть все ее ребра, шатаясь, выползла из конуры и встретила пришельца сиповатым, болезненным лаем. В сенях никого, в избе — тож. Посуда, обыкновенно содержимая у раскольников в большой чистоте, была разбросана в беспорядке по столу и залавкам. Печь, в изразцах которой наверчено было множество дыр, чтобы во время молитв благодать удобнее проходила в горшки и очищала кушанье, покупаемое на торгах, была нетоплена. Иконы в избе ни одной. Без труда вошел В * на соседний двор: в нем также пустота; в третьем, в четвертом то же. Далее нашел он в колыбели умирающего младенца. «Счастлив, что кончаешь жизнь, не понимая ее!» — сказал В * и отвернулся от раннего страдальца.

Наконец, у *звонницы* (1) представилось ему что-то похожее на живое существо. Это была молодая женщина, лежавшая на голой, сырой земле и почти недвижимая. С трудом могла она, однако ж, объяснить нашему страннику, что она дочь тутошнего *уставщика* (2), удостоена была в *грамотницы* (3), заменяла нередко *батьку* (отца духовного) в *часовенном* служении; но что с недавнего времени лукавый попутал ее: она полюбила молодого, пригожего *псалмопевца* и *чтеца*. Это бы еще не беда. Грех сей можно было бы искупить несколькими стами *начал* (4), но вот что ее погубило.

(1) Колокольня.
(2) Уставщик — надзиратель за порядком во время богослужения.
(3) Грамотница читает апостол, поет на *женской половине* духовные песни и пишет книги, нередко с большим искусством, по уставному.
(4) *Началом* называют раскольники те семь поклонов, без коих они ничего не начинают. Ежели кто в сем случае не доложит поклона или переложит его, то молитва не в молитву.

Отец ее любезного, побывав в другом *согласии* (5), вывез оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни *Носа,* а именно: он стал принимать от *Федосеян титлу,* Пилатом на кресте написанную: *I. С. Назарянин, царь иудейский.* Носовцы же (поморского согласия) писали титлу: *царь славы, IС сын божий,* и потому, предав анафеме *новщиков* (6), выгнали их из деревни. Псалмопевец, прежде вечной разлуки с любезною грамотницею, захотел с ней проститься. Роковое свидание назначено в ближнем бору. Сердце у раскольницы такое же мягкое, как и у женщин *мирских:* она исполнила волю милого. *Надсмотрщица* (7) подглядела за ними и поспешила избавить несчастную из сатанинских когтей *Федосеевщика,* рассказав обо всем отцу ее. Озлобленный родитель сам, своими руками выдал ее *согласию.* Тысячи земных поклонов, ужасный пост, побои, истязания разного рода освободили грешную от мучений ада. Ноги у ней были отбиты; одною рукой она не владела; земля подернула губы ее. «Теперь,— прибавила она,— очищенная, жду страшного суда». «Где ж православные? — спросил В *. «В бору,— отвечала *грамотница.*— Поспешай и ты туда ж, чтобы страшный час не застал тебя в *суете*». Не понимал В *, о каком часе говорила несчастная. Он сделал ей еще несколько вопросов, но, ослабевшая от усилий, которые употребила, чтобы рассказать о своей судьбе, она могла только указать ему на бор, видимый из деревни, и погрузилась в моление. «Пойду искать следов жизни, более здоровой и сильной,— думал В *, обратившись,

(5) Секта, каста, общество.
(6) Вводящие перемену, новизну в расколе.
(7) Надсмотрщик наблюдает за нравственностью мужчин; надсмотрщица — за поведением женщин.

куда ему указано было,— авось заражу ее моими страданиями или потешусь над глупым человечеством».

Еще издали представилось ему странное зрелище[3]. *Поприща* (8) за два от деревни, в мелкорослом, тщедушном бору, на песчаных буграх, то смело вдающихся языком в воду Чудского озера, то уступающих водам сим и образующих для них залив, а для рыбачьих лодок безопасную пристань, стояло сотни две гробов, новеньких, только что из-под топора. Несмотря на отвращение, какое человек чувствует к трупам себе подобных, особенно чужих людей, В* решился подойти к сему погосту. «Какая язва,— думал он,— уклала в сии домовища всех здешних жителей? Смерть, когда она не подвигнута гневом божиим, утомилась бы в год засеять такое поле; а ныне, видно, наполнила она их так скоро, как проворный жнец укладывает снопами свою полосу, как ловкий пес загоняет стадо в овчарню. Однако почему гробы не опущены в могилы? Исчезнувший с земли должен и в ней истлеть, чтобы не оставить от себя ничего, кроме имени человека. Кто ж и когда успел построить эти домовища? Поэтому жители Носа заранее готовились умереть! Не перешли ли они в *морельщики* и, может быть, желая приобресть мученический венец, сами себя умертвили?» Размышления сии были прерваны ужасным воем, плачем и визгом, поднявшимися вдруг из гробов, как скоро В* подошел к ним. «Грядет, грядет!» — вопило множество. «Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» — раздалось вокруг него на разные жалобные голоса. Иные

---

(8) Раскольники тогда считали расстояние поприщами, полагая в каждом 120 шагов.

читали сами себе отходную, другие молили о помиловании; некоторые, закрыв глаза, скрежетали от страха зубами. Сначала испугался и сам В*, охваченный таким хором; но, вглядевшись пристально в фигуры, укладенные, как мумии, в ящики, из которых большая часть была не закрыта, он едва не захохотал, несмотря на состояние, в котором он находился. В домовищах лежали жители Носа, разного пола и возраста, окутанные в саваны и спеленанные — молодые розовыми покромками, а старшие голубыми, так что из перевязки составлялись три креста: один на коленях, другой на брюхе и третий на груди. Бумажный, блестящий венец, с осьмиконечными крестами, обвивал их чело; в головах стояли медные литые образа. У некоторых женщин покоились младенцы на груди, у других с криком вырывались. Дети требовали хлеба, обступая отцов и матерей, которые с жестокостию их отталкивали. В* понял тотчас, в чем состояло дело; с важностью обошел вокруг живоносного кладбища, стал потом на средине и воскликнул громовым голосом: «Почто вы здесь?» На это воззвание закричали многие: «Это Антихрист. Он смущает нас. Укрепитесь, о братие, в сей страшный час молитвою». В* поднял вверх правую руку, из которой составил двуперстное крестное знамение, и опять воскликнул: «От имени господа бога и спаса нашего Иисуса Христа вопрошаю вас: почто вы здесь?» «Яков Ковач,— сказал тут один с выпятившимся из гроба брюхом, дрожа от холода, а может быть, и проголодавшийся.— Он речет именем господа». «Воистину так!» — отвечал тот, к кому обращена была речь. «Поведаем ему, почто мы здесь вкупе». «Пора бы,— примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба,— пора бы уж давно, по

вычислению *уставщика* Антипа, совершиться пророчеству». «Посмотрим, так ли солнце течет? Нет ли замешательства в мере часов?» — присоединил свой голос четвертый, последуя примеру своих братий и посматривая на небо, на коем в это время из-за свинцовых туч проглянуло солнышко. «Кажись, все по-старому». «Антипка обморочил нас!» — закричало несколько голосов. «Подавайте Антипку! побьемте его каменьями. Бросимте его в воду!» — вопили многие. Среди этого смятения выпрыгнул из гроба один высокий мужичища, разорвал на себе смертные оковы, побежал в противную от селения сторону, и, пока разоблачались братья его, спеленутые, подобно куклам, он успел скрыться из виду. «Еретик! лжеучитель! — вскричали многие вслед ему.— Не хотел искупить своего прегрешения мученическою смертию. Достоин есть отлучения от церкви и общежительства!» «Почто смущаетесь, братия мои, о господе? — сказал В *, приняв на себя постный вид.— Я странствовал много по святым местам, иду теперь от гроба господня к соловецким чудотворцам и несу вам, по пути, оружия, каковыми подобает подвизаться против сатаны, дыщущего зельною яростию на христоименитое достояние». Слова сии, как талисман, подействовали над живыми мертвецами. Толпы собрались около благовестителя. (Надобно здесь заметить, что раскольники имеют слепую веру к пришельцам греко-российского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами.) Иные, не успев еще разрешить ноги свои от смертных уз, но желая скорее поклониться святому мужу (которого за несколько минут готовы были побить каменьями, как Антипа), бросались вперед, запутывались в саване, падали друг на друга и возились в

земле. Другие едва переступали с ноги на ногу, имея руки связанные, и представляли таким образом из себя движущийся чурбан. Некоторые, крепче прочих стянутые, лежали в ящиках своих, будто чающие движения воды, и жалостно молили о помощи. Прибавьте к этому очерку бороды разного покроя и цвета, высунувшиеся из пелен; бумажные, пестрые венцы, украшавшие маститые лбы; отрывки саванов, которые тащились по пятам и на которые наступали ревностные братья,— и можете докончить смешную картину восстания носовцев из мертвых. Заметно было, однако ж, что человека два-три вовсе не показывали знаков жизни и, вероятно, от холода, голода и страха упокоились на вечные времена. Обступившие В * носовцы рассказали ему наконец, что за несколько дней прошел через их *общежительство* киновиарх [4] Выговского скита и чиноначальник поморян Андрей Дионисиев. Он поведал им, что антихрист народился уже 30 лет, 3 месяца и 3 дня и что Иисус Христос приидет вскоре на облаках судить живых и мертвых. «Мы просили *уставщика* Антипа,— прибавляли рассказчики,— вычислить нам, в кой именно час подобает быти Страшному суду. Притаился было вначале собачий сын, будто боится нас перепугать, и ну отговариваться, а мы плотнее к нему: скажи-де нам, не моги утаить, всю правду-истину. Взялся еще раз вор-Антипка за книги; три дня, три ночи рылся в них, отыскал якобы ключ к таинствам и поведал нам в третий день, что ныне-де, в пятницу, в полудни, неминуемо быти пришествию господню. Побросали мы все житейское, поделали гробы и полегли в них вчера, изготовясь молитвою и постом к страшному часу. Но знать...» «Обманул вас, о братия, Андрей Дионисиев из собственной корысти,— перебил В *.—

Обманул вас и уставщик, подкупленный им. Разойдется по христианству поморскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится». «Ах! он такой-сякой! — вскричала толпа.— Приди-ка он к нам!» «Вонмите мне,— перебил опять В *, возвысив голос,— вы все, кои здесь предстоите и коих имена вписаны в книге животней! Афонский монах, сто лет находящийся при гробе господнем, прислал вам со мною мир от бога и свое пастырское благословение. В беседе о временах и летах он поведал мне, опираясь на сию трость...» При этом слове слушатели бросились на посох, который держал В *, и в один миг с жадностию разделили его по себе на мелкие части. В * не смутился и продолжал: «Святой отец поведал мне, что антихрист уже шестьдесят лет народился». «Смотри-ка,— кричали многие,— скрадено три десятка годов. Три десятка! легко молвить! Ну, счастлив, что подобру-поздорову уплелся, а то похлебал бы свежей ушицы! «Святой отец поведал еще, что искуситель примет на себя образ киновнарха, что смуты его только в нынешних летах зачались, а Страшный суд настанет не прежде 49 лет, по вычислению на семи седьмицах». Многое еще толковал им В * об антихристе, в которого ересиарх Деонисиев мог бы смотреться, как в зеркало. Слушали проповедника жители Носа, разинув рот, благодарили его за добрую весть, упрашивали его к себе в уставщики и обещали со временем произвесть в чиноначальники. Чувство мести, а может быть, и темные надежды заставили его согласиться на предложение раскольников.

Почившие вечным сном и, следственно, кончившие свою роль на сей сцене человеческих заблуждений преданы, по обычаю, при всей братии, достойному погребению; после чего гробы живых брошены в озеро.

Флотилия сия, оттолкнутая от берегов благоприятным ветром, поплыла по необозримым водам и вскоре исчезла из виду. В * был отнесен в мирской дом, торжественно сопровождаемый многочисленным народом, с пением: «Вечере водворится плач и за утра радость». «Смотря теперь на мое торжество,— думал он,— кто не сказал бы, как легко управлять народом суеверным и невежественным! Но что скажет тот, кто видел бегство уставщика Антипа?..»

И. Лажечников.



О ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ *

(Посвящается М. П. В.)

Жизнь, перейдя в действительное бытие и образовав растение, продолжает в нем свои производительные действия. Растение *пребывает* в определенной ему вещественной форме, и с тем вместе производятся в нем различные действия, изменения и движения. Сия *пребываемость,* вместе с *производимостью,* составляет *полное бытие* решения; это суть, так сказать, правая и левая сторона его жизни. С невозвратным лишением одной стороны оно лишается половины бытия своего; жизнь его прекращается, и оно *умирает.*

Пусть в растении продолжается еще движение, изменение вещества, но такое, при котором уже не сохраняется его форма: сие действие будет разрушение, тление, ибо не управляется уже производительною силою жизни, и тело распадается *в прах,* из коего образовалось. Это *смерть разрушения.*

Наоборот: пусть тело пребывает еще в своей форме, но без действия и движения, оно мертво... Посмотрите на искусно высушенные растения, на собрание насекомых: те же формы, краски, блеск, что были и при жизни их: но в них нет ни дыхания, ни движения, никакой изменяемости — и кабинет натуральный представляет собою склеп, где хранятся сии красивые *мумии.* Такая *смерть цепенения* последует тогда, когда тело *навсегда*

* Жизнь растений, в собственных действиях и произведениях, рассматривается в других главах; здесь она представляется в сравнении с прочими видами земного мира.

лишается своей жизненной производимости. Иногда сие бывает *временно:* жизнь скрывается только на срок, и тогда тело не умирает, но только *обмирает*.

В таком *обмертвении* находятся растения и многие животные в продолжение зимы; но с возвратом весны теплое дыхание оной отогревает их производимость, и они опять *оживают*.

Такова жизнь в растениях; ступим шаг назад, *к жизни неорганической*.

Камни растут (1), сказал Линней о минералах, и тем определил их натуру. Действительно: минералы только растут, беспотомственно, не продолжая бытия своего в себе подобных, как то бывает у существ *органических* — у растений, животных и человека. Жизнь *неорганическая,* выращая минерал, производит еще разные действия; но, образовав его, скрывается в нем, и минерал пребывает застывшею, оцепенелою массою. Если произойдет изменение (химическое) в составе минерала, то бытие его разрушается, и он, подобно гниющему трупу, распадается на составные свои стихии. *Одностороннее* бытие минерала подобно мертвенному оцепенению растения. Для бытия его необходимо *отсутствие* той производимости, без которой растение — мертвый труп, и можно бы сказать, что минералы *живут смертию* (2). Так глубоко сокрыта жизнь в минералах! И есть одно только *внутреннее движение*, когда пробуждается сия сокровенная жизнь и в нашем слухе отглашается *звуком*. В сем пробуждении я вижу отрадное прообразование того пробуждения на *глас трубный,* с которым усопшее бытие восстанет для бытия, *где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная!..*

Таким образом растения и животные, при своем *обмертвении* и *смерти цепенения,* нисходят на степень

неорганической жизни; а по совершенном *разрушении,* вместе с минералами, они перешли бы к бытию *стихийному.*

Природа ежегодною смертию и погружением в оцепенелость растений и животных напоминает нам периоды давнопрошедшей, вековой жизни, когда она в недрах земных погребала свои вековые порождения органических тел, *окаменяя оные* (3). И как ныне каждый год земля покрывается новым слоем *чернозема,* так в те многовечные годы целые царства органических существ падали в свои могилы то обгорелыми кострами *каменного угля,* то бальзамированные *каменистым веществом.*

Натуралист рассматривает сии развалины, вопрошает сии безмолвные предания природы о судьбе царств ее, разгадывает язык ее по оставшимся гиероглифам и начертывает ее *бытописание.* А жизнь природы, обреченная, подобно Сатурну, поглощать свои рождения, оплакивает их алмазами и перлами, хочет могилу их украсить цветами — и на гранитном корне земли расцветают драгоценные каменья и металлы. Сия блестящая печаль, иногда возвещаемая в пустынном *гласе природы* (4), возносится к небесам на радужных крыльях мотыльков и птичек — в этих любимых *мечтах* и *песнях* тоскующей матери природы...

Жизнь, которая в минерале представляла мертвенное оцепенение, а в растении была деятельным хранителем своего произведения, в животном является еще *чувствующею.* Животное одарено *чувствием,* посредством коего оно *ощущает* внешнюю природу, различает ее полезные и вредные на него влияния и вследствие того либо стремится к ней, либо от нее удаляется. Посему животное имеет *произвольное движение,* производящее от его внутреннего *побуждения.* Растение ли-

шено сей *чувственной* жизни: приросшее своим корнем к земле, оно как бы погружено само в себя —

«И мир ему закрыт и нем!» [1]

Медленные движения, замечаемые у большей части растений на цветах, листьях и стеблях, суть движения *невольные,* — и, взглянув на *подсолнечник,* вы уже знаете их главную причину. Сколь ни разнообразны движения *мимоз* и других так называемых *чувствительных* растений, но все они либо не имеют никакого отношения ко внешнему миру, либо если и есть какая-нибудь связь между ними, то они управляются не чувствием, а слепою сестрой его — *раздражимостью. Стыдливая мимоза* боится всякого постороннего прикосновения: падет ли на нее капля животворпого дождя, коснется ли жало насекомого, либо игла наблюдателя, могущие повредить ей, — она равно сжимает и опускает свои листочки. То чувство *самохранения*, которое у животных является разнообразными, неукротимыми движениями, то наступательными, то оборонительными, — у растений является только движением *уступательным.* Одним *мухоловкам* (5) дано такое устроение листьев, что, сжимаясь от мухи, на них севшей, сами ее сдавливают и тем отплачивают за безоружных собратий.

В описанное нами *покорное* состояние растений приходят и животные, когда их чувственная жизнь, прекращая свои сообщения с внешним миром, погружается в жизнь растительную. Такое состояние называется *сном*. Тогда у животного совершаются действия только растительные; тогда движения его невольны, и оно уподобляется растению. Таким образом, жизнь растительная есть *сон,* а чувственная жизнь животного — *бодрствие.*

Наконец, жизнь восходит на высшую степень, *оду-*

хотворяется — и в храме природы воздвигается *человек.* В человеке совмещаются все виды *телесной* жизни: неорганическая, растительная и животная; но он сверх того живет жизнию *духовною* — и бренное тело, которое у прочих тварей составляло *цель* бытия их, в человеке есть только сосуд, где разгорается пламя *ума,* от бога вдохновенное. И только тогда, когда человек *бессознательно* весь предается жизни чувственной, он унижается до животного; а погружаясь в сон, подобится растению.

Таким образом, *жизнь природы,* развиваясь на земле в четыре степени бытия, производит *четыре царства* земных существ: *минеральное, растительное, животное* и *человеческое.* В минералах она представляет всегдашнее *обмертвение,* в растениях она *усыплена,* в животных *пробуждается;* и наконец, *мыслит* и *сознает себя* — в человеке.

Посему *природу,* в *цветущем царстве Флоры,* можно уподобить той прекрасной Царевне, которая была зачарована на вековой сон. Безмолвно покоится она под голубым шатром неба, слегка прикрыв стройный *стан* свой зеленым покрывалом, едва колеблемым от тихого ее дыхания. И когда солнце вперит на нее светлый взор свой, она невольно обращает к нему цветущее, полное любовью лицо и сладкие благоуханные уста,— усиливается сквозь покров свой простереть к нему объятия; но солнце отвращает от нее лицо — и она снова опускает главу и рамена свои. И каждое утро солнце приходит любоваться ненаглядною красою, с светлою мыслью пробудить ее; и каждый вечер оно возвращается безуспешно; ибо только в уме человека талисман ее пробуждения.

Юная дева примечает движения прекрасной Царевны, думает разгадать сердцем ее *сновидения* и, видя

в цветах ее, как в зеркале, собственные мечты и чувства, выражает их *языком цветов*. Мыслящий цветок природы, она узнает в *лилии* — чистоту свою, в *розе* — красоту и любовь, *в незабудке* находит воспоминание и называет *среброцветом* свою цветущую младость.

«В шиповнике — душа моя:
Любовь — цветы, тоска — шипы,
Роса на них — из слез моих».

Поэт видит в цветах живое *изображение красоты*, и нигде не находит красок лучше розы и лилии, чтоб изобразить белорумяный цвет любви или мечты своей.

По *красоте* цветы близкая родня поэзии. Поэзия, одушевляясь ими, всегда любила одушевлять их.

Следы такого одушевления представляет народная поэзия наша, в песнях, обрядах и поверьях. Еще и теперь под Иванов день [2], как талисмана, ищут огненных цветов бесцветного *папоротника;* еще верят в чудесную силу *разрыв-травы;* русские и украинские девицы гадают о судьбе своей по цветам *загадки* (6) и вопрошают ее, как вещую Пифию [3]. Самые имена цветов: *маткина душка, Иван да Марья, Анютины глазки* (pensée), *дрема, мать и мачеха* — показывают поэтическое сближение чувства и мысли с природою.

Но, чтобы видеть, до какой степени фантазия человека склонна к *одушевлению* растений, вспомним фантазию древнего Востока, которую по справедливости можно назвать *растительною*. Она не только приписывала душу растениям, но заключала в них *душу мира* и видела в них символ природы. Такими священными растениями были: *лотос* у египтян, *гом* у персов, *сириша* и *асвата* у индийцев.

Цветущая фантазия греческая, творившая природу по подобию человека, одаряла растения *душòю чело-*

веческою, и притом сначала душою только *женскою.* Она их населяла *Нимфами* и *Гамидриадами*[4]; потом превращаемы были в растения: и робкая *Дафна*[5], первая любовь Аполлона, и слезный *Кипариссий*[6], и стенящий *Гиацинт*[7], и *Нарцисс*[8], суетною любовию к себе пламеневший. Анемоны вырастали из слез Киприды, когда плакала она над трупом своего *Адониса*[9]; а тоскующая *Клития*[10], и превращенная в гелиотроп, еще любит по-прежнему и обращается к своему солнцу (7).

М. Максимович.

Октябрь 6, 1831.

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Линней[11] различал три царства природы таким образом: *камни растут, растения растут и живут, животные растут, живут и чувствуют* (Lapides crescunt, vegitabilia crescunt et vivunt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt).

(2) Из предложенного мною различения *смерти* растений и животных на *смерть разрушения* и *смерть цепенения* видно, что минералы умирают *только смертию разрушения*, а бытие или жизнь их есть то, что *смерть цепенения* у растений.

(3) Таким образом, многие роды минералов суть происхождения органического; напр., *каменные угли, графит, торф, ископаемые смолы.*

(4) *Гласом природы* называется протяжный, унылый звук, иногда слышимый в пустынях и диких лесах, которого, говорят, никто не мог слышать равнодушно, и причина коего еще не разгадана.

(5) Сие замечательное североамериканское растение называется по-латыни Dionaca muscipula. Весьма близкая к ней по сродству у нас *росянка* (drosera) также имеет раздражительные листья.

(6) *Загадкою* или *загадками* в Малороссии называют растение: Erigon acre, называемое в Новгородской и Тверской губерниях, где также по нем гадают *богатенкою.*

(7) См.: Овидиевы превращения, кн. IV.

СВАТОВСТВО

(Из воспоминаний старика о его молодости)

«Гей, гей! та нигде правды диты!..»
Котляревский[1].

Мне было двадцать лет, и уже Преосвященнейший Владыка нашей епархии назначал меня ставленником в диаконы; из милости к отцу моему и ко мне ожидал, только хорошей ваканции, т. е. чтобы поставить меня диаконом в сытное место, где бы мне можно было со временем быть и священником. Проклятые каникулы все это расстроили; и теперь я, нижайший, состою в чине 9-го класса и буду состоять по конец дней моих; ибо

...чин ассессорский, толико вожделенный,

как говорит один поэт, мой земляк, вечная ему память!.. сей чин ассессорский, говорю, есть для меня *кислый виноград,* потому что достать его мне век не удастся. Скажете вы: «а экзамен?» — Да, экзамен! Нынешние ваши экзамены для нас, стариков, *темна вода во облацех.* В старину, бывало, кто знал четко и правильно писать, смыслил, где должно поставить *е,* а где *ѣ,* разумел четыре правила из первой части *Руководства к арифметике,* да приметался к делам,— тот был куда знающий человек и ученый чиновник! А ныне у вас математики чистые, да прикладные, да *живые* языки, как вы их называете, да право римское, да то, другое, третье право... так что, право, от одного вычисления

этих прав язык устанет. Где еще! знай-де словесность, умей писать ясно и красно!

...Что-то бы сказали об этом старые дельцы, которых вы, нынешняя молодежь, называете крючками, шпаргалистами, крапивным племенем и другими позорными именами? «Какое тут красноречие,— молвил бы из них любой,— где надобно с плеча валять: *приказали: понеже* и т. далее. И где тут добиться ясности, когда, например, самое дело перепутано, как паутина?» Однако я с своим вопиющим горем отбился от настоящего дела. Простите, господа! всему виною лишний десяток лет за плечами да врожденная наша украинская привычка, по которой часом у нас и слова не выманишь, будто губы на замке; а часом, коли бог пошлет охоту язык почесать,— так и не остановишься: откуда слова берутся! Уже подлинно, *от избытка уста глаголют*!

Может быть, господа, вы дивитесь, переглядываетесь и перешептываетесь: «Кто-де с нами говорит? и какой-де след незнакомому человеку затрагивать незнакомых; жителю уездного городка говорить со столичными и простою речью дразнить наш слух, привыкший к отборным выражениям и затейливым приветствиям?.. Извольте, господа! донесу вам о себе все, что следует. Напомню вам только, что я сам был из ученых, и если бы не проклятые каникулы, то, может статься, и до сего дня не разознался бы с латынью. Как это было, о том следует ниже. Прошу прислушать.

Мне было двадцать лет,— как уже я имел честь донести вам; — я прошел философию и поступил в Богословы. Июнь месяц приближался тогда к концу. Я отбыл свой экзамен и отправился в дом родительский, К *** повета в село Крохалиевку, где отец мой был единственным священником многолюдного прихода.

Отец мой имел большой почет не только от казаков и мужиков, но и от мелкопоместных дворян или панков, которых было душ десятка три в Крохалиевке. Правда, и было за что уважать отца Калистрата Сластёну: он сам из предков был дворянин, кроме церковной земли имел десятин сорок собственной, еще и с лесом. Один сад с плодовыми деревьями был у нас такой большой, что устанешь, бывало, покамест обойдешь его. Прибавьте же к этому еще пасеку, на которой было до тысячи ульев пчел, да славный доход от прихожан за требы мирские, за христославие, ходы с образами и пр. и пр.— и тогда вы не подивитесь, коли я вам скажу, что отец Калистрат Сластёна не только мог равняться со всеми крохалиевскими панками, но и был зажиточнее любого из них. Многие даже были ему должны немалые суммы денег. Бывало, как он идет в праздничный день по селению, в гродетуровой своей фиолетовой рясе, в светло-зеленом камчатном полукафтаньи, в пуховой шляпе с большими полями, держа в руке высокую камышевую трость с позолоченым набалдашником,— то все, от мала до велика, кланялись ему в пояс, изъявляя знаки глубочайшего уважения к его особе. Правда, он умел поддерживать сие высокое мнение о нем в прихожанах: вел себя с надлежащею важностью, не любил запрашивать лишнего за требы, не любил куликать на поминках и торговаться за венчанья и похороны; принимал всегда на себя вид степенный, особливо во время служения, читал молитвы внятно и с расстановкой, говорил медленно и величаво. Одна только молодежь крохалиевская пе совсем была им довольна за то, что обедня у него обыкновенно шла очень долго и что он молодых парней побранивал иногда за шалости.

Казалось бы, что он как первенствующее лицо в

своем приходе долженствовал быть полновластным господином своих желаний и действий; так нет, милостивые государи! нередко публичная власть сама бывает подвержена частному, домашнему господству. Это самое было и с моим родителем. Матушка моя нашла средство покорить себе волю своего супруга. Не думайте, однако ж, будто бы она достигла сего упрямством и настойчивостью: совсем нет! такие средства слишком были бы явны, и у отца Калистрата ничего бы ими не выторговала. Матушка моя проложила себе путь вернейший, хотя и околичный. Вот как она обыкновенно действовала: когда видела родителя моего в хорошем расположении духа, то приступала к нему с своею просьбой; и если он наотрез ей отказывал, то она умолкала и выжидала другого удобного случая; не унывая от новой неудачи, откладывала до третьей, четвертой попытки и так далее. Наконец, напав на отца моего под добрый стих, она выманивала у него желаемое согласие, руководствуясь в этом, как видно, пословицей: что *по капле вода и камень протачивает*. Таким образом, отец мой, быв в полной уверенности, что властвует один в своем доме, незаметно разделял свое господство с моей матерью и часто действовал по ее внушению, в противность собственной доброй воле.

Правда, мать моя не употребляла или не смела употребить во зло тайного своего владычества: весь круг ее действий ограничивался делами домашними или семейными; в глазах же обывателей и панков крохалиевских пользовалась она уважением второстепенным, яко второе лицо по отце моем. В частном быту своем была она домовитою хозяйкой: сушила впрок яблоки, груши, вишни и терн; солила грузди, делала вкусный грушевый квас, разные сладкие наливки; особливо ее рябиновка славилась по целому околотку. С отличным

искусством разрисовывала к Велику-дню *писанки* (1) и непостижимым для меня чудом умела сберегать надолго от порчи огромные вороха крашеных яиц, приносимых священнику его прихожанами на поклон о святой неделе.

Но я давно уже отправился из города к отцу моему, и все-таки, как изволите видеть, до сих пор туда не доехал. Причина тому самая простая: медленность движения; а почему? узнаете сию минуту. Мы, смиренные студенты философии или богословия, не летали, как городские ваши барычи, на лихих тройках: нет! в этом случае родители нас не баловали. Я уже думал, взяв посох пешехода, в поте лица измерять собственными ногами пространство от епархиальнаго города до родимой Крохалиевки (пространство, мимоходом скажу, не менее осьмидесяти верст); но, по счастию, на городском рынке встретил одного крохалиевскаго обывателя, приехавшего туда на трех парах волов для продажи пшена, воску, пеньки и конопляного масла. Сим последним изделием отличался дом этого казака из рода в род; почему и прозвание предка: *Олия* (2) — осталось при потомках его как прозвание родовое, с небольшим изменением: *Олиенко,* показывающим и ремесло родоначальника, и то, что название сие служит как бы словесным гербовником, означающим давность и рода и ремесла его. *Панас* (3) *Олиенко,* увидев и узнав меня на рынке, подошел ко мне с почтительным поклоном и приветствием: «*Добрый день, пане поповичу*!» После некоторых расспросов я узнал от него, что на другой день собирался он в обратный путь, и он с охотой вызвался доставить меня в родительский дом, вменяя себе великую честь, что ему представлялся случай оказать услугу *пан-отцу* (4).

Усевшись на передовом возу, запряженном парою

круторогих, статных волов (5), я весело начал свое путешествие, во время которого не приключилось ничего особенного, кроме того, разве, что, проезжая вечером чрез большой черный лес, я и проводник мой с своим работником весьма нехладнокровно вслушивались в крик и завыванье филинов и сов, которые суеверными моими спутниками приняты были за ночные проказы леших; а как страх есть болезнь прилипчивая, то — нечего греха таить — и у меня внутренность обдавало холодом; да еще на одном ночлеге мы перетряслись, как лист, оттого что над нами пролетела ярко-светлая полоса, которую добрые поселяне почитают за огнѐнного змея, а вы, господа, называете метеором. Кто из вас прав, та или другая сторона,— это решить не мое дело, тем более что таковые казусы никогда не поступали в инстанцию, по которой я имею честь состоять в числе штатных чиновников. Наконец, в третий день около полудня мы завидели с одного пригорка благословенное село Крохалиевку. Узрев высокую колокольню, на которую в бытность мою еще в родительском доме часто я лаживал поддирать голубиные гнезда или звонить на разные напевы о святой неделе,— я, признаюсь в моей слабости, прослезился от умиления. «Dulce fumus patriae!» [2] — твердил я, сидя на возу и погоняя батогом ленивых волов, тогда как взоры мои были устремлены на густой дым, подымавшийся столбом из винокурни одного крохалиевского панка. Панас Олиенко и работник его, думая, что я говорил *рацею* (6), благоговейно сняли шапки и перекрестились раза по три. С каждым медленным шагом волов сердце мое билось сильнее и сильнее. Одна только природная застенчивость, один только ложный стыд не позволяли мне вскочить с воза и, припав к земле, целовать родную пыль.

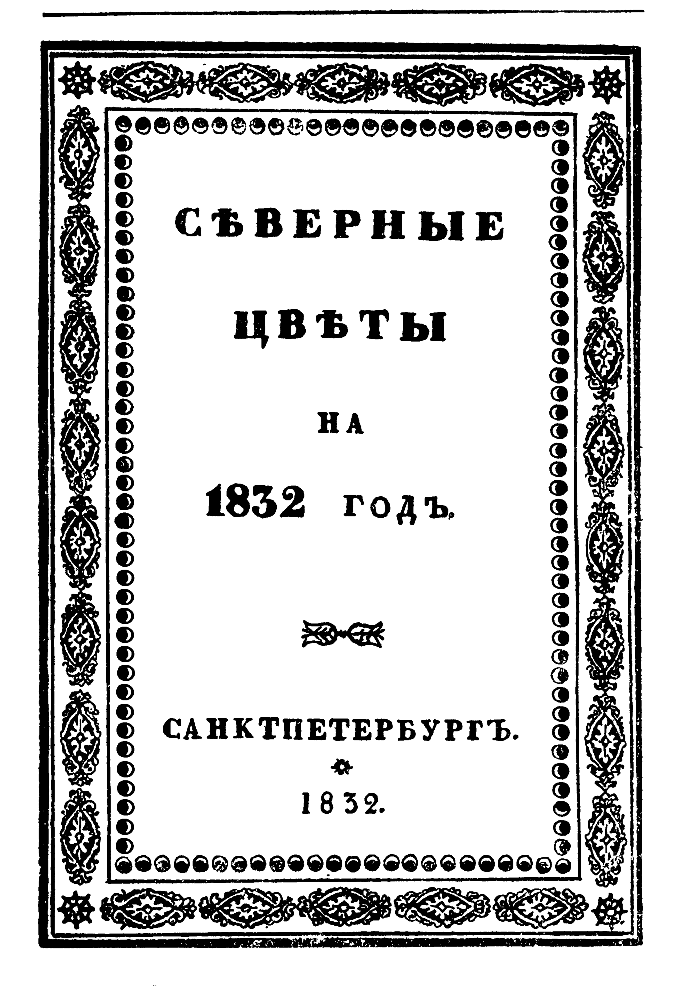
«Но всему есть свой предел»,— говаривал покойник мой батюшка, утешая назидательною беседой своих прихожан во время смертных случаев. Так и тихоступному шествию волов был же свой предел. Я встал с воза, в коротких словах отблагодарил Панаса Олиенко и скорым шагом пустился к дому отцовскому. Не берусь описывать минуту свидания: скрип пера слабо выразил бы визгливые излияния чувства и радостные всхлипывания доброй моей матери!

После первых родственных объятий и осведомлений о том и о другом беседа потекла у нас спокойнее, подобно реке, которая, прорвавшись сквозь кремнистые ущелья, начинает плавно течь в берегах своих. Батюшка расспрашивал меня об экзамене; матушка заговаривала о женитьбе. Это слово, не знаю сам почему, показалось мне на сей раз что-то страшно. как будто бы я впервые пристально заглянул в глубокий колодезь, в котором и дна не видно, и вода словно подернута какою-то черною, непроницаемою для взора влагой.

Случай, который часто действует, как те назойливые услужники, кои некстати подвертываются к вам с своими угождениями,

И любят хлопотать, где их совсем не просят [3],

случай удивительно помог моей матушке в брачных ее видах на счет мой. У нас в Крохалиевке завелась свадьба. Какой-то повытчик поветоваго суда из ближайшего городка вздумал жениться на одной из барышень, которыми обиловало наше селение, как сад моего отца в летнюю пору сладкими грушами и сочными вишнями. Отец мой говаривал, при урожае, что деревья в его саду так и ломятся от плодов; слава богу, что этой поговорки нельзя применить к улицам и красным девицам: иначе я был бы в сильном страхе, что



СѢВЕРНЫЕ
ЦВѢТЫ
НА
1832 ГОДЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1832.

Лицевая сторона обложки альманаха

нашей Крохалиевке не сдобровать от изобилия плодов земных и временных, коими в хорошую погоду красовались все лавки у ворот в панских домах благословенной и многоплодной Крохалиевки. У иного дома, право, можно было их насчитать от шести до осьми. На сей раз одному из этих плодов, по большей части зрелых, надлежало выбыть из общего счета. Батюшка мой, соблюдая приличие своего сана, никогда не хаживал на свадебные пиры; его и оставили в покое, зато к матушке моей и ко мне приступили со всею настойчивостию провинциальнаго хлебосольства. «Будьте ласковы, таки пожалуйте, не побрезгайте нашею хлебсолью». Но у матушки моей были также свои понятия о приличиях сана попадьи, яко помощницы и верной спутницы *пан-отца* на пути жизни. Она также решительно отказалась, утверждая, что духовному чину некстати быть на *весельях* (7) и мирских забавах. Оставался один я,— и признаюсь, не от чего иного, как от застенчивости, тоже сперва отказался; но на этот раз матушка моя приняла сторону гостеприимных пригласителей и доказывала мне, что молодому человеку, живущему в *большом свете* (т. е. в *бурсе* (8) епархиального города), стыдно уклоняться от честных увеселений, что я не жена, а только сын священника и доселе состою покамест еще в светском звании. Я, сказать правду, не совсем был недоволен *аргументами* моей родительницы: мне самому хотелось понасмотреться вблизи, как веселятся паны; ибо до тех пор я видал их только издали.

Оставшись со мной наедине, матушка моя умела оживить мою бодрость. Она твердила мне, что я как житель губернскаго города и человек ученый могу везде иметь почетное место; что сельские мелкопоместные панки люди незамысловатые, да и поезжаные с

жениховой стороны тоже; ибо все они не больше, как неважные чиновники поветоваго городка, все опи видели свет только из окна и что, наконец, я любого из них могу загонять красноречием и латынью. Это надмило мне душу честолюбивым желанием блеснуть умом, ученостью и светскою ловкостью в Крохалиевке. Настал желанный день, и я с самого утра начал заботиться о своем наряде и приготовлениях, чтобы как можно лучше явиться в большой крохалиевский свет. Опойковые свои сапоги, немного порыжелые, смочил я раствором из купароса, а после тщательно натер конопляным маслом с солью, что придало им необыкновенную черноту и даже некоторый лоск. Серый свой долгополый сюртук, сшитый мне родителем моим *на рост,* когда во мне было два аршина и девять вершков с половиною, вычистил я так, что на нем не осталось ни порошинки. К этому, чтоб больше блеснуть в глаза деревенских барышень яркостию красок и тонкостию вкуса, надел я алый камзол и застегнул его по самое горло позолоченными пуговками. Матушка ссудила меня шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужными коймами и серебряными цветами по углам; я повязал этот платок на шею, роспустя длинные концы его так, что волнисто-радужные коймы и серебряные цветы приходились у меня на самой груди. Одевшись таким образом, я посмотрелся в зеркало: блеск ослепительный! красный цвет и оранжевый, радужные коймы и серебро платка, золото пуговиц — все это составляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первенстве на одобрение вкуса самого разборчивого. Я вычесал *лавержет* (9) свой частым гребнем и намазал его самым свежим коровьим маслом. В таком убранстве я предстал на предварительный суд моей родительницы.

Матушка моя ахнула от изумления, видя такое великолепие и вместе изящество, соразмерность, стройность и вкус. «Пускай же,— говорила она,— эти городские панычи выхваляются перед тобою своим убранством; на них все: то черное, то белое, то синее, а на тебе все как жар горит!» Я и сам был того мнения, что городские моды скудны и однообразны, и считал, что мне, как человеку просвещенному, живущему в центре губернской образованности и которому за латынью в карман не ходить,— что мне, словом, можно по праву быть оракулом моды в Крохалиевке. Являюсь в дом отца невесты — ровно в одиннадцать часов утра. Комнаты все полны гостей; девушки, молодые и пожилые, разряженные в пух и по самой последней моде, существовавшей тогда в Крохалиевке, либо сидят чинно по местам, ужимая губки и перебирая пальцами по обыкновенной привычке малороссийских панянок, либо вертятся

...як в окрипи муха (10),

по выражению одного поэта, тоже моего земляка, которому дай бог петь и здравствовать многия лета! Городские панычи, иные в черных либо синих фраках, другие в губернских мундирах, оскалили зубы при моем появлении. Я оторопел; однако ж, помня слова моей матушки и собственное сознание в щегольском моем наряде, молвил сам себе: зависть, зависть! Иному из них, может быть, и не из чего одеться, как я; вот они и принарядились в кургузые фрачки, чтобы меньше сукна выходило на платье. Мысль сия снова меня ободрила. Я раскланялся на все стороны и пустился искать хозяйку дома. Она подносила тогда своеручно гостям водку; я сунулся, чтобы поцеловать у ней руку, толкнул локтем большой поднос — графины, черки за-

звенели и повалились на бок, водка полилась на иол и на платье хозяйки; счастье еще, что она удержала поднос в дюжих руках своих! Однако же общий смех гостей — адский, скребущий по сердцу смех — раздался вокруг меня. Поцеловав руку хозяйки, я торопливо отдернулся назад в то самое время, когда она наклонилась, чтобы отдать мой поцелуй мне в голову... Новая беда! головою стукнул я ее в лицо так сильно, что искры посыпались у ней из глаз, а из носу чуть не брызнула кровь. Хозяйка вскрикнула невольно и захватила себе лицо левою рукою, в то время как один услужливый паныч поддержал у нее поднос и тем предостерег питейпые снаряды от конечного разрушения. Признаюсь, тут я обомлел с испугу; не видел, где стоял, и чуть не бросился бежать опрометью вон из дому. Если бы не слова: «Ничего, ничего!», сказанные снисходительною хозяйкой, когда она опомнилась от удара, то я, верно, повершил бы свои подвиги быстрым побегом.

Милостивые государи! случалось ли вам когда купаться почти под самыми мельничными колесами? Нет? А мне так случалось. Какой шум! какой оглушающий рев! Вода то плещет на вас сверху широкими струями и прибивает вас ко дну, то подмывает снизу и выпосит нас наверх; то кажется, шум на минуту притихнет, то снова поскачут водяные валы с колеса и с грохотом и зыком обдают вас белою пеной... Голова закружится, дыхание захватывается, силы истощаются — и рад-рад бываешь, когда выберешься на берег. Вообразите себе такой же гром и треск и переливы и раскаты хохота, который падает на вас, как тяжелые волны речные, тягчит, давит вас; и вот, кажется, затих,— и вот снова сыплется па вас дребезжащим громом... Вообразите себе все это, и вообрази-

те меня в этом положении!.. Кажется, рад бы провалиться сквозь землю, рад бы окаменеть, чтоб не видеть и не слышать этого буйного прилива веселости, от которого одному только горе, и этот один — именно я, я сам, несчастнейший изо всех семинаристов минувших, настоящих и будущих! Никогда насмешки резвых товарищей, никогда едкие шутки дерзких *чумаков* (11), предлагающих скромному пешеходу батог, чтобы погонять им природную пару, не казались мне столь обидными. Да и как не огорчаться, как не досадовать? С самого первого шага я сделался посмешищем того общества, которому хотел предписывать законы моды и приличий... О мать моя, как ты обманулась и как обманула бедного твоего сына!

«„Все это не беда, препочтеннейший и вселюбезнейший!“ — сказал, подошед ко мне, какой-то старый, запачканный крохобор, приехавший из города в числе приятелей жениховых. „Вы здесь человек новый: я слышал, недавно приехали, и прямо из губернии. Мы не знаем тамошних ваших обычаев, а вы наших. Может быть, там от молодого человека требуют на первых порах чокнуться головою с хозяйкой дома и совершить водочное излияние, примером будучи, хоть бы в честь усопших родителей. Для нас, темных людей, это дико; но вы не унывайте и продолжайте так же, как и начали...“»

Чтоб тебе подавиться этими словами! думал я, смотря на бездушную, хладнокровную харю этого старого сыча и слыша возобновившийся хохот, между тем как мой краснобай стоял передо мною без малейшей улыбки и только рассматривал меня с ног до головы такими глазами, как будто бы хотел всего меня затвердить наизусть, дабы потом снять с меня заочно план с фасадом. Гнев кипел во мне; что было делать? Если б

это случилось на улице, то я, может быть, употребил бы argumentum baculinum (12), чтобы убедить этого окаянного старичишку в ложности его мнения обо мне и в неприличности его речей; но здесь, в многочисленном собрании, это значило бы выставить себя вполне сумасшедшим. Не знав, что начать, я стоял по-прежнему как вкопанный.

К счастию моему, хозяин и хозяйка подоспели ко мне на помощь. Им неприятно было, что сын человека, ими уважаемого, духовного их отца и (чтобы ничего не утаить) человека, которому они были должны, осмеян был в их доме. Хозяин, взяв меня за руку, повел знакомить со всеми своими гостями поодиночке. Уже не смех, а едкие улыбки мелькали передо мной посменно. Девушки, забыв малороссийскую скромность, захватывали себе лица белыми платочками при взгляде на меня и, казалось, все еще тишком хохотали. Одна только смотрела на меня с участием, укоризненно поглядывала на своих смешливых соседок, и, когда меня подвели к ней, то она, закрасневшись, пролепетала мне какое-то приветствие — помнится, вопрос о здоровье моей матушки... Нет! самолюбие и благодарность меня не обманывали: она точно была прекраснее всех в этом обществе. Темно-голубые глаза ее смотрели так умильно, светились таким тихим, живительным огнем, что истинно сулили рай на земле. Свеженькое, беленькое личико ее озарялось тонким румянцем, который пристыдил бы алые персты древней Авроры. Прибавьте к этому кротость и доброту, живо написанные на лице красавицы и отражавшиеся во всех ее приемах, во всех ее движениях; невысокий, но стройный стан, милую круглоту форм, заявлявшую цветущее, сельское здоровье... Видите ли, господа, что и я сумею говорить по-вашему, когда чувство согрето во мне сладостным воспоминанием.

Короче, вид этой девушки помирил меня со всем свадебным обществом. Правда, меня потом оставили в покое, может быть в угоду хозяевам, которые явно оказывали мне свое внимание. Барышни все еще между собою перешептывались, оскаливая зубки; но мало ли о чем перешептываются малороссийские *панянки*? Это меня и не тревожило. Я сел в углу и оттуда выглядывал на собрание; чаще же всего и пристальнее посматривал на белокурую красавицу, которая отвела мне душу своим участием. Таким образом дело протянулось до обеда. Не знаю, по какой игре судьбы я очутился за столом как раз насупротив моей белокурой красавицы, и, с умыслом или без умыслу, насмешливый крохобор сел подле меня по левую сторону. Вот истинный образ истязания души после смерти! думал я: видишь рай вдали — и чувствуешь ад подле себя так близко, что, кажется, из него пышет на тебя полымя! Сосед мой, по-видимому, понял неприязненное мое к нему расположение и потому всячески старался со мной заговаривать, начав обыкновенным провинциальным осведомлением: «Позвольте спросить, препочтеннейший, о вашем имени и отчестве?

— Демид Калистратов сын Сластёна,— отвечал я отрывисто и неохотно.

— Воистину, так сказать, лакомое прозвание вы носите, препочтеннейший! — продолжал он. Я молчал.

— Не здешнего ли священника бог порадовал таким сынком? — был новый вопрос неотвязного соседа.

— Отгадали,— отвечал я по-прежнему.

— А! так вы сын здешнего священника, отца Калистрата? Радуюсь и поздравляю его и вас совокупно. Мы люди темные, неученые; однако же знаем, что у него дом как полная чаша, поля столько, что глазом не окинешь, с лесами, садами, сенокосами, пасечными места-

ми и всякими угодьи. А пасека! обойти повета два-три, такой не сыщешь. Больше же всего благословение божие состоит у него в сундуках, лежачими. Правда ли, препочтеннейший, что у пан-отца наберется тысяч до двадцати целковыми?

— Я не считал отцовских денег,— молвил я с досадой.

— Мы тоже не считали, да слухом земля полнится, особливо судя по тому, что у батюшки вашего роздано в долг, сиречь займообразно, тысяч до десятка. Вот, недалеко сказать, и здешний хозяин должен ему чуть ли не пять или не шесть тысяч... Сколько именно, примером будучи?

— Не знаю,— отвечал я докучному распросчику. Между тем мысль об известности и богатстве отца моего придала мне бодрости. Я стал уже веселее и вольнее поглядывать вокруг себя, смелее пересылался взорами с миловидною белянкой, которая тоже исподлобья на меня посматривала, и, кажется, не вовсе не ласково. Частые приемы наливок, подносимых радушными хозяевами, довершили остальное: к концу стола и язык у меня развязался. Сосед мой, начавший со мною знакомство язвительною выходкой, теперь всячески старался угодливостью своею заглушить во мне неприятное впечатление первых речей его. Подметя частое мое переглядывание через стол, он вдруг обратился ко мне с следующею речью:

— Вот поистине, так сказать, предостойная девица, примером будучи, хоть кому невеста: шестнадцать лет и семь месяцев от рождения, пригожа, статна, и одна дочь у матери, как порох в глазу. А матушка ее человек нескудный: есть свой хуторок, винокурня и того-сего прочего наберется не на одну тысячу. Да кому знать лучше, коли не вашим родителям? Матрона Яки-

мовна также состоит им должною, то за хлеб для винокурни, то по другим счетам. Вот бы, думаю, она была рада-радехонька, когда бы долг ее уничтожился родственной сделкой. За сватами бы дело не стало; вот хоть бы, примером будучи, скажу о себе: не одну свадьбу удалось мне сладить на своем веку, лишь бы предвиделась посильная благостыня...

Я сидел как на иголках в продолжение сей речи; притворялся, будто бы не слушаю назойливого соседа, а по совести, не проронил мимо ушей ни одного слова. Дивился я, каким образом этот запачканный человек знал так подробно домашние дела наши и всех панов крохалиевских, и решился поплатиться с ним вопросом: «Позвольте мне спросить о вашем имени и отчестве?»

«Зовут меня Савелий Дементьевич Пересыпченко,— отвечал он без малейшей запинки, как человек, издавна привыкший к подобным допросным пунктам.— Может быть, вам благоугодно также знать мое звание и занятие? — продолжал он.— На сие имею честь объявить, что я отставной канцелярист земского суда и ныне занимаюсь хождением по делам да продажею движимых и недвижимых имений по доверенности, да свадебными и другими — прочими сделками. Спросите по целому повету о Савелии Дементьевиче Пересыпченке; все, от мала до велика, вам скажут: то-то делец! то-то честный и бескорыстный человек! с ним верите ли его, как у бога за печкой; а уж свадьбу состряпать — его подавай: будь хоть отцы жениха и невесты смертельные враги между собою, он их помирит и умаслит так, что они сами не прочь обвенчаться».

Я молчал, заметя, к чему клонилась эта затейливая речь. Стол кончился; но наливки не переставали кружиться по собранию и кружить головы тех из гостей,

которые не совсем были привычны к подобным попойкам. К числу таковых гостей принадлежал и я. В голове у меня порядочно стучало. Я обнимался и целовался со всяким, кого встречал, болтал почти без умолку и отпускал латинские фразы кстати и некстати. Скоро после обеда вошли в комнату гуслит и два скрипача, за которыми жених нарочно посылал в город. Я начал притопывать ногой и приплясывать в ожидании, что музыканты заиграют *горлицу* либо *метелицу* — пляски, с которыми я не вовсе был не знаком. Судите же о моей досаде, когда они забренчали и заскрипели какие-то заморские контратанцы, от роду мною не слыханные и невиданные. Городские *панычи,* подметя, что я прежде разминал ноги для пляски, настроили невесту, чтоб она пригласила меня танцевать... Я сперва отговаривался; но после подумал: ведь не боги ж горшки обжигают! взял какую-то дородную и пожилую девицу и стал в числе пар. Доходит очередь до меня; я выступаю, как журавль, ноги мои гнутся, скользят то вправо, то влево, путаются и — о верх несчастья! я падаю и увлекаю за собой дюжую даму мою... Можно вообразить ее гнев и смех целого собрания!.. Дама моя, с визгливой бранью и слезами на глазах, вскочила и убежала в другую комнату; но я — я не в силах уже был подняться. Жених и два или три *паныча* поставили меня на ноги и, видя, что голова у меня кружилась, отвели в особую коморку и уложили на постелю. Что было далее в этот бурный для меня день, я ничего не помню и не знаю...

Рано поутру я проснулся, когда еще по целому дому раздавалось громкое, единогласное храпенье гостей, от которого дрожали на потолке переборы. Голова у меня была тяжела, как свинец; смутно припоминал я себе все, что случилось со мной накануне; когда же

дошел в памяти до несчастного падения, которым повершил вчерашние свои подвиги, то вздрогнул, как убийца при воспоминании о предсмертном треиетаньи своей жертвы. Стыд, досада на себя и на других, страх новых насмешек, унижение в глазах миловидной белянки — все это возвратило мне силы, отнятые вчерашним перепоем. Я спехом оделся, как сумасшедший рванулся в дверь и побежал без оглядки к дому отцовскому. Там ожидали меня нежное участие матери и пасмурный вид отца, который встретил было мепя строгим выговором за неумеренность, неприличную моему возрасту и будущему сану; но матушка приняла мою сторону и робко, тихим голосом (средства, кои всегда удавались ей с отцом моим) старалась меня оправдать. «Дело свадебное,— говорила она,— хозяева обиделись бы, когда бы наш Демид не по полной выпивал за здравие жениха с невестой и всего благословенного дома». Отец мой убедился сими доводами, и домашняя гроза пронеслась мимо меня без дальнейших следствий.

Из благодарности к моей матери я удовлетворил ее любопытство, когда мы остались с нею глаз на глаз, и рассказал ей подробно все — все, что помнил. Признаться, я скрасил немного темпые пятна в моем рассказе, и виноваты у меня были другие, а не я: зато радужными цветами расписал белокурую красавицу, столь явно принимавшую во мне участие.

— Из слов твоих я догадываюсь, что она такова,— сказала мне матушка,— пусть у меня язык отсохнет, если это не Настуся Опариевна, дочь Матроны Якимовны Опариихи (13).

— Точно так называл мне ее мать новый мой знакомец, Пересыпченко...

— Кому уж больше быть, как не ей! — подхватила

матушка,— она знает, моя голубушка сизая, у ней сердце чует, что это был ее нареченный жених.

— Как нареченный жених! — вскрикнул я в каком-то страхе, смешанном с чувством радости.

— Да, так: у меня это давно уже положено на сердце, и я не раз заговаривала с Настусей; не говорила только еще с ее матерью. Видишь, она такая неприступная, панья во всю губу, как будто и бог знает что!.. Ну, да его святая воля! а без сватов дело не обойдется.

За ними дело и не стало. Спустя дней пять вдруг послышался почтовый колокольчик на улице, звенел, звенел и утих перед самыми нашими воротами. Я выглянул в окно и увидел сходящего с повозки моего свадебного знакомца, Савелия Дементьевича Пересыпченка... Тогда так бывало в нашей безответной Малороссии: кто назовет себя капитан-исправником, заседателем, судьею, подсудком, словом сказать, кем-либо из судовых, их роднею, благоприятелем или просто погрозит их именем да привяжет к дуге колокольчик,— тому, бывало, безотговорочно дают по тройке с проводником из обывательских. Теперь это вывелось; а жаль! нашему брату не держать же своих лошадей или не платить прогонов, когда миром от селения до селения, от волости до волости могут нас довести хоть на край света, или по крайней мере из конца в конец по всей Малороссии. Скажете вы: по какому праву? — И, отцы мои! да по тому праву, что в селах обыватели народ простой; а нас, каковы мы ни есть, все-таки величают панами.

Во время вышеупомянутого посещения сидел я в светлице и занимался сочинением проповеди, которую, по совету отца моего, намерен был сказать в следующее воскресенье, дабы блеснуть красноречием перед мирянами крохалиевскими и подать им высокое мне-

ние о моих дарованиях и учености. Лишь только завидел я Савелия Дементьевича, у меня сердце похолодело: проповедь, и ученость, и красноречие мигом испарились из головы моей. Отца моего не было дома: он уходил для каких-то треб; матушка тоже занималась хозяйством. Я один должен был встретить приезжего.

— Здравствуйте, препочтеннейший и вселюбезнейший Демид Калистратович! — сказал он, входя в комнату.— Я приехал к вам за важным делом, по поводу, примером будучи, Настасьи Петровны Опариевны. А чтобы *пан-отец,* какова не мера, не подумал, что я навязываюсь на такую услугу, которой он от меня не ждал и не просил, то у меня готовы и *сепаратные* пункты: хочу торговать у него мед и воск да попросить взаймы денег для одного надежного человека.

Я молчал; да и что мне было отвечать? Отказаться от его услуг — значило как будто бы показать холодность к милой Настусе и заставить навязчивого, всесветного свата подъехать с другим женихом. Он и принял мое молчание в таком виде, как ему хотелось, т. е. счел его знаком согласия; но, как тонкий знаток провинциальных приличий, искусно перемепил разговор и повел бесконечную речь о городских новостях гг. судовых и — право, всего не припомню.

К счастию моему, матушка скоро вошла в комнату. Дело между ею и Савелием Дементьевичем сладилось ко взаимному удовольствию: условились, чтобы хитрый сват подкрался к отцу моему с предложением, как бы нечаянно напав на эту мысль. Как сказано, так и сделано. Отец мой, выгодно продав свой мед и воск, стал мягок и уступчив; и хотя сначала неохотно слушал о родстве с Матроной Якимовной, осуждая ее за излишнюю спесь, но когда пан Пересыпченко напал на него всею силою деловой своей логики, то батюшка мой

начал убеждаться его доводами. Обед и наливки угладили остальные затруднения.

Жребий был брошен; меня обрекли в женихи милой Настуси. Через неделю Савелий Дементьевич должен был приехать для большей важности с другим еще сватом, верным своим подручником, и отправиться к Матроне Якимовне. До этого времени, чтоб рассеять волновавшие меня мысли и сократить минуты ожидания, усерднее прежнего занялся я сочинением моей проповеди. Предметом оной было увещание к братской любви; я грозно восставал против презорства и кощунства мирского, и текст выбрал следующий: *Блажен человек, иже и скоты милует*. Признаюсь, у меня лежал на душе обидный хохот, которым меня чуть не оглушили на свадьбе.

Проповедь кончена, пересмотрена, переписана набело, прочтена моему отцу, одобрена им и сказана мною в следующее воскресенье. Я надеялся произвести ею сильное впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: надеялся пробудить в них угрызения совести и заставить их внутренне сознаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешептывались по своему обыкновению, набожные старушки поминутно клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только девушка слушала прилежно и, казалось, угадывала мое намерение; нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее вниманием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синегдох и гипербол.

Впрочем, по окончании обедни все паны и паньи крохалиевские забросали моего отца поздравлениями

и похвалами моему красноречию, уму и учености. Тут я понял, что с людьми темными и необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхваливать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне заглянуть в наши нынешние журналы да вслушаться в толки наших провинциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и разместить таким образом, чтобы чтец на каждой строке запинался и переводил дух. Одна красная обертка журнала уже служит для них верною порукой за красноречие издателя.

Настал желанный четверток. В десять часов утра снова колокольчик зазвенел по улице и опять затих перед нашим домом. Погодя немного, вошли наши сваты: Савелий Дементьевич с каким-то приземистым, плотным и краснолицым человечком; оба они были навеселе. Около часа потолковав о деле, мы сели за ранний обед, и он для нетерпеливого жениха бог весть как долго протянулся в потчиваньи да в шутках и прибаутках, которыми рассыпались оба свата. Вышед из-за стола, они почувствовали, что язык их прилипал к гортани. Им отвели особую комнату, через сени, и они легли там отдохнуть, а я между тем занялся своим убранством. Уже я не решился надеть ни красного жилета, ни оранжевого платка на шею: за исключением бессменного моего долгополого сюртука, я старался нарядиться сколько можно ближе к тому, как одеты были городские панычи на свадьбе. Часа через два сваты мои встали, как встрепаные. Отслушав вечерню и получа родительское благословение, отправил-

ся я с своими сватами в отцовской голубой тарадайке с желтыми и красными *мережками* (14) — прямо к дому Матроны Якимовны Опариихи.

Приезжаем. Босоногая служанка с растрепанными волосами встречает нас и объявляет, что панья просит обождать. Сидим и ждем час и другой; а между тем из ближней комнаты раздаются громкие и бранчивые приказания Матроны Якимовны то́ тому, то другому из ее домашней челяди. Я теряю терпение и бодрость; но сваты мои стараются снова ободрить меня своими побасенками и забавными замечаниями на счет всего, что видят в одной комнате и слышат из другой. Наконец является Матрона Якимовна, высокая, дородная женщина со вздернутым носом, пухлыми щеками и чванливым взглядом. На голове у ней был шелковый платок, повязанный наколкой, как у городских мещанок; на ногах голубые шерстяные чулки и башмаки без задников, с высокими каблуками; прочий наряд ее составляли шушун и юбка ситцевые с большими разводами ярких цветов да клетчатый бумажный платок на шее. Несмотря на то ни одна знатная дама, во всем блеске пышности и убранства, не приняла бы нас так сухо и спесиво, как Матрона Якимовна.

Старший сват, т. е. Савелий Дементьевич Пересыпченко, повел речь обинякáми, чуть ли не от сотворения мира, и заключил ее сими замечательными словами: «От власти божией не уйдешь. Старое стареет и валится, а молодое цветет да молодится. Примером будучи, сказать вот и об вашей дочке: уж хоть куда невеста. Такой дорогой товар не залежится у матушки на руках. А вот у нас и купец находится: кланяемся вам и просим вашей ласки к нам и нашему жениху».

Матрона Якимовна сделала какую-то двусмысленную ужимку губами и молча указала нам на стулья;

мы сели. Минуты две-три она как будто собиралась с мыслями; наконец начала говорить протяжным голосом и с длинными остановками, более как бы вслух рассуждая сама с собою: «Конечно, мне нечем укорить и сватов и жениха... Сваты люди хорошие, в офицерских чинах; бесчестья никому не сделают... Жених человек молодой и видный, имеет звонкий и явственный глас; я это слышала прошлое воскресенье в обедню... И дом очень достаточный; он же всему один наследник... Только можно ли тому быть, чтоб моя дочка, Анастасия Петровна Опариевна, сделалась попадькой!..»

— Почему же нельзя, матушка Матрона Якимовна? — спросил старший сват.

— Статочное ли дело! Дедушка ее, Гордий Афанасьевич, был Стародубского полка канцеляристом; батюшка ее, Петр Гордиевич, служил в генеральном суде регистратором. Сама я тоже не простого рода: покойные мои родители, с тех пор, как свет стоит, слыли панами... А дочь мою стали бы величать попадькой!.. Нет! тому не бывать.

— Да ведь духовный чин тоже чин, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вспомните, что от начала веков люди знатные выдавали дочерей своих за людей духовного звания. Лаван, примером будучи, был знатный господин, потому что у него были свои рабы, порусски, так сказать, крестьяне; а Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова, который был, как Писание гласит, патриарх, следовательно, духовного звания.

— А я вам скажу,— отвечала Матрона Якимовна решительным тоном,— что хотя бы дочь мою сватал за себя патриарх Цареградский, от которого в прошлом году бродил здесь какой-то греческий чернец и собирал вклады на церковь, то и этому патриарху отказала бы я, и слова не сказала.

— Однако позвольте вам сказать, многомилостивая государыня Матрона Якимовна, что родитель нашего нарекаемого жениха, отец Калистрат, тоже дворянин и по силе реченного звания владеет землями и всякими угодьи...

— Да без крестьян. Какое уж это панство, когда и своих людей нет?

— Истинно так, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вот у вас, примером будучи, благодаря бога, душ пять-шесть ревизских наберется. Из них, помнится, двое в бегах, один умер, да еще один отдан в рекруты; а все-таки с подростками и малолетними можно будет насчитать душ восемь мужеска пола. У отца Калистрата, конечно, этого нет; зато у него есть другое благословение божие, из которого мог бы он купить порядочный хуторок, примером будучи, душ в пятьдесят наличными.

— Верю, что мог бы, когда бы сына своего повел не по духовному званию, а записал бы где-нибудь в статскую службу, особливо в губернском городе. Тогда и у нас пошло бы дело на лад: за дворянина в офицерском чине я просватаю свою дочку; а просто за поповича, не прогневайтесь, нет! велико слово, нет!

— Ну, коли это последнее ваше слово, матушка Матрона Якимовна, то делать нечего. Мы постараемся упросить да умолить отца Калистрата, чтобы он позволил Демиду Калистратовичу выйти из духовного звания и вступить в статскую службу; хотя, правду сказать, и не надеемся на успех. Обещайтесь же и вы, препочтеннейшая, что на случай, паче чаяния, согласия со стороны *пан-отца* вы ни за кого не отдадите своей дочки, пока Демид Калистратович не выйдет в чины.

— Обещаюсь, если ей не сыщется лучшего жениха.

— Нет, матушка Матрона Якимовна: коли дело пошло на условия, так подлежит оным быть в надлежащем и благонадежном порядке всенепременнейше...

— Ну, хорошо,— прервала Матрона Якимовна с прежнею двусмысленною ужимкою, и как будто стараясь поскорее отделаться,— вот мое вам слово, что буду ждать до первого офицерского чина Демида Калистратовича.

Разговор на минуту прервался и завязался потом о предметах посторонних. Я молчал и с каким-то смутным ожиданием поглядывал на дверь, из которой вышла Матрона Якимовна. Погодя немного, она оборотилась к этой двери и закричала богатырским голосом: «Анастасия Петровна, соорудите нам чаю (15)!»

Я думал, что теперь-то увижу Настусю; напрасно. Через полчаса времени чай, разлитый по чашкам, был принесен тою же босоногою служанкой, которая встретила нас у дверей. Сваты мои приветливо улыбнулись стоявшему на подносе графину с кизлярскою водкой домашней работы и бросились на него, как вороны на труп. Матрона Якимовна и меня потчивала кушать чай с водкой; но я не дотрагивался до графина, хотя, признаться, настойка из какой-то травы, названной как бы в насмешку чаем и смешанной с шафраном (16), почти не шла мне в горло. Что касается до самой хозяйки дома, то она кушала этот чай с водкой весьма охотно.

Мы посидели еще несколько времени. Сваты мои ревностно поддерживали свою двойную славу: записных гуляк и весельчаков малороссийских, исправно осушали чашку за чашкой, делая при каждой умышленное ух! т. е. подливая водки вдвое против чайной воды и сопровождая сию затейливую неловкость шутками и побасенками. Наконец мы уехали — сваты с шумливым весельем, а я с безмолвною печалью.

Отец мой, как и должно было ожидать, с негодованием отверг условия Матроны Якимовны. Что мне было делать? Я чувствовал, что любовь моя к Настусе, еще более подстрекаемая препятствием, усиливалась со дня на день. Но пособить горю было нечем. Отца моего в некоторых случаях невозможно было переспорить. Я начал задумываться, грустить и даже сохнуть. Уже ни учение, ни будущий экзамен, ни столько льстившая мне прежде перспектива выгодного прихода не шли мне в ум. Одна только Настуся, с ее миловидным личиком, с ее румяными щечками, с ее белокурыми волосами, ежеминутно наполняла мое воображение. Короче, я любил так, как только любят в двадцать лет,— любил всеми силáми души моей.

От нечего делать и чтоб рассеять мою тоску, бродил я по таким местам, где реже мог встречаться с людьми, и почти всегда невольно выбирал для уединенных моих прогулок рощу, лежавшую за садом Матроны Якимовны. Мысль, что там я несколько поближе к Настусе, была для меня отрадой.

Однажды я подкрался к самому плетню, которым обнесен был сад г-жи Опариихи. Взглянув через плетень, я увидел, что по саду прохаживалась Настуся и задумчиво напевала какую-то заунывную песенку. Сердце во мне забилось, как щука в сетях. Я пригнулся за плетнем и посматривал сквозь просветы оного на милую девушку. Вот она, как будто по невольному влечению, идет прямо к тому месту, где я стою, вот ближе и ближе... Чтобы не напугать ее нечаянным моим появлением и не навлечь каких-либо предосудительных для меня подозрений, я прилег у плетня в густой высокой траве и притаил дух. Настасья Петровна между тем подошла к самому плетню, стала одной ножкой на переплет, другою выше, потом еще

выше... Я лежал ни жив, ни мертв от страха и радости: от страха, чтоб не быть замеченным, и от радости, что Настуся так близко... Покамест она взлезала на плетень, я старался наклонять над собою траву и успел в этом так, что меня вовсе не стало видно. Вот уже моя белокурая красавица на верху плетня, ветерок развевает ее шелковистые волосы, лицо ее горит одушевленным румянцем... Она озирается вокруг внимательным взором, подобно тем баснословным божествам Востока, которые слетали в наш мир, чтобы помогать страждущим, и с воздушных высот обозревали землю. Погодя немного мечта моя еще более осуществилась: Настуся точно слетела вниз, соскокнув с плетня, и упала своими маленькими красивыми ножками прямо мне на грудь.. Как ни сладостна была для меня сия драгоценная ноша, однако я крякнул от боли. Настуся испугалась, оторопела, запуталась ногами в густой траве и упала на меня... круглые, зыбучие формы ее тела легли мне на лицо; голова свесилась в траву... Нечего было медлить: я обхватил восхитительный стан милой девушки, поспешно вскочил на ноги, держа ее на руках. Она вскрикнула от страха; но когда увидела меня, то застыдилась и, вырвавшись из моих рук, спустилась на землю.

— Ах, это вы, Демид Калистратович! — сказала она,— я, право, думала, что здесь в траве притаился медведь. Что вы тут делаете?

— Я... отдыхаю! — отвечал я, смущаясь и не нашед приличнейшего ответа.

— Отдыхаете, в траве, под плетнем? Право, я что-то не верю! — подхватила она с усмешкой.— Нет ли тут какой-нибудь студенческой шутки?

Я не знал, как оправдаться, и решился лучше сказать всю правду. «Признаться,— молвил я с запинкой,—

мне хотелось взглянуть на вас, Настасья Петровна!..»

— На меня? да что вам в этом? — сказала она весело.

— Душа моя так и следит за вами; а где душа, там и глаза! — отвечал я немного посмелее и даже с некоторым жаром.

Она потупила глаза и промолчала. Мы тихо пошли вместе по лесной тропинке, и когда уже садовый плетень скрылся у нас из виду за чащею дерев, тогда Настуся, как бы надумавшись или ободрясь, сказала мне с откровенною улыбкой: «Так вы не шутя меня любите, Демид Калистратович?»

— Ох! люблю так, как никто в свете не может любить вас! — вскричал я с живостию.

— Для чего же вы не хотите выполнить волю матушки моей? Она не хочет меня видеть попадьею; а по мне, признаюсь, все равно, в чем бы вы ни были: в рясе ли, во фраке ли, в губернском ли мундире.

— Как это понимать? — спросил я сомнительно,— это значит, кажется, что я равно вам не мил, во что бы ни оделся?

— О нет, совсем не то! — отвечала она простодушно.— Постарайтесь только уговорить вашего батюшку; а там — мы увидим.

Я поблагодарил милую девушку в несвязных, но жарких выражениях, не скрыл от нее препятствий и затруднений, предстоявших нам, и высказал ей, как умел, все, что было у меня на душе. Она краснела и смотрела в землю, как будто б искала грибов по дороге; но улыбалась очень умильно. Я не слышал под собою ног от радости, что мог говорить с нею наедине. Мы ходили с полчаса по самым глухим тропинкам, где не встречали не только человека, но даже никакого домашнего животного; при всем том ни одно преступ-

ное желание не закрадывалось в мое сердце; я любил эту милую девушку и уважал ее, как нечто святое. Наконец она, как будто очнувшись от забытья, вдруг сказала: «Ах, боже мой! я с вами и время позабыла! Матушка, верно, уж воротилась: она поехала версты за три, на винокурню. Беда мне, если она хватится меня и не отыщет в саду!» С сими словами она полетела, как птичка, вдоль по тропинке и скоро исчезла у меня из глаз, унеся с собой минутные мои радости.

Я остался опять один бродить по роще; поздно пришел я домой, грустнее и мрачнее прежнего. Это свидание с Настусей еще более открыло мне, какого сокровища я лишался; и от чего? от обоюдного упрямства наших родителей! Я сел в углу на лавке, сложа руки и опустя голову; не жаловался и даже не вздыхал; но, конечно, заметно было, что я страдал внутренне, ибо добрая мать моя смотрела на меня с тоскливым участием. Отец мой также давно уже заметил, что я очень похудел, что я, вопреки прежней моей хорошей привычке, почти ничего не ел, не принимался за книги и был молчалив, как рыба. В этот раз, видно, сильнее прежнего пробудилось в нем родительское сострадание, и он приступил ко мне с расспросами:

— Здоров ли ты, Демид?

— Здоров,— отвечал я угрюмо и отрывисто.

— Что с тобою делается? — спросил он немного построже.

— Ничего! — отвечал я по-прежнему.

— Ты не пьешь и не ешь, бродишь по целым дням бог знает где, молчишь, как немой. Ты совсем одичал, не показываешься добрым людям и смотришь каким-то юродивым... Ума не приложу, какая дурь забралась к тебе в голову!

Я молчал.

— Уж не молодая ли Опариевна сушит и крутит тебя? — продолжал он.— Ох, мне эти любовные бредни! Сколько — и по Священному писанию видно — мудрых и сильных мужей сбивалось от них с прямого пути. Довольно напомнить о мудрейших: Давиде и Соломоне, и о сильнейшем из смертных — Сампсоне. А все еще эти поучительные примеры не устрашают безрассудных человеков: имеют уши — и не слышат!

Я все молчал.

— Ну, быть так,— сказал отец мой после некоторой расстановки, смягчив свой голос.— Если только этим можно тебя спасти от сумасшествия или от сухотки, то благослови тебя господь, и вот тебе мое родительское благословение: иди в гражданскую службу.

Я вскочил, как пробужденный из мертвых, и бросился целовать руку моему отцу. Мать тоже не вытерпела: слезы полились у нее из глаз, и она хотела упасть в ноги перед своим мужем; но он удержал ее.

— Полно, полно! — сказал он растрогавшись,— благодарите бога, а меня благодарить не за что. Я и теперь соглашаюсь скрепя сердце; мне очень не хотелось бы, чтобы сын мой пошел иным путем, нежели его отец и дед. Да уж, видно, на то власть божия, ее же не преидешь.

Я совершенно ожил: стал и весел, и говорлив, начал и есть и пить по-прежнему. Можно было подумать, что сама природа требовала восстановления сил, как будто бы по выздоровлении тела от тяжкой болезни. Одного только я добивался: увидеться с Настусей еще однажды перед отъездом и для того по-прежнему посещал я рощу за садом Матроны Якимовны. Об учебных книгах мне уже не для чего было думать; их заменил у меня Овидий старинного издания, без начала и конца, купленный мною на рынке за 30 копеек, да том эклог

Сумарокова, не знаю какими судьбами закравшийся в число книг моего отца.

На третий день я увиделся с Настусей, объявил ей о счастливой перемене моих обстоятельств и просил ее подождать до тех пор, пока офицерский чин даст мне право на получение руки ее. Матушка моя приняла на себя уведомить о том же Матрону Якимовну и взять с нее слово. Дела мои шли по желанию: надежда меня оживляла. Весело простился я с Настусей, и через несколько дней я и отец мой были уже на пути в губернский город.

Не трудно было отцу Калистрату склонить преосвященнейшего владыку на увольнение меня из духовного звания; еще легче было ему определить меня в статскую службу. Священник, покровительствуемый архиереем, протодиаконом и другими значительными духовными лицами, предъявляющий сверх того предварительные и ясные свидетельства своей благодарности, не мог быть отвергнутым просителем в таком деле, которое обещало и впредь гг. членам присутствия вышереченные знаки благодарности. Меня определили копеистом в уголовную палату. Я переменил образ жизни, приемы и привычки и повел себя соответственно новому моему званию, по пословице: *с волками вой.*

Прошел год, и другой уже приближался к концу. Уже я, в силу доказательств об отлично-ревностной и деятельной моей службе — доказательств, подкреплявшихся убедительными доводами из Крохалиевки,— подписывался твердою и размашистою рукою: «Канцелярист Демид Сластёна». В это время постигло меня жестокое несчастие: почтенный родитель мой, отец Калистрат, скончался от сильной простуды, приключившейся ему, когда он в ненастную осеннюю погоду провожал одного из прихожан своих в место вечного

успокоения. Мать моя звала меня к себе; я отправился в Крохалиевку, оплакал свежую могилу отца и сделал нужные распоряжения. Как мы жили в собственном доме и не на церковной земле, то я оставил мать мою полною госпожою дома и всей нашей собственности и, сдав преемнику отца моего все то, чем покойник владел по своему званию, продал все лишнее из пожитков отцовских: его богатые рясы, трости, шубы и т. п., оставя себе на память только любимые его вещи. Устроив все таким образом, я возвратился в город и продолжал мою однообразную, но не вовсе бесполезную службу.

Протянулся еще год. Я был повышен чином, и губернский регистратор Демид Калистратович Сластёна мог уже представиться Матроне Якимовне Опариихе как достойный жених ее дочери. Я выпросил себе отпуск на довольно долгий срок — и отправился в Крохалиевку.

Лучше бы я не приезжал сюда!.. Я чуть не попал на свадьбу Настасьи Петровны с каким-то майором и застал добрую мать мою тяжко больною с печали. От нее узнал я следующие подробности.

Майор этот, уволенный (и едва ли по своей доброй воле) от службы, мимоездом очутился в Крохалиевке и почти с бою сам себе отвел квартиру в доме Матроны Якимовны. Молодец он был, видно, не промах: тотчас явился к хозяйке дома с извинениями, из которых самое убедительное было то, что он не привык останавливаться в крестьянских избах. Одаренный беглым языком и свойством ни от чего не краснеть и не запинаться, он умел пустить пыль в глаза Матроне Якимовне: уверил ее, что ему обещано место городничего в нашем городе и что у него есть хорошее поместье в одной из великороссийских губерний; но как сие по-

следнее заверение должно было согласить с довольно поношенным его платьем и скудным дорожным скарбом, то он прибавил, что поместье находится под опекой, по причине тяжбы за оное с богатыми и алчными родственниками. Вероятно, он умел всем сим рассказам придать вид правдоподобия и убеждения, ибо Матрона Якимовна с первого раза поверила ему на слово. Майор был среднего роста, сухощав и прихрамывал одной ногою, о которой говорил, что прострелена была на сражении. Бог весть, правда ли это, ибо формулярного списка его я не видал. Густые черные бакенбарды с проседью закрывали пол-лица у этого отставного витязя и придавали ему вид богатырский, даже отчасти суровый. Он сказывал, что ему тридцать пять лет от рождения; но, судя по виду, можно бы смело придать ему еще десяток. Матрона Якимовна, которая во сне и наяву бредила людьми чи́новными, была от него без памяти и уговорила его отдохнуть с дороги в ее доме, сколько ему угодно. Майор только того и ждал. Мало-помалу он вкрался в дружбу и доверие к хозяйке своей и даже, говорят,— не знаю, правда ли, нет ли — вскружил голову Настасье Петровне. Сердце женское есть такая мудреная загадка, которой никогда не мог я разгадать. Короче, не прошло и двух недель, как уже в Крохалиевке заговорили о свадьбе. Еще неделя — и уж ее отпировали.

Мать моя, при первой вести об этой страшной помолвке, пошла к Матроне Якимовне и напомнила ей данное мне честное слово. «А разве я не сдержала его? — отвечала г-жа Оприиха насмешливо.— Сами вы видели, что я не выдавала моей дочери замуж, пока сын ваш не вышел в чины. Теперь же, как он стал человеком чиновным, так и для ней пришел час воли божьей. Милости просим на свадьбу!» — Что было от-

вечать на сей лукавый изворот? Матушка моя возвратилась домой с тем же, с чем и пошла, наплакалась досыта и даже слегла в постелю. Я застал ее в припадках томительной горячки.

Болезнь ее усиливалась со дня на день, и мне уже было не до Матроны Якимовны и не до Настуси... На двенадцатый день по приезде моем я шел за гробом доброй, чадолюбивой моей матушки.

С той поры Крохалиевка мне опостылела. Я продал отцовскую землю, мельницу и пасеку; оставил только, как бы по темному предчувствию, дом с садом и поместил в нем старого ослепшего дьячка с хилою его женою, на память по моем отце, которому сей дьячок слишком тридцать лет сопутствовал на разные церковные службы и мирские требы. Этой же бедной чете предоставил я в полное распоряжение и сад мой, чтоб она могла чем-нибудь пропитаться на старости.

Вырученными за движимое и недвижимое имущество покойного моего отца и собранными с должников его деньгами мог я безбедно дотянуть свой век, хотя бы он продлился еще втрое; ибо я привык к умеренности и порядку. Изо всех моих должников одна только Матрона Якимовна была несостоятельной плательщицею: она откладывала уплату под разными предлогами, переписывала с году на год заемные письма и во всяком случае старалась что-нибудь да выторговать. Я мало об этом заботился, препоручил все хлопоты с нею бывшему свату моему Савелию Дементьевичу; но избегал случая встретиться с нею или с Настасьей Петровной и уехал в город, не видавшись ни с кем из них.

Через год, увидевшись с одним из панков крохалиевских, я узнал от него, что в доме Матроны Якимовны шел, как говорится, дым коромыслом. Майор, как на поверку вышло, не имел не только поместья, но

ни души, даже собственной, и сверх того был картежник и гуляка; он самовольно завладел имением своей тещи, проматывал его, дрался с нею и мучил бедную жену свою. Несчастная, как мне сказывали, страшно похудела, и глаза ее ни днем, ни ночью не осушались от слез.

Спустя еще около трех лет получил я письмо такого содержания:

«Матушка моя умерла от бедности и горя, муж мой лежит в параличе. Я и трое жалких детей моих нуждаемся в самом необходимом. Нас за долги выгоняют из дому. Сделайте милость, не взыскивайте с меня хотя до времени денег, должных вам покойницею матушкой, и пр... Настасья Прытицкая».

Сердце мое стеснилось от жалости и грустных воспоминаний. Я возвратил Настасье Петровне заемное письмо ее матери с распискою в получении долга; приложил к нему еще, что бог мне внушил послать ей; и как в это время ни старого дьячка, ни жены его не было уже на свете, то я укрепил дом мой в Крохалиевке и с садом за Настасьей Петровной и детьми ее. Там она по смерти мужа живет и теперь, хоть не богато, но безбедно. Бог печется о сирых и страждущих!

Что до меня, я уже больше не думал о женитьбе. Первые мечты моего счастия рассеялись, как дым; и теперь я коротаю век мой старым, безродным бобылем. Хожу на службу, держусь во всей строгости моей присяги, равнодушно сношу ропот сочленов моих, разнящихся со мною во мнениях, вечером читаю, что бог послал, и от скуки веду свои записки. Не знаю, займут ли они вас, милостивые государи, столько же, как меня; во всяком случае, желаю вам удовольствия.

(Этот отрывок из записок Демида Калистратовича Сластёны был мне доставлен одним из его земляков. Мне, как издателю оных, оставалось только присовокупить к ним примечания для объяснения некоторых малороссийских слов, обычаев и т. п.).

О. Сомов.

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) *Писанки.* Яйца, расписанные разноцветными узорами с помощью медной трубочки и растопленного воску. Некоторые из сих писанок заслуживают внимание живостью красок и разнообразием узоров, в коих малороссийские художницы нередко отличаются тем своенравием воображения, которому столько мы удивляемся, смотря на коймы индийских шалей.

(2) *Олией* в Малороссии называется конопляное и всякое постное масло.

(3) *Панас* — Афанасий.

(4) Т. е. священнику. *Пан-отец* по-малороссийски значит то же, что по-русски *государь-батюшка.*

(5) В Малороссии знатоки бывают весьма разборчивы при покупке волов, наблюдая условные стати их, подобно как охотники до лошадей разбирают стати верховых и упряжных скакунов, рысаков и пр.

(6) *Рацея* — испорченное латинское речение: oratio — слово или проповедь.

(7) *Весельем* в Малороссии называется свадьба.

(8) *Бурса* — дом, где живут семинаристы.

(9) *La vergette* — некогда существовавшая мужская прическа головы; волосы, напереди остриженные очень низко.

(10) Т. е. как муха в кипятке. Стих из *Малороссийской Энеиды* Котляревского.

(11) *Чумаки*, т. е. погонщики волов в Малороссии, если увидят на большой дороге пешехода, порядочно одетого, то в насмешку предлагают ему купить *батог,* т. е. кнут, коим погоняют они волов своих.

(12) Т. е. палочное доказательство.
(13) В Малороссии часто прозвание жены, дочери и сына изменяется таким образом в окончании. Если, например, как здесь, муж прозывается *Опарий,* то жену его называют *Опариха,* сына *Опариенко*, а дочь *Опариевна.*
(14) *Мережки* — городки или узоры.
(15) Мелкопоместные малороссийские паны старого века нередко щеголяют странностью выражений, желая тем отличиться от простого народа. Выражение: *соорудите нам чаю* сочинитель сам слышал из уст одной пожилой паньи.
(16) Лет за двадцать перед сим во многих домах деревенских панков подавали чай с шафраном. Может быть, обыкновение сие и теперь еще существует в некоторых степных деревушках.



ДУМА

посвящается памяти графа Каподистриа

(Отрывок)

Два удела предоставило небо великим людям. Иногда предприимчивый человек, одаренный могучею душою, выступая на поприще мира, не встречает преград, как будто люди и судьба согласовались исполнять его предначертания. Переходя от одного подвига к другому, он наконец достигает своей цели и в глубокой старости, увенчанный славою, в последний раз вспоминая свою жизнь, мирно засыпает под благословением человечества.

Другой, в самой колыбели, как Алкид [1], борется со змиею. Покинутый нá произвол судьбы, как челн в океане, он от самой юности враждует с возмужалым злодейством. Колоссальные думы кажутся безумством ничтожной толпе, пока, оправданные событиями, они не предстанут изумленному миру, как хребет гор Кавказских...

В дали, увенчан облаками,
Стоит гранитный великан.
Белеют горы над горами,
Как будто с ярыми волнами
Застыл мгновенно Океан.
Среди громов, в порфире черной,
Гигантов ряд нерукотворный
Едва сквозит издалека;
Так предстают в дали просторной
Давно минувшие века.

А там, над темною громадой,
Как среброрунных козлищ стадо,
Блуждают тихо облака;
И неподвижно, на вершине,—
Как бы семья орлиных гнезд —
Стоит твердыня на твердыне
В соседстве лучезарных звезд.

Не так ли и великий человек из дивных подвигов громоздит себе лестницу к бессмертию? Неутомимый, он страшится смерти единственно потому, что не все совершил. Торопливо он разрушает преграды; но судьба, низложенная им, как баснословный исполин, с каждым прикосновением к земле возникает с новою силою! Наконец, уступая его мужеству и гранитному терпению, она, завистница, поражает зодчего в то мгновение, когда торжественно он положил последний камень на вершину своего здания... Запоздалый гром, обрушенный на главу великого, есть первый отгул его славы; а молния — факел, озаривший колосс, воздвигнутый им для пользы человечества. Мыслящий наблюдатель, склоняя колена у гроба великого и с умилением воспоминая его подвиги, вопрошает: «Если бы он почил тихим сном глубокой старости, то чего бы недоставало к его земному величию?» — Смерти за истину.

Мир праху твоему, доблестный муж! в холодный век эгоизма ты бескорыстно любил свое отечество. Любуясь величием твоей души, я часто думал: не обломок ли древнего мира занесла к нам благодетельная буря?

Твой гроб достоин струн и слез!
Твое прекрасно назначенье.
Ты скорбной Греции принес
Привет России: возрожденье.

Нет! Добродетель — не мечта.
В наш век, расчетливый и злобный,
Я укажу твой холм надгробный,—
И онемеет клевета.

Оплачем смерть незабвенного гражданина; подобно древнему вождю израильтян, он видел обетованную родину в туманном отдалении. Но сбудутся надежды мужа советов, если Греция исполнит его завещание. В наши дни могила не поглощает великого человека, и думы его переходят к преемникам, как родовое наследство.

Трилунный.
‹Д. Ю. Струйский›



ВАЖНЫЙ СПОР

(Аллегория)

Над одним из холмов Алаунских, около полуночи, в первых числах апреля 17... года свирепствовала весенняя непогода. Ветер бушевал и, с свистом переменяя направление, налетал на вершину, срывал глыбы рыхлого снега и разносил их далеко по воздуху. Вообще казалось, что силы неприятельские нападают на какую-нибудь высоту и домогаются взять ее приступом. Запоздалые поселяне, скользя на длинных санях своих по снежным пустыням, с суеверною робостию прислушивались к вою и перекатам бури и говорили между собой: «Это *весна спорит с зимою*». Люди более образованные, вслушиваясь внимательно и посматривая сквозь оконные стекла освещенных зал, приписывали этот шум и тревогу спору стихий. Но смиренный житель ближнего монастыря, инок, в полном смысле слова имевший *простое око,* видел далее и более. Пред ним разоблачился верх горы; он усмотрел *двух* духов — *черного* и *белого.* Шум, разносившийся в холодном воздухе, происходил от их жаркого спора. Предметом их прения было *домашнее занятие* людей. Нравы изменялись. То, что веселило дедов, не нравилось внукам. Новое поколение пошло совсем *новым* путем. Рассуждали, *чем* занять его? Много прекрасного предлагал *белый.* Он говорил о пользе набожности, о сладости молитвы, о возвышенных умственных занятиях, о *порядке,* радующем душу, о тихих семейных беседах, о высоком удовольствии бдеть, трудиться при свете

ночной лампады, для блага общества, для счастия своей страны. Но *черный* хохотал (и этот хохот повторялся эхом гор, как буря!) и кощунствовал, ни на что не соглашаясь. В свою очередь, и *черный* предлагал все, что льстило крови и плоти, что составляло вожделение очей. что ласкало чувства, нравилось чувственности. *Белый* с негодованием отвергал его предложения, вредные для тела, губительные для души. Наконец они остановились на *одном*; согласились ли, нет ли, но спор прекратился. «Пусть так! — сказал *белый,*— только бы *не делали чего-нибудь худшего*!» — «Пусть так! — сказал *черный,*— только бы не делали чего-нибудь *лучшего*!» С тех пор, хотя время было то же, но провождать его стали *иначе.* Уже колокол предрассветный не возбуждал от сна к молитве утренней. Хотя в темноте ночи, сквозь решетчатые окна храмов, сияло извнутри золотистое освещение, но им никто не любовался, оно никого не манило. Трепетно-зыблющийся свет восковой свечи уединенно мелькал на золотом окладе иконы, на жемчугах и камнях самоцветных, принесенных *некогда* набожностию в дань ликам святых. Священник один, с небольшим причетом, совершал моление: голос его звучал в пустых сводах, благословение улетало на воздух или принимаемо было малою дружиною убогих калек и престарелых прихожан. Где же счастливцы мира? где жители палат? где люди высшего разряда? Им некогда *молиться*! Они трудились долго за полночь, и справедливость требует, чтобы им дозволили почивать до полудня. Не стало *разговора,* исчезли усладительные собеседования, почти перестали читать книги. Когда им разговаривать? когда беседовать? когда читать? Что же они делают? Рассматривают ли природу, состав земли, течение звезд; или занимаются изысканием средств к устроению человеческого общества, к

мирному и безбедному житию; или изыскивают способы удобрения полей, украшения сел; или заботятся об улучшении упадающей нравственности? Нет! нет! нет! Сидя, часто день и ночь, за зелеными четвероугольниками, они преважно раздают друг другу лоскутки наклеенной бумаги, размалеванные условными знаками и фигурами, и более ничего не делают, ни о чем не размышляют. Одним словом: они *играют, играют, играют*! Время бежит; жизнь проходит... Они сидят, как заколдованные, как восковые истуканы, ничего не требуют, ничем не трогаются; по временам только обнаруживается в них жизнь вспышками зависти, косыми взглядами и немногими отрывистыми, жесткими словами; потом опять все замолкают; молча друг друга проводят, *берут взятки,* и все играют, играют, играют. И часто, если верить прозорливцам, в этих живых, иолумеханических обществах видят *белого* и *черного* духа. Первый, глядя уныло, как безумно теряют, как спокойно губят драгоценнейшее благо — *время,* говорит, почти сквозь слезы: «Как же быть! только не делали бы чего-нибудь *хуже*!» Другой, весело потирая свои косматые, черные руки, с презрительною насмешкою повторяет: «Пусть так! только не делали бы чего-нибудь *лучше*!»

Федор Глинка.



Отрывок из романа:
ЛЕОН, ИЛИ ИДЕАЛИЗМ

Примечание. Человек тогда только знакомится с самим собою, когда начинает изучать внутреннюю жизнь духа. Поприще его учения неизмеримо и предметы оного бесконечно разнообразны, особенно для наблюдателя людей современных нам, которые рвутся весь мир воссоздать в груди своей и силою единой свежей мысли обновить дряхлеющую жизнь поколений. Но любопытна и каждая черта, изнесенная из глубины сердца, из сей лаборатории страстей, где человек является или жертвою самого себя, или создателем своей судьбы. Дело состоит только в том, чтобы силою искусства запечатлеть черту сию в живом образе, который творит свободная фантазия. Успел ли в этом сколько-нибудь автор предлагаемого здесь отрывка, покажет целое создание романа, который уже близок к окончанию. Здесь представляется на суд просвещенных читателей род пролога к оному. Автору хотелось в нем выказать брожение идей, предшествовавшее тому убеждению и тем понятиям о жизни и вещах, от которых зависела вся последующая судьба его героя. В самом деле, нужно было показать постепенное развитие сил его души, чтобы изъяснить то, что столь нередко кажется неизъяснимым в поступках людей единственно потому, что мы смотрим на сии последние как на какие-нибудь отрывки жизни, не примечая свя-

зи, сопрягающей оные с коренными стихиями их способностей и воспитанием. А. Н.

(Леон рассказывает историю своей юности одному из действующих лиц романа.)

Я был воспитываем до семнадцатилетнего возраста в доме родителей моих так, как обыкновенно воспитывают русского дворянина, т. е. меня учили всему почти для одного вида, немного заботясь о том, в какой связи состоит то, что я буду знать, с тем, что предназначено мне делать. Разумеется, что воспитание мое было вверено французу. Он был честный человек и желал мне искренне добра. Но, по совести сказать, чему существенному научил он меня за три тысячи рублей, которые исправно каждый год платил ему мой отец? Что такое науки, думал сей последний, и почему бы французу или немцу не знать их всех разом? Они на этом стоят, это их дело. Таким образом, мой наставник волею или неволею должен был объявить себя в нашем уезде представителем всей европейской образованности, кроме знания России, чего от него не требовалось, и вследствие сего начал учить меня французскому языку, математике, физике, истории, географии, рисовальному искусству, верховой езде, танцеванью, даже музыке и чуть-чуть не русской словесности. Само собою разумеется, что тот, кому судьба велела жить на свете, хочет жить во что бы то ни стало и немного думает о том, как согласуются в сем случае требования его нужд с требованиями или предрассудками света.

Впрочем, я был странный ребенок, и план моего воспитания должен был созреть в уме не столь поверхностном, каков был у моего наставника. Я родился в эпоху так называемых новых идей. У меня не было недостатка в способностях; но сии способности выка-

зывались весьма неровно. Иногда я постигал с необыкновенною быстротою предметы, превышавшие мой возраст, и в то же время не мог сделать порядочно простого арифметического деления с проверкою. Нельзя было сказать, к чему преимущественно склонялся ум мой: это была блудящая комета, влекшая свой зловещий хвост по путям неопределенным, тонущим, так сказать, в пучине бесконечного мироздания. Учитель мой нередко приходил в величайшее затруднение. Случалось, что в начале нашей ученой беседы я ободрял его благоразумным вопросом или дельным замечанием; ему казалось уже, что он овладел неукротимым моим духом, что настала наконец пора развернуть предо мною, вопреки его единоземцу Фонтенелю [1], полную горсть с истинами. Но в то самое время какая-то тихая задумчивость постепенно увлекала меня в иной мир, голос моего наставника терялся в пустыне; и вот несколько систем, созданий моего собственного блуждающего ума, являлось там, где хотел он утвердить знамя науки. Мне повествовали подвиги какого-нибудь знаменитого мужа; вместо того чтобы стараться изучить его характер и судьбу, я сам становился героем истории, думал о том, как бы я поступил в обстоятельствах, подобных его, как прославил бы свое имя, с каким торжеством прижали бы меня к сердцу мои родители и моя старая нянюшка, которая любила меня с нежностию и часто признавалась мне с суеверным умилением, что ей виделись дивные сны о моем будущем жребии. Нередко видали меня погруженным по целым часам в глубокую задумчивость, в удалении от моих товарищей. В это время я был занят важным делом: я был Цезарь или Сократ, то присутствовал в римском сенате, то учил народ под афинским портиком. Воображение мое до того разгаралось, что я даже

в моих играх по целым дням бывал обезьяною какого-нибудь знаменитого исторического лица. У меня не было любимого героя: я готов был подражать и завидовать каждому из них, лишь бы он не был похож на кого-либо из тех людей, которых я ежедневно видел в доме отца моего, или за обедом, или за карточным столом и которых поступки и разговоры, не знаю почему, возбуждали во мне какое-то темное чувство прискорбия и досады. Впрочем, чрезвычайная скрытность облекала покровом все мои затеи о величии; о них менее всего знал тот, кому надлежало бы искусно добывать все тайны из моего сердца, т. е. мой наставник; до чего, без сомнения, он и достиг бы, если бы умел приобрести мою доверенность.

Такими же странностями отличалось мое поведение. По временам в меня вселялся какой-то демон детского своевольничества; я отваживался на самые отчаянные шалости, но вообще не любил игр. Большею частию я бывал робок и задумчив. Никто лучше меня не ладил с моими товарищами; нередко даже я осуждал себя на весьма важные пожертвования в их пользу; но зато уже никто из них не должен был помышлять о первенстве предо мною в каком бы то ни было отношении.

Одним словом, я был загадкою для моих родителей и воспитателя. Сей последний нередко со всем французским энтузиазмом провозглашал меня гением и чрез минуту со слезами жаловался моему отцу, что я глупейшее существо изо всех известных ему детей в России и Франции. Иногда он готов был признать меня ангелом кротости; но вдруг какая-нибудь неожиданная шалость снова заграждала ему уста или отверзала их для того, чтобы обещать мне в будущем ни более, ни менее как начальство над шайкою разбойников, во

вкусе Шиллерова Моора. Я совершенно был равнодушен и к его увещаниям и к укоризнам. «Леон! — сказал он мне однажды в порыве искренности и природного своего добродушия,— у тебя сердце столь нежное, воображение и воля столь неукротимые, что ты будешь несчастнейшее существо на сем свете». Вот, может быть, единственная истина, которую я от него услышал. Зато я так ее помню и доселе, что она как будто приросла к моей совести или как будто раскаленным железом выжжена была на моем сердце. Жаль только, что это было случайное явление в системе моего воспитания, недостатки коего, может быть, послужили главною виною и моих заблуждений и моих злосчастий.

В самом деле, в то время как моя пламенная фантазия заменяла мне ум, а сей последний коснел в дремоте бездействия или, не направляемый искусною рукою, не руководимый по пути строгих начал, привыкал действовать только в пользу чувства и мечты,— в то самое время сердце мое дышало нежнейшими ощущениями. Я не мог видеть ни одной слезы другого без горького соучастия, не мог смотреть на нищего без того, чтобы не представить себе в самой живой картине его страданий. Рано начала снедать сердце мое томительная жажда любви. Романы, которые по неосторожности моих воспитателей часто попадались в мои руки, раскрыли еще более сие чувствование, пожигая огонь насильственно, раздразнивая потребность сердца картинами блаженства, которое не могло быть его уделом. На четырнадцатом году моего возраста в каждой уездной барышне, готовившейся быть достойною супругою какого-нибудь заседателя земского суда, я видел уже существо идеальное, которому недоставало только приключений, чтобы занять почетное место между Аль-

фонсинами, геройствующими семнадцатилетними девицами (*) и им подобными вздорными созданиями ума, изучавшего человека в гостиных по прическе и покрою кафтана.

Такой-то хаос кипел в моей юной душе, предвозвещая мне в будущем дни бурные... Отец мой мало наблюдал за моим поведением; его жизнь была не иное что, как длинное сцепление обедов и ужинов, хозяйственных распоряжений об отсылке процентов в банк, маленьких тяжеб и мировых сделок с соседями и возгласов о поправлении крестьян, трудных временах и торговом деспотизме англичан. Он имел обыкновение откладывать заботу о моем воспитании до какой-либо вопиющей шалости; тогда являлся он предо мною в грозном виде судии, сек меня, не щадя руки своей, и снова возвращался к обыкновенным своим занятиям, почитая родительские свои обязанности уже исполненными. Но мать моя была женщина, исполненная чистой любви ко всему прекрасному и доброму, и я сам любил ее с нежностию. Она получила воспитание в одном из тех заведений столицы, где юное поколение россиянок, согретое, оживотворенное материнскою любовию венценосного ангела-хранителя России, императрицы Марии, в тишине расцветало, чтобы тонкою образованностию ума, вкуса и сердца со временем смягчить суровые души мужей-скифов. К несчастию, мать моя совершенно зависела от моего дяди, который с поприща политической своей жизни принес в свою деревню несколько почтенных ран, глубокое невежество и страсть решать все дела военные и не военные по правилам солдатской дисциплины. Он дрался с своими крестьянами, как с французами и турками,

* Романы г-жи Жанлис [2].

или еще храбрее, и говаривал, что решительные меры нужны к тому, чтобы в деревне его процветало земледелие. К сему-то почтенному воину-агроному должна была ехать мать моя по окончании своего воспитания в Петербурге. Там вступила она в круг людей, совершенно чуждых ей душою. Бедное сердце ее, привыкшее питаться чувствованиями, какие свойственны человеческой природе, возвышенной образованием, там встретилось с сердцами, покрытыми корою первобытной дикости, в которые не проникал еще луч рассвета нравственного, которые растрогались и бились сильнее только в тревогах житейских нужд или волнении страстей грубых. Оно ныло долго в тоске тяжкого одиночества. Часто (как мне пересказывали после) из уездной гостиной, где по обыкновению милые девицы скромно молчали, а молодые любезные чиновники с важностию курили табак, она украдкою удалялась в свою комнату, вынимала из портфеля свои учебные тетради, письма своих подруг, и тихие, безнадежные слезы текли из очей ее на сии бренные памятники лучшего жребия, невозвратно для ней погибшего. Так проходили дни ее, недели, месяцы; прошел год. Соседние дамы чуждались ее; дядя был с нею суров и холоден; все почитали ее существом, как бы пришедшим из другого мира. Бедная мать моя должна была мало-помалу уступить их нравам и привычкам. Еще порою сердце ее замирало в тоске, предчувствуя решительный, близкий час разлуки с его чистейшими мечтами и надеждами. Наконец оно покорилось закону необходимости, и светлые дни юности ее, расцветавшие в сиянии нравственной красоты, затмились в ее памяти, как лазурь небесная с своими лучезарными звездами затмевается в тучах бурных осенних ночей... Ни по желанию, ни по принуждению, влекомая силою обстоя-

тельств, она отдала наконец руку свою с сердцем, угасшим без любви, человеку, который сделался отцом моим.

Со мной она была нежна и снисходительна. Но ее кроткое, почти робкое сердце не способно было овладеть мятежными стихиями души моей, чтобы дать ей вид благоустроенный...

Наконец мне наступил семнадцатый год, и отец мой начал положительно думать о моей судьбе. Все предположения его останавливались, однако ж, на одном, т. е. мне надобно получить чин, и чем скорее, тем лучше. Он вспомнил, что в некоторых городах империи есть места, где не только дается вдруг несколько чинов без службы, но и право на высшие почести в государстве. Таким образом, решено было послать меня в университет. Когда отец мой объявил моей матери о сем намерении, то она одобрила его и прибавила, что в университете, кроме чинов, я могу приобрести еще какие-нибудь познания. Да, отвечал он, и это не лишнее. Размышляя теперь об ответе сем, я нахожу его весьма замечательным. Аристократы-предки наши говаривали: мой сын дворянин, к чему ему науки? Они не ведут ни к почестям, ни к богатству. Отцы верили уже, что познания могут к чему-нибудь пригодиться на поприще гражданской жизни. Наконец, в новом поколении зреет, кажется, убеждение, что раб невежества не достоин быть членом великого народа. Это три эпохи, означающие постепенное шествие людей от варварства к полуварварству и от сего последнего к полному развитию нравственных сил.

Я приехал в столицу и вступил в университет. Домашнее учение, как читатель видел из предыдущего, вовсе не приготовило меня к высшим наукам. Я вне-

запно как бы бурею был брошен из тихой сени фантастических грез в пучину глубокой умственной жизни,— и это была одна из важнейших ошибок моего воспитания. Уже в душе моей боролись стихии высшего нравственного существования. Но в борьбе сей единому случаю предоставлено было решить их жребий. Сердце мое, так сказать, уединенно дышало в груди моей чувствованиями века, чуждое тех мелких страстей, которые в юноше прообразуют уже будущего раба общественного формалитета, ржавую пружину в механизме жизни. Нередко среди бродящих мечтаний в глубине души моей проглядывала темная, неопределенная мысль о чем-то великом. Мир представлялся мне обширною арендою; там, в таинственном сумраке веков, облеченные грозным величием, боролись предо мною со жребием и толпою герои истины и чести. Мне становилось душно и тесно в малой моей сфере, и я давал клятву самому себе рано или поздно вторгнуться в сей священный круг избранных чад судьбы. Все, что говорили, что делали вокруг меня другие, казалось мне не стоющим повторения. Меня снедала томительная, жгучая жажда нравственной деятельности. Я не понял бы того, кто сказал бы мне простодушно обыкновенным языком света: «Твой отец имеет связи, он может доставить тебе успехи в обществе и проч.» Не такого рода успехи нужны мне были. Какой-то важный, торжественный голос из глубины души моей взывал ко мне: «Загляни сюда: здесь есть силы крепче гранита, могущественнее волн океана; только опираясь на них, ты можешь действовать с тем властительным влиянием на вещи и людей, которое принадлежит единому року и мысли человеческой, выработанной, закаленной, как сталь, в пламени возвышенной души». Я, од-

нако ж, не сознавал в себе никакого определенного назначения. Я презирал все, что могло бы сделать меня членом касты или цеха: мне хотелось просто жить полною жизнию ума и сердца — мне хотелось быть человеком: ибо мысль о достоинстве человеческого рода, как ясная звезда любви на утреннем небосклоне, сияла лучшим блеском среди юношеских моих помыслов. Да не подумают, что такой образ чувствований и мыслей заранее полагал основание той мрачной надменности, за которую упрекали меня впоследствии: нет! я чувствовал, что не имел на то никакого права: спустя уже долгое время, я узнал, что одними подвигами и терпением приобретается честь существовать среди людей по-человечески. Кто умел спасти жизнь ума и сердца от сего нравственного гроба, в который беспрестанно влекут ее нужды и мелкие страсти света, тому, как победителю, прилично восчувствовать в сознании силы достоинство свое.

Однажды рассказывал я некоторые из сих обстоятельств моей жизни дальнему моему родственнику, который, сгорая желанием стать в ряд высокоблагородных мужей, решился в сорок лет выдержать чиновнический экзамен и начать читать и мыслить. Впрочем, опытность открыла ему некоторый доступ к человеческому сердцу, и с помощью припасенных к экзамену сведений он мог иногда судить даже о том, что было вне канцелярского порядка вещей. «Удивительное дело,— сказал он мне,— как могли бродить такие мысли в голове юноши, взросшего в степи среди людей, которые живут сердцем только тогда, когда ссорятся друг с другом, а умом, когда сочиняют векселя, свадебные записи и духовные завещания. Ты видишь, что я сам стал на лучшую дорогу только по силе указа 1809 го-

да». Мне кажется, дядюшка, отвечал я, что нужно быть только человеком, чтобы рано или поздно восчувствовать свое предназначение. Истина зачинается во глубине души так же, как новый житель земли в утробе матери. Зародыш спит, но в нем сосредоточен весь будущий муж, может быть Сократ, Катон; может быть Минин, Пожарский, Ляпунов[3]. Пусть любовь пробудит органически сие семя: в одно мгновение тончайшие нити оного превращаются в фибры, едва приметная точка делается сердцем, оно бьется и катит по юному организму тончайшие, светлые струи жизни. Он уже не то, что выражают словом: *есть,* и надобно свершиться многому прежде, нежели судьба произнесет сему юному созданию приговор прежнего небытия. Так вечная любовь, предназначившая человека для жизни высшей, оплодотворяет в нем зерно разума, который, зрея мало-помалу, расцветает в тысячах разнообразнейших идей и познаний. Таинственно, но верно совершается в новом поколении нравственный переворот, являются новые понятия и нужды, закипают новые страсти. Здесь не надобно постороннего содействия; мать в самом зародыше плода передает ему жизнь века; в первом поцелуе, коим она встречает его на земле, невидимо, неощущаемо взливается на него святое благословение: быть человеком, по закону истины и красоты, и чести сей не отдавать никому.

«Хотя ты изъясняешься несколько высокопарно,— сказал мне мой дядя,— однако ж мне кажется, что несколько понимаю тебя: с тех пор, как побывал в моих руках Corpus juris civilis[4], я сам обогатился новыми понятиями. Они уже сделали во мне важный переворот: ибо вразумили меня, что для исполнения законов нужно иметь смысл; и как бы ни старались уверить

меня в противном тем или другим образом, я все-таки остаюсь при своем. Вот, мне кажется, также зерно, из коего могут со временем вырасти хорошие исполнители мудрых предначертаний начальства».

— Так,— отвечал я,— мы успехами образованности искупим ужас народов, и потомство в юном Властителе ветхих племен не увидит варвара!..

Обратимся к моей повести. Школа не образует людей; но в таком положении, в каком я находился, она могла иметь важное влияние на развитие и направление моего духа. Для меня уже много значило ощущение той свободы, коею пользуется ум в области высших познаний. Я в первый раз восчувствовал нравственную мою самостоятельность; с какою-то величавою гордостию беседовал я с философами о судьбе человека, с правителями о судьбе царств, взвешивал дела цезарей, наслаждаясь вместе высшею умственною жизнию и правом изрекать суд мой о том, что касалось до моего рода: мне приятно было сознавать, что и я член оного, участвующий в великом совещании о его благе. Мир великий, беспредельный открылся предо мною: мир человеческих понятий и страстей. Сладко было сердцу моему странствовать среди сих созданий нравственной силы: никогда природа, со всем своим разнообразием, не очаровывала меня столько, сколько судьба человечества с его падением и возвышением, с его злополучиями и славою. Вздох тоскующего сердца, улыбка красоты, светлая мысль мудреца — все, все из глубины веков текло к моей душе, воплощалось, так сказать, в моем бытии, делалось моею собственностию, моею жизнию. Мне принадлежало все богатство человечества, приобретенное ценою подвигов, слез и крови; двадцать веков воспрянули из гроба и в игривых,

фантастических видениях посились в моем пламенном духе. Я бросил все постороннее, я загляделся на сие величественное зрелище и не думал изучать того, что принадлежало лично до моей судьбы. Опыт скоро доказал мне, что и я действующее лицо в сей великой драме и что роль, которую я заучивал с такою жадностию, была выбрана худо, без соблюдения всех классических единств, которых не должно отвергать безусловно.

А. Никитенко.



НЕЧТО О НАУКЕ

(Отрывок из письма к графине N.)

Вы желали, графиня, чтоб я представил вам свои понятия о науке как можно короче и простее, не предполагая, не допуская ничего. Ваша воля для меня закон. Спешу отвечать на вопрос, но не за успех.

Человек, *при первом взгляде* на себя, замечает, что состоит из двух частей, *как бы* совершенно различных, но тесно, наподобие артерии с веною (*), соединенных между собою, и называет их телом и душою.

Телом, которое растет, питается, изнемогает, зависит от внешних влияний, он принадлежит к природе, так сказать чужой, и в известной степени, хотя и посвоему, повинуется ее законам.

Душа с ее способностями отличается от прочих творений и составляет его собственный мир.

Из чего же состоит жизнь человека, в отношении к сей последней ее части, то есть как существа, одаренного душою?

Из чувствований, мыслей, действий. Всякое мгновение в его жизни непременно наполняется каким-нибудь из сих трех занятий, кроме которых ничего и придумать нельзя. Человек дышит посредством их, без них не существует; они так же необходимы для его ду-

---

* Артериею кровь идет от сердца, а веною опять в него возвращается: жилы сии так тесно между собою соединены, что нельзя означить предела, где оканчивается артерия и начинается вена.

шевных органов, как пища, питие для телесных; глаз видит, ухо слышит; уму должно знать, сердцу чувствовать, воле действовать.

Если это так, то отсюда математически выводится: тот больше живет, кто больше чувствует, узнает и действует; и, наоборот, тот меньше живет, кто меньше чувствует, знает, действует.

Теперь вопрос: должен ли жить человек? Разумеется, должен. Он есть, следовательно, он не может не быть. Следовательно, должен быть. Он родился, следовательно, должен жить.

Как же он должен жить: больше или меньше?

Разумеется, как можно больше, то есть как можно больше чувствовать, узнавать, действовать. Это понятие заключается в самом понятии о жизни; если она должна быть и вместе может увеличиваться, то и должна быть увеличиваема; ибо, уменьшая жизнь, мы стали бы нарочно мертвить ее, приближать к ничтожеству, а это противоречит сказанному выше.

К такому заключению приводит нас и аналогия — все в природе стремится увеличивать свою жизнь: наши чувства изощряются; самые душевные способности, по одному естественному порядку, без особливых пособий и препятствий, возрастают в течение времени. В том же убеждает нас и внутреннее чувство, которое, будучи свободно, не заглушено, побуждает нас к деятельности.

Итак, мы должны содействовать природе и увеличивать свою жизнь, упражнять и, следовательно, изощрять, то есть совершенствовать свои способности, чувствовать, знать и действовать, составляющие и условие и меру нашего бытия.

Но знания бывают верные и ложные, действия добрые и злые, чувства прекрасные и дурные. Которые

же из них должны составлять жизнь нашу? которые из них должны мы увеличивать?

Ответ заключается в самом предложении: ложное знание, очевидно, есть то же, что незнание; а жизни потребно знание, то есть верное. Злое в действиях и дурное в чувствованиях есть то же, что ложь в знаниях.

Итак, истина есть идеал наших знаний, изящное — идеал наших чувствований, добродетель — идеал наших действий.

К истине должен стремиться наш ум.

К добродетели — воля.

К изящному — сердце.

Истина, добро и красота — три обители, в которых должен жить человек, три главные цели в его жизни, три звезды, которые освещают, согревают, руководствуют его на долгом, тернистом пути, пока не погрузится он в недра Всесодержащего.

Я повторю теперь главные слова, мною произнесенные, чтобы вы себе яснее представили их последовательность и связь: ум, сердце и воля; знание, чувствование и действие; истина, красота и добродетель. С умом, сердцем и волею человек выходит в путь на свое делание, на пути он думает, чувствует, действует, чтоб достигнуть наконец истины, красоты и добродетели.

Но не помогает ли что-нибудь человеку достигнуть сей высокой цели?

Я могу произнести теперь еще три соответственные слова, которые вы, надеюсь, предугадываете: наука, искусство и общество.

Наука принимает в свою область знания и сообщает им действительность, прочность, плодовитость.

Искусство возводит чувствование в высочайшую степень и представляет его во внешних формах.

В обществе искушается воля.

Наука, искусство и общество — три великие пособия или лучше — три мира наслаждений для человека в здешней жизни.

Первое место между ними занимает наука. Искусство и общество входят в число ее предметов, дополняются ею, в ней получают свое значение и делаются собственностию человека. Знание присутствует в действиях и чувствованиях.

Обратимся теперь к науке, определим яснее понятие об ней и отношепие ее к жизни.

Предмет науки составляет все, что есть и что происходит. Ученые собирают знания, отделяют ложные от истинных, приводят в строгий порядок и составляют из них живое целое, которое во всех точках, так сказать, должно соответствовать своему подлиннику — природе, отражать ясно и полно, как в зеркале, должно быть написано под его глагол. Усилия представить науку в таком виде составляют жизнь наук. Чем ближе наука к такому виду, тем она удовлетворительнее, совершеннее. Совершенная наука есть изображение природы в уме, *перевод природы на ум.* Посредством такой пауки, когда ум отразит в себе весь мир со всеми его явлениями, вся видимая и невидимая природа взойдет на высшую степень своего бытия. Человек совокупится крепкими, неразрывными узами с миром, усвоит его себе в некотором смысле, составит с ним одно. Он как будто раскинет свои органы повсюду и будет жить тогда в мире, как в своем теле, созерцая великие законы божии и утопая в вечной Премудрости. Вот высокое назначение науки в

жизни! Вот высокое назначение человека со стороны знания!

И были люди, которые приближались к сему блаженному состоянию, которые с горы Хорива видели землю обетованную [1]. Указывая на Пюютопа, который чувствовал, кажется, движение верхней звезды, не дославшей еще света до нас; на Гердера, который пережил все времена и веки и испытал на себе счастие и несчастие народов, перешедших по земле; на Линнея [2], в котором царство прозябаемых как будто достигло до своего самопознания; на Добровского [3], который в языке славянском, со всеми его тончайшими звукоизменениями, слышал небесную гармонию [4].

Из сказанного, я надеюсь, вы видите, что не всякое знание, хотя б и истинное, должно входить в состав нашей жизни и науки: все, что относится, например, до мелких условных, частных отношений, что происходит почти случайно и остается без следствия, не заслуживает нашего внимания и предоставляется тем язычникам, которые, не понимая высшего человеческого назначения, погрязают в пучине животных сует.

Теперь, объяснив, по возможности, назначение наук вообще, обратимся к их разделению.

Предмет их составляет, сказали мы, весь мир со всеми его явлениями.

Ум человеческий может присваивать его себе только постепенно, по частям, во времени, соразмерно с своим собственным развитием, и вот причина, почему необходимо разделение наук. Это разделение и все подразделения не могут быть произвольными, а должны основываться на существенном различии частей, составляющих природу.

Все явления в мире относятся к природе и человеку. Природа, человек, или ум, другими словами: духов-

ное и вещественное, идеальное и реальное, свободное и необходимое, субъективное и объективное, предлежащее и подлежащее, внутреннее и внешнее, глагол и имя, душа и тело, я и не я — два предмета наук.

Природою занимается Естественная История.

Человеком — человеческая история, или просто История. Обе в обширном смысле взятые.

Естественная и человеческая История обнимают все науки и составляют сами одно огромное целое.

Сие целое начинается Естественною Историею, которая должна представить постепенное развитие природы во всех ее произведениях и действиях и заключить рождением человека, повторяющего и дополняющего собою всю природу и названного потому венцом божия творения, малым миром, микрокосмом.

Отсюда начинается человеческая История, которая и проч. [5]

Погодин.



ЖИВОЙ В ОБИТЕЛИ БЛАЖЕНСТВА ВЕЧНОГО

(Мечта)

Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизне давней,
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда, мечтой воспламепенный,
Он видит свет, другим неоткровепный.

Баратынский [1].

Как я люблю тихие минуты созерцания, когда я один, сам с собою, перебираю в памяти моей минувшее или испытующею мечтою стараюсь проникнуть в будущее. Сколько знакомых образов, приятных или противных, оживляется тогда в моих мыслях. Сколько картин, полных или до половины задернутых завесой времени либо безвестности, рисуется тогда в моем воображении!

Недавно, сидя за письменным моим столом, в безмолвный час ночи, вместо отдыха от работы предался я сей игре воспоминапий и мечтаний с тем же увлечением и с тою же полнотою удовольствия, с какими дети смотрят па фантасмагорические представления. Воспоминание за воспоминанием, черты за чертами, радостное и суровое, ожидания и надежды слились наконец пред мысленными моими взорами в неясные, неопределенные образы; мутились в моей памяти; улетали, являлись снова в половинных, мелькающих видах... и сие состояние между сном и бодрствованием

было переходом к видениям более ясным, более ощутительным для ока души. Я видел себя в стране, которой чудесного света не в силах изобразить перо земное. То не был свет ясного, прелестного дня в лучшую пору года; то не было зарево великолепного освещения; еще менее был то яркий, ослепительный блеск алмазов и других камней драгоценных: но тихое, незыблемое, невечереющее сияние, проникавшее все мое существо благотворною своею теплотою. Казалось, от него все предметы заимствовали необыкновенную светлость и прозрачность; листы дерев, зелень трав и краски цветов теплились и наполнялись какою-то живительною, влажною лучезарностью. Существа, со мной однородные, сквозили сим дивным светом, как бы созданные из чистейшего и тончайшего эфира. В некоторых из них я узнавал черты знакомые; но какая разность! какое торжественное совершенство в сравнении с живыми!.. Нет! кисть Рафаэля должна б была изобразить их на ткани воздушной, семью нетленными красками радуги! И *он* был там, *он,* чьи струны еще не замолкли на земле от сотрясения небесного, чья милая улыбка еще не изгладилась во взорах нашей памяти. И многих, многих встретил я из тех, кого любил и оплакал. Все взглянули на меня приветливо — и отвратили взоры; *он* своим добрым, ласковым взором указал мне на землю, указал мне на пламенник погребальный, угасающий под свежими цветами. Все, что сулит благо на земле, отразилось в его улыбке, чистом зеркале души небесной. Но здесь кончилось наше свидание: *он* как бы в нерешимости, как бы сожалея меня оставил.

Я вздохнул и отошел в сторону, как бы отчужденный. Сладостно мне было видеть сих жителей страны надзвездной, их кроткую улыбку, их ясную, неруши-

мую радость, их тихие, приятные ощущения, обнажавшиеся на благолепных лицах и в светлых взорах; их восторг и умиление, неподдельные и нескрываемые: ибо здесь не тщатся возбудить зависть или укрыться от зависти; все наделены равным блаженством и все радуются блаженству друг друга. Сладостно мне было видеть чистоту их взаимных душевных излияний в стране, где нет уже доверия лица к лицу, ибо нет тайны ни для кого. Здесь полная, неизъятная откровенность, здесь помыслы явны, наслаждения общи и улыбка — нередко хитрое орудие земных — здесь чиста, как сами небеса.

Но мне грустно, мне тяжко было видеть, что я был там чужой — даже родству и дружбе. Все смотрели на меня с благоволением и доброжелательством; но не показывали пи радости свидания после долгой разлуки, ни того сближения, которое существовало между ними. Земной человек претил во мне размыслить, что родство и дружба суть отношения нашей юдоли; но там, в сем великом, общем *целом,* все суть члены единого семейства или, лучше сказать, все составляют *одно,* покидая на пределах нашего мира понятие о *моем* и *твоем.*

С какою радостию я, телесный, узнавал любимых мною! с какою радостию видел, что они *там;* что все они блаженствуют, все любят друг друга и сливаются в общей любви к Единому Вечному! И опять пробуждалось во мне то, что на языке земном называем мы страстями. «Для чего же я не причастен их радости? — думал я,— для чего не хотят они уделить и мне своего блаженства? Или зависть доступна и жителям здешних селений? Или не хотят они, чтобы чужой мог наслаждаться всею полнотою тех благ, кои суждены им в удел?»

Тогда *он* снова явился мне. *Он* не говорил мне ни слова; но смотрел на меня с участием и благодушием, и взор его пробуждал во мне самопознание. «Так! — нашептывал мне внутренний голос души,— ты недостоин быть причастником их блаженства. Земная твоя оболочка отчуждает тебя от небесных. Только очищенный страданиями и смертию может здесь вполне наслаждаться; но страсти, желания и побуждения мира юдольного полагают непреоборимую преграду между тобою и блаженством вечным, неизменным и неотъемлемым. Оно есть высшее наслаждение *духовное,* которое недоступно и даже непостижимо существу, связанному узами телесными...» И многое, многое говорил мне внутренний голос, возникавший во мне от его обаятельного взора с тем дивным сочувствием, каковое мы, земные, приписываем свойству животного магнетизма. Казалось, от одного луча *его* глаз, от одной струи света, лившейся из них в мою душу, рождались во мне новые понятия, новые ощущения. Я как будто бы очищался его чистотою, но все еще не мог вознестись духом за пределы, положенные между *жизнию земною* и *жизнию небесною...*

Сердце мое стеснилось от сознания моей бренной бедности и несовершенства. Я заплакал горькими слезами; тяжкий стон вырвался из моей груди... В это время земной голос низвел меня из селений горних. Мечта моя пресеклась — я пробудился!

О. Сомов.



ПОЭЗИЯ

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ БАРОНА ДЕЛЬВИГА

(Сии пять стихотворений отысканы вместе с несколькими другими, доныне не изданными, в бумагах незабвенного поэта. Читатели увидят в них новые доказательства, сколь талант его был разнообразен. Из помещенных здесь пяти пьес элегия *К Морфею* сочинена была еще до 1824 года; *сонет* к Российскому флоту, написанный г Ревеле 1827, до самой кончины поэта был тайною даже для друзей его. Две *русские песни* — из коих одна не окончена — хранились в портфеле сочинителя более двух лет: он все еще хотел отделать их окончательно. *Отрывок* заключает в себе хор духов из драмы, в которой барон Дельвиг хотел дать полное развитие свободной фантазии. План сей драмы был уже набросан, и вместе с оным уцелело несколько хоров, по большей части недоконченных.)

К МОРФЕЮ

Увы! ты изменил мне,
Нескромный друг, Морфей!
Один ты был свидетель
Моих сокрытых чувств,
И вздохов одиноких
И тайных сердца дум.
Зачем же, как предатель,
В видении ночном
Святую тайну сердца
Безмолвно ты открыл?

Зачем, меня явивши
Красавице в мечтах,
Безмолвными устами
Принудил все сказать?
О! будь же, бог жестокий,
Будь боле справедлив:
Открой и мне взаимно,
Хотя в одной мечте,
О тайных чувствах сердца,
Сокрытых для меня.
О! дай мне образ милый
Хоть в призраке узреть;
И пылкими устами
Прильнуть к ее руке...
Когда увижу розы
На девственном челе,
Когда услышу трепет
Стыдливой красоты,
Довольно — и, счастливец,
Я богу сей мечты
И жертвы благовонны,
И пурпурные маки
С Авророй принесу.





Гравированный титульный лист альманаха.
Рисовал В. Лангер. Гравировал И. Ческий.

СОНЕТ

Что вдали блеснуло и дымится?
Что за гром раздался по заливу?
Подо мной конь вздрогнул, поднял гриву.
Звонко ржет, грызет узду, бодрится
Снова блеск... гром, грянув, долго длится,
Отданный прибрежному отзыву...
Зевс ли то, гремя, летит на ниву,
И она, роскошная, плодится?

Нет, то флот. Вот выплыли ветрилы,
Притекли громада за громадой;
Наш Орел над русскою армадой
Распростер блистательные крилы
И гласит: «С кем испытать мне силы?
Кто дерзнет и станет мне преградой?»

Ревель,
в июле 1827



РУССКИЕ ПЕСНИ

1

И я выйду ль на крылечко,
    На крылечко погулять,
И я стану ль у колечка
    О любезном горевать;
Как у этого ль колечка
    Он впоследние стоял
И печальное словечко
    Мне, прощаючись, сказал:
За турецкой за границей,
    В басурманской стороне
По тебе лишь, по девице,
    Слезы лить досталось мне...
. . . .
. . . .

2

Как за реченькой слободушка стоит,
По слободке той дороженька бежит,
Путь-дорожка широка, да не длинна,
Разбегается в две стороны она:
Как налево на кладбище к мертвецам,
А направо — к закавказским молодцам,
Грустно было провожать мне, молодой,
Двух родимых и по той, и по другой:
Обручальника по левой проводя,
С плачем матерью-землей покрыла я;
А налетный друг уехал по другой,
На прощанье мне кивнувши головой.

ОТРЫВОК

«На теплых крыльях летней тьмы
Чрез запах роз промчались мы
И по лучам ночных светил
Тебя спустили средь могил.
Гляди смелей: кладбище здесь;
Плакучих ив печальный лес
Над урной мраморной шумит,
Вблизи ее седой гранит
Едва виднеет меж цветов;
Кругом кресты, и без крестов
Лишь две могилы...»

Барон Дельвиг



ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ,

по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы

Была пора: питомец русской славы,
И я вослед Державину певал
Фелицы мощь, погром и стон Варшавы,—
Рекла и бысть: и Польши трон упал.

Пришла пора: увянул, стал безгласен,
И лиру нрах в углу моем покрыл;
Но прочь *свое*! мой вечер тих и ясен:
Победы звук меня одушевил.

Взыграй же, дух! Жуковский, дай мне руку!
Пускай с певцом воскликнет патриот:
Хвала и честь Екатерины внуку!
С ним русский лавр цвесть будет в род и род.

И. Дмитриев.



ОТВЕТ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТРИЕВУ

Нет, не прошла, певец наш вечноюный,
Твоя пора: твой гений бодр и свеж;
Ты пробудил давно молчавши струны
И звуки нас пленили те ж.

Нет! никогда ничтожный прах забвенья
Твоим струнам коснуться не дерзнет:
Невидимо их гений вдохновенья,
Всегда крылатый, стережет.

Державина струнам родные, пели
Они дела тех чудных прошлых лет.
Когда везде мы битвами гремели
И битвам тем дивился свет.

Ты нам воспел: «как буйные титаны,
Смутившие Астреи нашей дни,
Ее орлом низринуты, попраны,
В прах! в прах! рекла... и где они?» [1]

И ныне то ж, певец двух поколений,
Под сединой ты третьему поешь,
И нам, твоих питомцам вдохновений,
В час славы руку подаешь.

Я помню дни: магически мечтою
Был для меня тогда расписан свет;
Тогда, явясь, сорвал передо мною,
Покров с поэзии поэт

С задумчивым, безмолвным умиленьем
Твой голос я подслушивал тогда,
И вопрошал судьбу мою с волненьем:
«Наступит ли и мне чреда?»

О! в эти дни, как райское виденье,
Был с нами он, теперь уж не земной,
Он для меня живое Провиденье,
Он с юности товарищ твой!

О! как при нем все сердце разгоралось:
Как он для нас всю землю украшал!
В младенческой душе его, казалось,
Небесный ангел обитал!..

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын;
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: Карамзин [2].

А ты цвети, певец, наш вдохновитель,
Младый душой под снегом старых дней;
И долго будь нам в старости учитель,
Как был во младости своей.

В. Жуковский.



ПАСТУШИЙ РОГ В ПЕТЕРБУРГЕ

Здесь, в столице пышной скуки,
Слышу утренней порой
Идиллические звуки,
Говорящие со мной,—
Будто старые мы други,
В детстве слившие сердца,
Будто юные супруги
После брачного венца!

Милый отзыв деревенский,
Звук сердечной простоты!
Ты природы голос женский,
Эхо первой чистоты;
Вестник счастия и мира,
Ты любви волшебный клик;
Ты несозданного мира
Существующий язык!

Рог пастуший! для поэта,
Нежных полного страстей,
Ты дороже блеска света
И петропольских затей!
И он радуется детски,
Что он прост еще душой,
Что досель обычай светский
Не сгубил любви прямой.

Да вовек он не погубит
Нежной детскости моей!
Ум мечтает, сердце любит
Средь бесчувственных людей;
Духа творческая воля

Здесь в столице, средь забот,
Сени рощиц, воздух поля
И пастушек создает.

Так мечтой, свободно-думной,
Лишь созданиям своим
Я живу в тревоге шумной,
Молчаливый нелюдим.
Весь мой чудный мир со мною;
Жизнью собственной дыша,
Первобытной чистотою
Свято действует душа.

Рог пастуший, рог пастуший!
Молви: внемлют ли тебе
Эти суетные души —
Недруг каждая себе?
Нет! растленные развратом,
Дети неги и тщеты,
Спят еще, в быту богатом,
Сном сердечной пустоты!

Некий тайный глас, быть может,
Укоризной прозвуча,
Совесть спящую встревожит
В бедном сердце богача,—
И природы клик утешный
Иногда раздастся там,
Как в столице многогрешной
Рог пастуший по утрам.

Барон Розен.



МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

СЦЕНА I

(*Комната*)

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,

Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк [1]
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки [2].
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую.— О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

(*Входит Моцарт.*)

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя нежданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,
Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку... Нет, мой друг Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире
Разыгрывал voi che sapete [3]. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрыпача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

(*Входит слепой старик со скрыпкой.*)

Из Моцарта нам что-нибудь!

(*Старик играет арию из Дон-Жуана;*
Моцарт хохочет.)

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет.
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери [4].
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же, вот тебе,
Пей за мое здоровье.

(*Старик уходит.*)

Ты, Сальери,
Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

Сальери

Что ты мне припес?

Моцарт

Нет — так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцарт

(*за фортепиано.*)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(*Играет.*)

Сальери

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрыпача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(*Уходит.*)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,

Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незанные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден [5] сотворит
Великое — и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был нрав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — нора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

(*Особая комната в трактире; фортепиано.*)
Моцарт и Сальери (*за столом.*)

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.
Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся [6]. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад; мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь,
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» [7] сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил? [8]

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?

(*Бросает яд в стакан Моцарта.*)

Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(*Пьет.*)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

Моцарт

(*бросает салфетку на стол.*)

Довольно, сыт я.

(*Идет к фортепиано.*)

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.

(*Играет.*)

Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(*Один.*)

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство

Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти [9]? или это сказка
Тупой бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

А. Пушкин.

26 октября
1830.



УВЯДАЮЩАЯ РОЗА

Мой друг! погляди,
Как роза младая
Грустит, увядая
На нежной груди...
Таинственной силой,
Цветок! оживи
И снова живи
Для радости милой,
Для сладкой любви!
Но роза не внемлет...
На звуки мои
Главы не подъемлет
И с негою дремлет
На лоне любви.
«О юноша! — мнится,
Сквозь легкого сна
Мне веет она,—
Пусть рок мой свершится!
Но я не грущу:
Я думою страстной
У лона прекрасной
Могилы ищу!»

М. Деларю.



ТЬМА

(*Подражание Байрону*)

Непостижимый, грозный сон!
Души пророческой виденья...
Казалось — светлый небосклон
Облекся в ризу погребенья;
По небу черный шар блуждал:
То было солнце без сиянья;
Померкший месяц трепетал,
И бурь подземных завыванья
Беду пророчили земле;
С печатью смерти на челе
Земля над бездною висела,
И как мертвец охолодела!..
Одно лишь время, как всегда,
Мгновенье каждое считало,
И рокового выжидало...
Земля, огонь, эфир, вода
Срывали тесные границы;
Несносен им тот хладный мир,
Который мрачен, беден, сир,
Напрасно ждал лучей денницы!..
Смирились люди! В сей-то миг
Священный ужас их проник;
Вражда погасла их недаром!..
Нет солнца!.. скрылись небеса!..
Взамен его зажгли леса —
И озарился мир пожаром!
Увидя яркий столп огня,
Со всех сторон жильцы стекались,

Корысть и злобу отженя,
В слезах, как братья, обнимались!..
Но столп огня бледнел, мерцал,
И с треском таял лес дремучий,
И пепел хладный и сыпучий
Обширным саваном лежал...
Лишь кой-где искры трепетали,
И лица робкие людей
Во тьме печально озаряли
Последней жизнию лучей...
И к бледным искрам все теснились,
За них, как за себя, страшились...
Те искры в пепле гробовом,
Чуть теплясь, спорили со тьмою
И безнадежностью земною!..
Во мраке рыскали кругом
Зверей испуганных станицы,
Витали без приюта птицы.
Звериный вой, шипенье змей,
И птичий зык, и вопль людей
Под мрачным небом раздавались:
Но мрачным небом отвергались!
Надежды не было нигде!..
Земные рушены жилища,
Иссохли воды, сгнила пища,
И голод вынудил к вражде!
И снова люди разделились!
На друга друг, на брата брат,
Как звери дикие летят —
Уста их кровью обагрились;
Но месть их сердца не влекла —
Как пламя жажда их сожгла,
И кровь им воду заменила!
И стонет бедный мир во мгле:

Не отдают добыч земле,
Кто жив — тот мертвецу могила!
В них голод Веру истребил!
Разрыли жадными руками
Святыню грозную могил,
И спорят с наглыми зверями
О бедном оставе костей,
Добыче тленья и червей!..
Но вот молчанье гробовое
Царит над робкою землей...
Уже из всех живых людей
Остались в мире только двое!
И что ж? нигде добычи нет!
Никто в пустыне не живет
И мир безмолвствует, как мертвый.
Вот два последние жильца
Сошлись — и кто-то будет жертвой?
Кто будет гробом мертвеца?
И кто, оставшись сиротою
Под тяжким грузом общих бед,
С тоски и голода умрет?..
Сошлись!.. но громовым ударом
Разделены, упали в прах!
Земля охвачена пожаром,
Пожар и в небе и в морях!
Раздался плеск и хохот ада!
Князь тьмы в волнах огня предстал
И, торжествуя, озирал,
Как вихрем двигалась громада...
Но огнь потух... Вселенной нет...
Земных стихий замолкли битвы...
Но Кто-то вечностью живет!
Там — неприступный, мирный свет,
И благодарные молитвы!

Трилунный
⟨Д. Ю. Струйский⟩

ИРАН

(*Из Гафиза*)

Ликуй, Иран! твоя краса,
Как отблеск радуги огнистый!
Земля цветет — и небеса,
Как взоры Гурий, вечно — чисты!

Так возлюбил тебя Аллах,
Иран, жемчужина Востока,
И око мира, Падишах,
Сей лев Ислама, меч пророка! [1]

Твой воздух амброй растворен,
Им дышит лавр и мирт с алоем!
Здесь в розу соловей влюблен;
Гафиз любви томится зноем.

Л. Якубович.



АНФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

1.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

2.

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

3.

РИФМА

Эхо [1], бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.
Резвая дочь росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле рифмой зовется она.

4.

ТРУД

Миг вожделенный настал: окончен мой труд
многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик
ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

А. Пушкин.



ЗАМУЖНЕЙ ЕЛЕНЕ

Отдавшись сладостному плену,
Краса твоя живей блестит.
Увидя новых дней Елену,
Амур завидует Гимену
И пальчиком ему грозит.

М. Деларю.



ПРОКЛЯТИЕ

Когда двух лиц святой людской союз
Расторгнется при мне грозой проклятья —
Я трепещу, я плачу и молюсь,
Проклятого приняв в свои объятья!

Он, мнится мне, внезапно отрешен
От всех сердец, от места в жизни милой, —
И заживо он мертв и погребен,
И обдало его — исподней силой!..

Но, мнится мне, у сердца моего
Он под щитом святого состраданья;
И говорю: «Не бойся ничего —
Не слушает Всевышний проклинанья!

Мой друг, молись, когда виновен ты:
Все небеса вмещаются в моленье —
И Дух Святой с лазурной высоты
От грешника отвеет согрешенье!»

И говорю другому: Не играй
Орудием господним, как безумный!
Кто грешен сам, других не проклинай —
Лишь дьяволам угоден гнев твой шумный!

Не проклинай! доколе в гроб им слечь,
И проклятой и проклинатель тужит...
Проклятие — как древний Тирфинг-меч —
Губитель тех, кому орудьем служит [1].

Не проклинай! проклятье лютый яд,
Мятеж бесов! властительскую силу
Дает бесам и превращает в ад
Юдольный рай и мирную могилу.

Благослови ж проклятого сей час,
И братски с ним сливай уста и руки —
И ангелом отмолятся от вас
Проклятия таинственные муки!

Не лучше ль нам любить, благословлять?
Так не забудь в запальчивости шумной:
Единый бог лишь может проклинать,
А меж людей — единый лишь безумный!..

Барон Розен.



ВОЗРОЖДЕНИЕ

Среди степей стоит забытый храм,
В его стенах зефир пустынный веет;
Но вьется плющ по вековым столбам
И жизнию весенней зеленеет.
Так племена отжившие людей
С толпой веков отходят в мир забвенья,
И новые, с прекрасною зарей,
Над гробом их мужают поколенья.

Трилунный.
⟨Д. Ю. Струйский⟩



ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил.

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра [1] поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой [2] разъезжать,
Об отставке, об невесте,
О деревне помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

⟨А. С. Пушкин⟩



УБЕГАЮЩЕЙ КРАСАВИЦЕ

О! не беги так скоро от меня!
Смотри, бежит все вихрем под луною.
Бегут часы и день бежит от дня,
Бегут лета и юность с красотою.
Жизнь наша — миг: спеши его ловить,
Цветущие в ланитах розы вянут...
Лета уйдут... Кто знает? может быть,
И от тебя все также бегать станут.

⟨О. М. Сомов⟩



ЭХО

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

А. Пушкин.



ПСАЛОМ

Безверья тьмою омраченный,
Над адской бездной я стоял:
Мой дух, страстями утомленный,
Как путник в море занесенный,
В волнах сомнений утопал;
И божий мир грустнее степи
Казался гаснущим очам,
И тяжко дни мои, как цепи,
Влачились по моим пятам...

Я гибнул... гибнул без возврата!
Но Он, Отец Предвечный мой,
Питомцу буйного разврата
Простер луч милости святой;
Взыскал меня — и я со страхом
Предстал пред алтарем Его;
Главу мою посыпал прахом
И осужденья своего
Ждал сокрушенною душою...
И бог смирение узрел —
И веры пламенной струею
Оледенелый ум согрел;
Надеждой чистой и святою
Страдальца перси оживил,
И сердце, облитое кровью,
Омыл нетленною любовью
И к новой жизни воскресил;
Очам дал слезы умиленья

И лиру смолкшую мою
Проник глаголом вдохновенья,
Да жизни полные моленья
Ему во славу воспою...
И я пою... и с струн смятенных
Восходят звуки к небесам,
И Ангелы с небес склоненных
Внимают пламенным мольбам...

М. Деларю.



МУЗЫКА

Когда к органу прикоснется
Артиста верная рука
И звуков целый мир сольется,
Как полноводная река:
В моей груди опять волненье,
И радость — друг по старине,
И гений светлый — вдохновенье,
Доступны сумрачному мне.
И мнится мне: с пустынь эфира,
С надзвездной, горней вышины,
Нисходит в душу ангел мира,
Посол небесной стороны.
Играй, артист! земные руки
Облобызать поэт готов:
Они с небес низводят звуки —
Язык души, язык богов!

Л. Якубович.



ЯЗЫК ОЧЕЙ

Как много дум невнятных выражает
Один уныло-долгий взор;
И сей беззвучный разговор
Одно лишь сердце понимает!

Язык очей — язык красноречивый,
Внимай ему в час вдохновенный тот,
Когда поэт, мечтой своей счастливый,
Не говорит и не поет.

Н. Теплова.



СЕСТРЕ В АЛЬБОМ

Нам радости небесный гений
Является лишь в редкий час.
И люди милые для нас —
Как Оссиановские тени.

Но добрый путь тебе! Иди
До рубежа земных желаний
С толпой веселою мечтаний,
И все прекрасное найди.

С⟨ерафи⟩ма Т⟨епло⟩ва.



ПЕСНЯ

Он был поэт: беспечными глазами
Глядел на мир и миру был чужой;
Он сладостно беседовал с друзьями;
Он красоту боготворил душой;
Он воспевал счастливыми стихами
Харит, вино, и дружбу, и покой.

Блажен, кто знал разумное веселье!
Чья жизнь была свободна и чиста,
Кто с музами делил свое безделье,
Кому любви прохладные уста
Свевали с вежд недолгое похмелье,
И с ним его довольная мечта!

И в честь ему, на будущие лета
Не худо бы сей учредить обряд;
Порою звезд и месячного света
Мы сходимся в благоуханный сад,
И там поем любимый гимн поэта,
И до утра фиалы прозвенят!

Пусть видит мир, как наших поминают,
Как иногда свирели звук простой
Да скромный хмель и мирт переживают
Победный гром и памятник златой,
И многие уж заодно познают,
Что называть мирскою суетой.

Н. Языков.



ДЕЛИБАШ[1]

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к *лаве,*[2]
Пожалей свое житье;
Вмиг амипь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

А. Пушкин.



МОЛЬБА

В цветущей юности, жрец Феба и Киприды,
Я счастлив. Об одном молю вас, Аониды!
Храня убогую, знакомую вам сень,
От волн забвения мою спасите тень;
Чтоб, слушая мой стих веселый иль унылый,
Старик посетовал о жизни легкокрылой;
Чтоб в девах он родил желания и грусть;
Чтоб юноши его твердили наизусть;
Чтоб стих мой оставлял живые впечатленья
И грусти и любви, ума и вдохновенья.

Л. Якубович.



ТУРЕЦКАЯ ПЕСНЯ

Дона дальнего питомец,
Злобный, милый незнакомец!
Ах, зачем явился ты,
В блеске гордой красоты?..

Ах, зачем огнистым взором,
Нежным, пылким разговором
Ты смутил мой юный ум
И покой бесстрастных дум?

Сон мой тих бывал доселе
На девической постеле,
И в кругу младых подруг
Светел, ясен был мой дух.

И в тревоге неизвестной
Мне не снились: град чудесный,
Царь — любовь своих граждан,
Войско — гибель мусульман.

Дона дальнего питомец,
Злобный, милый незнакомец!
Ах, зачем явился ты
В блеске гордой красоты?

В. Щастный.



МИРРА

Поэма Овидия Назона

Quae (Myrrha) quamquam amisit veteres cum corpore sensus,
Flet tamen, et tepidae manant ex arbore guttae. Est honor et lakrymis: stillataque cortice Myrrha
Nomen herile tenet, nulloque tacebitur aevo.

Ovid. Nas. Metamorph. Myrrha, v. 189.

Нет! сам Эрот отречется от язвы, которою страждешь,
Мирра! Он защитит от клевет свой чистый светильник!
Знать, одна из трех сестер вдохновенных ужасом Фурий
Огнь в твоем сердце возжгла. Беззаконна к родителю злоба:
Но страсть Мирры к отцу беззаконней стократ! Отовсюду
Ищут вельможи руки твоей, юношей сонм благородный
Жаждет объятий твоих: избери из числа их супруга,
Мирра! Лишь да не будет в числе том единый из смертных!

Чувствует Мирра свой стыд и противится гибельной страсти.
«Чем увлекаюсь я? что замышляю? — так восклицает,—
Боги, рассудок, и ты, о святость дочернего долга!
Вас я на помощь зову: воспротивьтесь сему преступленью,
Если любовь преступленье! — Но разве законы природы

Страсть осуждают сию? Не по ним ли, без тяжких
различий,
Любят животные все? И конь и вол круторогий
Ищут подруг меж птенцами своими, родству не внимая.
Резвые козы любят козлят своих; вольные птицы
Движутся тою же страстью по тем же уставам
природы.
«О, как счастливы они свободою той! Человек лишь
Создал тиранства закон: завистливый, он отвергает
То, что природа дает. Но есть, говорят, поколенья,
В коих мать сына, отец свою дочь приемлют на ложе
Брака, и связи родства любовью сугубой крепятся.
О! для чего же, несчастная, я не родилась в стране той!
Место рожденья — вот Мирры вина... Но к чему эти
думы?
Прочь от меня, рой преступных надежд! Достоин
любви он,
Но как отец. Когда б не была я дочерью Кинира,
Кто б воспретил мне в объятьях его упиваться
любовью?
Но быв родителем мне, он моим быть не может.
На горе
Нам эта близость родства: без нее я была бы
счастлива!
Долг мне велит бежать от отца, бежать от отчизны,
Да не впаду в преступленье; любовь же нещадная
просит,
Жаждет взоров его, его ласк, его звуков волшебных,
Сладких, живых поцелуев... о большем помыслить
не смея!
Или ты смеешь желать еще боле, преступная дева?
Хочешь, поправши и чин и святость дочернего долга,
Быть соперницей матери в отчих объятьях Кинира?

Зваться сестрою детей своих, матерью собственных
братьев?
Или тебя не страшат эти дщери подземного ада,
Кои, с власами из змей, при блеске светочей адских
Ищут преступных сердец? — Пока еще злу не
причастна,
Сердце свое укроти! да не будет кровосмешеньем
Чистый устав естества осквернен. Но если бы даже
Ты и желала сего, то вспомни: Кинир благочестен.
О, если б этот же огнь пылал и в Кинировом сердце!»
Так говорила. Кинир, между тем, не решаясь,
кого бы
Мирре супругом избрать из среды женихов именитых,
Речь с ней о браке завел, называя ей всех поименно.
Мирра, безмолвно взором прильнув к родителя лику,
Вспыхнула вся, и горячей слезой оросились ланиты.
Нежный отец, считая то знаком стыдливости девства,
Дочь убеждал, поцелуями слезы ея осушая.
Лаской той оживясь: «Родитель! — Мирра сказала,—
Дай мне супруга такого, как ты». И Кинир,
не постигший
Тайны коварных тех слов, выхвалял свою дочь,
говоря ей:
«Вечно храни твою нежность ко мне!» — Но при этом
ответе
Дева склонилась челом, сознавая в душе преступленье...
Час полуночи настал, и смертных тревоги дневные
Смолкли. Лишь Мирра одна, не зная покоя, сгорает
Страсти мятежным огнем и волнуется яростной думой.
То без надежд, то снова с надеждой в груди:
и стыдится,
И вновь желает, не зная сама, что начать.—
Как секирой
Дуб-великан уязвленный, последнего ждущий удара,

Окрест паденьем грозит, не решая: куда устремиться;
Так и она, волнуясь страстями различными, всюду
Ищет спасения средств и колеблется в выборе опых.
Мирра! нет средства иного любовь укротить, кроме
смерти!
В смерти спасенья ищи!.. И выбор решен: уже Мирра,
Пояс свой взяв, прикрепляет его к потолку, и с
словами:
«Милый Кинир мой, прости и знай: от тебя умираю!»
Шею лилейную дева в ужасную петлю влагает...
Тщетно! лишь звуки отчаянных слов долетели до
слуха
Верной кормилицы, Мирры порог охранявшей, старуха
С ложа воспрянула, дверь отпахнула и, с ужасом видя
Смерти кровавый позор, огласила всю комнату воплем;
В перси язвила себя и, исторгнув Мирру из петли,
Пояс в куски растерзала. Потом, со слезами обнявши
Деву, молила открыть причину самоубийства.
Дева молчала и, в землю спустив недвижные очи,
Сердцем крушилась о том, что смерти вкусить не
успела.
Тщетно седую главу и безмлечную грудь обнажившн,
Молит кормилица, памятью детства ее заклинает
Тайну отчаянья злого открыть: на мольбы ее Мирра,
Взор отвратив, отвечает лишь стоном. И снова старуха
В верности клятву дает, говоря ей: «Дитя мое! Мирра!
Старость не все мои силы взяла, и служить я готова.
Если ты любишь — то есть у меня наговоры и травы;
Если извел кто тебя, лишь скажи — и порчу сведу я;
Если же гнев то богов — я склоню их на милость
мольбами!..
Что же скажу еще? Все при тебе: и богатство
и знатность;

В счастье, в довольстве ведут свою жизнь твоя мать
и отец твой».
Мирра, при слове отец, вздохнула глубоко и тяжко;
И хоть кормилица мыслью своей вполне не постигла
Вздоха того,— он ей ясно сказал, что прекрасная
любит.
В твердом намеренье тайну узнать, она вымоляет
Девы признанье и, к тощей груди ее привлекая,
В слабых объятиях жмет и так говорит ей: «Я вижу,
Вижу: ты любишь. Покинь же боязнь и поверь:
я готова
Страсти твоей помогать; твой отец никогда не узнает
Тайны твоей».— Но Мирра, из рук ее исторгаясь,
Прячет лицо, говоря: «Удались, пощади свою Мирру!
О, не требуй, молю, сознания тайны ужасной!
То, что ты жаждешь узнать от меня, не любовь —
злодеянье!»
Ужас старуху объял: склоняет пред девой колена;
Руки, от страха и лет дрожащие, к ней простирает;
Молит, ласкает и вместе грозит объявить всему свету
Виденный ею позор, когда не откроет ей тайны;
Снова потом обещает служить ее страсти сокрытой.
Дева подъемлет главу и потоками слез орошает
Перси кормилицы: хочет сознаться во всем, но устами
Слов не находит. Но вот, заслонив одеждою лик свой:
«Счастлива та,— говорит,— кто владеет сердцем
Кинира!»
Смолкла, рыдая... Кормилица внемлет, и с тайной
открытой
Трепет по членам ее охладелым стремится, и волос,
Инеем лет убеленный, подъемлется дыбом, упругий!
Все, что на ум лишь пришло, говорит она Мирре; весь
ужас
Страсти ее представляет; — но Мирра, сама признавая

Истину слов тех, желает иль смерти... иль отчего ложа...
«Мирра, живи! и владей...» — старуха сказала, не смея
Вымолвить слова: «отцом»,— и обет свой клятвой скрепила.
В дни те был праздник годичный Кереры, в который все жены
В белых, как снег, одеяньях богине плодов приносили
Первенцы собственных нив — венки из колосьев жемчужных.
В оные дни воспрещалось всем женам касаться мужчины
Целые девять ночей. Кинхренса, супруга Кинира,
Купно с другими на таинства те удалилась из дома.
Вот кормилица девы, застигнув однажды Кинира
В спальне, вином упоенного, в хитрых речах рассказала
Повесть истинной страсти под именем ложным; хвалила
Девы красу; на вопрос же Кинира: сколько лет деве?
Столько же, сколько и Мирре, сказала. Когда ж повелел он
Деву привесть, прибежала домой, восклицая: «Победа!
Радуйся, Мирра!» Но Мирра вполне не могла насладиться
Вестию той: предчувствия злые ей перси терзали.
Купно и радость и страх волновали тревожную душу!
    Полночь была, и Боот (*), с прямого пути уклоняясь,
Быстро стремил колесницу свою в средину Трионов (**):

* Боот — страж медведицы.
** Трионы — семь звезд большой медведицы.

Час преступленья настал! За дальний свод неба
скатилась
Цинтия; в мантию туч облеклись дрожащие звезды.
Ночь без светил! И первый, спрятавший лик свой,
Икар был,
С ним Эригона (***), за нежность к отцу вознесенная
к небу.
Мирра идет... Вот трижды споткнулась... вот трижды
по кровле
Филин, предвестник беды, простонал похоронную
песню...
Мирра идет... И полуночи мгла придает деве смелость;
Левой рукой за кормилицу держится, правою ищет
Мраком одетой стези... и желанный порог перед ними:
Двери отворены; входят в покой... Отчего же трепещут,
Мирра, колена твои? Отчего холодеет и стынет
Кровь в твоих жилах и в девственных персях дыханье
спирает?
Мирра чем ближе к злодейству, тем боле страшится
и, каясь
В дерзости, хочет назад возвратиться, сокрытая мглою.
Поздно! кормилица, взяв дрожащую деву, подводит
К ложу высокому и, повергая в объятья Кинира,
«Вот она, дева твоя»,— говорит, и чету съединяет...
Принял родитель рожденье свое на одр
преступленья:
Девства боязнь разогнал и, ласками деву склоняя,
Дочерью милой ее называл (знать, юности ради!).
Мирра имя отца изрекла к довершенью злодейства!
С отчего ложа нисшед, понесла беззаконная дева
Чревом преступным плод преступленья; — а с ночью
грядущей

*** Эригона по убиении Икара, отца ее, повесилась с отчаяния.

Снова ложе отца осквернилось дочерней любовью...
После же многих ночей, когда пожелал он увидеть
Деву и, факел свой взяв, осветил им покой: то увидел
И преступленье и дочь! — С сомкнутыми болью устами,
Меч из висящих ножен исхитил несчастный родитель.
Но, сокрытая тьмой, избежала преступная Мирра
Стали меча и, покинув отеческий терем, скиталась
В дальних странах пальмоносной Аравии, в весях Панхеян.
Девять уж крат обновила луна серебристые роги —
И утомленная Мирра в Сабейской земле отдыхала.
Плод преступленья ее тяготил. Без мыслей, без цели,
Смерти страшась, скучая бременем жизни поносной,
Мирра прибегла к богам: «О, если,— сказала,— меж вами
Есть божество, покаянью доступное,— каюсь: достойна
Я всякой казни... Но да собой не страшу уже боле
Царства живых и теней — изгоните меня из обоих!
Пусть, бытие изменив, откажусь я от жизни и смерти!»
Есть божество, покаянью доступное; Мирры моленья
Вняло оно: и вот уж земля, разверзаясь, приемлет
Ноги ея: из разбитых ногтей прорываются в почву
Корни кривые, опорой служа величавому стволу;
Кости, в ствол обратясь, сохраняют внутри свою мягкость;
Кровь превращается в сок, а длани в широкие ветви;
Персты — в тонкие прутья,— и кожа твердеет корою.
Вот уж кора обхватила плодом отягченное чрево,
Перси стянула и далее шла закрыть ее выю,—
Мирра медленья снести не могла и, судьбу упреждая,
Вниз подалась и прекрасным лицом опустилася в ствол свой...

Дева все прежние чувства утратила с телом,—
но слезы
Мирре остались: горячей росой они каплют из древа.
Капли тех слез драгоценны: и древо с слезящей
корою,
Имя от Мирры прияв, не утратит вовек своей славы.

С латинского Д. Казанский
⟨М. Д. Деларю⟩



ИМ

Много вашими устами
Пил я меду и вина.
Вдохновенными стихами
Пел я ваши имена!
И в удалом хоре звуков
Целы, радостны они
Будут жить у дальних внуков,
Прославляя наши дни:
Там на юношеском пире
Слово молвится подчас
В похвалу и гордой лире,
Веселившейся о вас,—
И при громе восклицаний
В честь увенчанных имен,
Сбереженных без прозваний
Умной людскостью времен,
Кстати вместе возгласится
Имя доброе мое,
И поэту наградится
Все подлунное житье.

Н. Языков.



К НЕЙ

Веселая юность твоя пронеслась,
Не зная ни бурь, ни ненастья,
И память прошедшего сладко слилась
С мечтами грядущего счастья.

Светло и беспечно взирая на мир,
Все лучшее ты угадала,
И жизнь пред тобою, как радостный пир,
И снято с небес покрывало!

Н. Теплова.



СВОДНЫЕ ДЕТИ

Басня

Вдова, соскучась быть вдовою
И видя, что у ней желтеет цвет лица,
Сединка кое-где блестит над головою,
Решилась выйти за вдовца,
И в мужнин дом ввела с собою
Полдюжины своих с покойником детей;
А так же, как у ней,
И от покойницы, не меньше многоплодной,
Остались у вдовца ребятки на руках.
Жена взялась смотреть за всей семьею сводной,
Как о своих, пещись о мужниных детях;
И говорит: «Они, бедняжки-сиротинки,
Невинные птенцы;
О детях могут ли пещися так отцы,
Как матери? Ах! мы на них и порошинки
Уж, верно, не дадим упасть.
И разве мужнино дитя жене чужое?
Когда в младенчестве постигла их напасть,
То бог велит об них пещися вдвое».
Что ж вышло? Через год
Заметил муж, что матушкины детки
Цветут, как розоны на ветке,
И зреют, как румяный плод;
Его же, будто испитые,
Такия тощие, худые,
Что вчуже жалко поглядеть;
То каково ж отцу смотреть?
Он, покачавши головою,

Вздохнул и вымолвил сквозь слез:
«Так с новою моей женою
Я в дом к себе пиявиц перевез!
И тем они толстеют,
Что кровь мою сосут».—
Сосед, случившись тут,
Шепнул отцу: «Где ж матери радеют
Так о детях чужих,
Как о своих?»

Кн⟨язь⟩ А. Шаховской.



НОЧЬ

Едва, едва
Шумит Нева,
В гранитных берегах волнуясь;
Лазурный свод
В зерцале вод
Блестит, красой своей любуясь.

На небеса
Небес краса
Луна торжественно восходит
И светлый взгляд
На Петроград
С любовью нежною наводит.

Вот облака,
Издалека
Клубяся длинной вереницей,
Озарены
Лучом луны,
Летят над пышною столицей.

Нева бежит,
Нева шумит,
Прохладный ветер с моря веет
И корабли
Чужой земли
В столице северной лелеет.

Чу! по воде
Рыбак в ладье
Плывет и песню напевает,
И над водой
В тиши ночной
Далеко песня пролетает...

Умолкнул он,
Из темных волн
В ладью вытаскивая сети,
И в мирный кров
Свой бедный лов
Везет быстрей при лунном свете.

Лазурный свод
В зерцале вод
Блестит, красой своей любуясь;
Едва, едва
Шумит Нева,
В гранитных берегах волнуясь.

А. Комаров.



НАДГРОБНАЯ ПЕСНЬ СЛАВЯНСКОГО ГУСЛЯРА (*)

Уж как пал снежок со темных небес,
А с густых ресниц слеза канула:
Не взойти снежку снова на̀ небо,
Не висеть слезе на ресницах тех.
У Днепра над горой, высоко̀й крутой,
Уж как стал терем новорубленный:
Ни дверей в терему, ни светла окна,
А уж терем крыт острой кровлею;
Кровля тяжкая на стенах лежит,
А хозяин в нем крепким сном заснул.
Как проснется он, то куда пойдет?
Как захочет он на свет выглянуть,
Пожелает гулять он по городу,—
Ан в глазах земля, и в ногах земля!
Как прозябнет он, где согреется?

---

* Гусляр — музыкант, играющий на гусле, инструмент, которого не должно смешивать с нашими гуслями: гусля похожа на балалайку, но об одной струне из конского волоса; играют на ней смычком.

У славян иллирийских гусляры то же, что бандуристы у нас в Малороссии: музыканты, певцы, часто сочинители народных баллад, ими распеваемых. Славнейшим из сих гусляров, как поэт, оставивший по себе многие балладические песни, был Яцинт Маглянович, умерший в недавних годах.

Помещаемый здесь перевод песни, замечательной своим содержанием, показывает, в каком близком сродстве находится поэзия славян, населяющих берега Средиземного моря, с народною поэзией соплеменников их русских. *Прим. изд.*

Сыро в тереме, а ни печи нет
И не высохнут стены хладные.
Ах, вы хладные стены тесные!
Для чего вы тут все в глазах у нас?..
Зима-бабушка! ты закрой уж их
Своей рухлою, белой шубою,
Ты, млада весна, зеленой фатой!

Княгиня Зинаида Волконская.



ХАНДРА

Песня

Сердца томная забота,
Безыменная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.

Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.

Ей предавшись с сладострастьем,
Благодарно помню я,
Что сироткой под ненастьем
Разрослась любовь моя.

Дочь туманного созвездья —
Красных дней и ей не знать,
Ни сочувствий, ни возмездья
Бесталанной не видать.

Дети тайны и смиренья,
Гости сердца моего,
Остаются без призренья
И не просят ничего.

Жертвы милого недуга,
Им знакомого давно,
Берегут они друг друга
И горюют заодно.

Их никто не приголубит,
Их ничто не исцелит...
Поглядишь: хандра все любит,
А любовь всегда хандрит.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



ТОСКА

(В. И. Бухариной[1]*)*

Не знаю я, кого, чего ищу,
Не разберу, чем мысли тайно полны;
Но что-то есть, о чем везде грущу,
Но снов, но слез, но дум, желаний волны
Текут, кипят в болезненной груди,
И цели я не вижу впереди.

Когда смотрю, как мчатся облака,
Гонимые невидимою силой,
Я трепещу, меня берет тоска
И мыслю я: прочь от земли постылой!
Зачем нельзя мне к облакам прильнуть
И с ними в даль лететь куда-нибудь?

Шумит ли ветр? Мне на ухо души
Он темные нашептывает речи
Про чудный край, где кто-то из глуши
Манит меня приветом тайной встречи;
И сих речей отзывы, как во сне,
Твердит душа с собой наедине.

Когда под гром оркестра пляски зной
Всех обдает веселостью безумной,
Обвитая невидимой рукой,
Из духоты существенности шумной
Я рвусь в простор иного бытия,
И до земли уж не касаюсь я.

При блеске звезд в таинственный тот час,
Как ночи сон мир видимый объемлет,
И бодрствует то, что не *наше* в нас,
Что *жизнь души,*— а *жизнь земная* дремлет,
В тот час один, сдается мне, живу
И сны одни я вижу наяву.

Весь мир, вся жизнь загадка для меня,
Которой нет обещанного слова;
Все мнится мне: я накануне дня,
Который жизнь покажет без покрова;
Но настает обетованный день,
И предо мной все та же, та же тень.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



К ЗАСТЕНЧИВОМУ

Не прав ты и судьбу напрасно ты гневишь:
Застенчивость твоя невольно очарует;
Верь: ясно говорит твой взор, когда молчишь,
И выражением сильнее слов волнует.
Когда огонь любви блестит в твоих глазах,
Когда покорен ты душой святому чувству,
О! не завидуй ты холодному искусству
Без цели выражать любовь в пустых словах.
Оставь сей дар другим, доволен будь собою;
Она поймет тебя. К земле потупя взор,
Мечтая о тебе, пленясь твоей душою,
Доскажет сердце ей понятный разговор.

Е. Ти⟨маше⟩ва.



ЛЕСНЫЕ ВОЙНЫ

(Из поэмы: Дева Карельских лесов)

1

Не все могильной тишиною
Пустыни Севера полны:
Здесь часто бор кипит войною;
Враждой взаимной созваны,
Устроясь дружными толпами,
Выходят *векшей* [1] племена
Лесными, тайными тропами:
У них объявлена война!
И смельчаки из-за *Онеги,*
От *Киж* до *Ялгубских* боров,
Несутся в быстрые набеги
И чутко ищут след врагов.
Не спрячет робкого дубрава!
По соснам рыщут летуны...
Ужель и им знакома слава?
Какой мечтой упоены?
Нашли... под *корбой* [2] на поляне
Беспечен враг в надежном стане —
И кинулись... и бой кипит...
Они визжат... они схватились,
Грызутся... кровью обагрились,
И берег мертвыми покрыт.
Ужасен грозный победитель,
И мчится побежденный в бег:
Шумит ордой Онеги брег,
И часто изумленный зритель

Глядит, как *серые* полки
Чрез зыбь волнистую реки,
Или отважно, над заливом,
На ветвях, корках и щепах
Несутся флотом торопливо;
Хвосты — им парус; на хребтах
Они распущены и веют...
Верна лесная им кора:
Она несет их ...и пестреют
Сей чудной ратью озера!
То *векши* с дальнего набега
Спешат в леса родного брега...

2

Война еще *другая* есть.
Не знаем: мщения ль порывы
Или обиженная честь
Влекут граждан трудолюбивых,
Разумных (бросив тишину
И труд) на бой метаться ярый,
Платить ударом за удары
И страшную вести войну:
То *муравьи*! Кто знает повод
К их ссорам, к распре роковой?
Но стар и млад (уж пуст их город!)
Стремятся к битве полевой.
За *Трою* ль распря? за *Елену*?
Иль тесен стал родной удел?
Иль мстят за горькую измену?
Иль мчит их в бурю жажда дел?
Теснятся, строятся в уступы;
Рать *черных* с *красными* сошлась,
И битва злобная зажглась:

Сцепились, жалят... падших трупы
(В. грозе, в бою передовом)
Краснеют в поле боевом,
И стройно *черных* рать находит,
Стоит... и *правильно* крылом
Крыло противника обходит
И мчит на тыл за взводом взвод.
Воскресла, мнится, Мантинея,
И их ведет Эпаминонд! [3]
Все больше, больше пламенея,
Без устали отважных рать
(Их поприща как тесны рамки!)
Спешит разбитых добивать
И приступом берет их зàмки...

Ф. Глинка.



МОЙ ЭЛИЗИЙ[1]

Не славь, обманутый Орфей,
Мне элизийские селенья:
Элизий в памяти моей,
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

Е. Баратынский.



ЖЕСТОКИЙ ПРИЗРАК

Жестокий призрак, странный сон,
Всегда ль ты будешь пригвожден
К моей душе, минувшим вея,
Как вран и цепи Прометея?
Напрасно жаждет грудь моя
От зноя сладостной прохлады —
Нет для души моей пощады,
Враждебный демон, у тебя!
Сокрыв ее в своей пустыне
И чудо посуливши ей,
Играешь грустью ты моей:
То полный дашь разлив кручине,
То вдруг всю остановишь кровь,
То сердце охладишь, то вновь,
Как едкий огнь кипучей лавы,
Волшебством взора своего
Льешь пламень гибельной отравы
На язвы тяжкие его!
Скрываясь от тебя, жестокий,
Парит ли ум мой одинокий
В делах минувших, славных дней
К судьбам народов и царей —
Ты тут, унылый и прекрасный,
И льется голос сладострастный,
Как мелодический ручей:
«Холодный мир тебя забудет,
Толпа друзей врагами будет;
Один лишь ангел... он с душой

Простится прежде, чем с тобой!..»
Воскресшим сердцем пламенея,
Летел я ангела обнять;
Но на челе его, чернея,
Как меж тюльпанов жало змея,
Измены вспыхнула печать.
Любимых дум моих слиянье,
Видений дивных корифей,
Во сне — ты вновь к душе моей
Летишь на тайное свиданье.
Как сладкопевный Серафим
Звучишь ей хором неземным:
Миров гармонией чудесной;
Иль Сильфов радужный народ
Свиваешь в легкий хоровод
Бряцаньем арфы неизвестной...
Иль в край, не знаемый землей,
Меж золотыми облаками,
Над беспредельными морями
Летишь, как звездочка, со мной.
То луг вдали узрев душистый,
Спешишь росой умыться чистой;
То гор над снежной высотой,
Купаясь в туче громовой,
Перун крылатый, обгоняешь;
То, ангел грусти, ты летаешь
С венком терновым на главе,
И над одром моим стенаешь
О нашем общем сиротстве.
То вдруг, подобно деве страстной,
Склонясь главой ко мне прекрасной,
Весною дышишь мне в уста;
Жжешь сердце огненным дыханьем,
И амврозическим лобзаньем,

Исхитив душу, как мечта,
От ней мгновенно отлетаешь,
И грудь ревнивою тоской,
Как ядом вскормленной стрелой,
С холодным смехом раздираешь...
Жестокий призрак, странный сон,
Всегда ль ты будешь пригвожден
К моей душе, минувшим вея,
Как вран и цепи Прометея!!.

В. Тепляков.



БЕССОННИЦА

Что мечты мои волнует
На привычном ложе сна?
На лицо и грудь мне дует
Свежим воздухом весна;
Тихо очи мне целует
Полуночная луна.

Ты ль, приют восторгам нежным,
Радость юности моей,
Ангел взором безмятежным,
Ангел прелестью очей,
Персей блеском белоснежным,
Мягких золотом кудрей?

Ты ли мне любви мечтами
Прогоняешь мирны сны?
Ты ли свежими устами
Навеваешь свет луны,
Скрыта легкими тенями
Соблазнительной весны?

Благодатное виденье,
Тихий ангел! успокой,
Усыпи души волненье,
Чувства жаркие напой
И даруй мне утомленье,
Освященное тобой!

Н. Языков.

Д. А. ОКУЛОВОЙ [1]

Я в разных возрастах вас знал:
День жизни вашей рассветал,
Как голубое утро мая,
На лоне сельской тишины.
Младые игры, жизни сны,
Вас на руках своих качая
И приголубливая вас,
Вам пели радостные гимны,
Вас утешали каждый час.
И путь вам в мир гостеприимный
Цветами свежими, как вы,
Они роскошно устилали
И отводили прочь печали
От вашей милой головы.
Вы были девочкой пригожей,
Живою куклою, похожей
На куклу, с коей вы сам-друг
Делили радостный досуг.
Я видел вас отроковицей
В младом святилище наук,
Где нежной Матерью-Царицей
Под сенью дум ее и рук
Взлелеян был цвет жизни вашей,
Где, в этом цветнике живом,
Вы расцветали с каждым днем
Лицом, умом и сердцем краше.
Вам эти памятны лета,
Лета надежд, приготовлений:
Уж с ваших глаз и помышлений

Спадала детства слепота.
Вы жить еще не начинали,
Но молча уж учились жить;
Пытались чувствовать, судить.
Вы с нетерпеньем в даль взирали
И с любопытством на себя.
Жизнь как надежду полюбя,
Ее вы с трепетом встречали.
Но ваша жизнь была тогда
Под небом ясным и спокойным,
У мирной пристани, чужда
Волнам коварным, бурям знойным,
Которые кипят вдали
И, жизни цель скрывая тайно,
То благосклонны, то случайно
Тревожат путников земли.
Теперь вы в возрасте уж новом,
И вас встречаю я опять
Под тем же сельским, тихим кровом,
Под коим я вас начал знать.
Над вами бури прошумели,
На небо вашей колыбели
Утраты облако взошло;
На молодые жизни розы
Вы проливали скорби слезы,
Вы испытали жизни зло.
Судьба превратна: все безгласно
Должны покорствовать судьбе;
Но ранний свой обет прекрасно
Вы оправдали на себе.
В надеждах мы не обманулись,
Которым любовались в вас:
Для наших чувств, для наших глаз
Они созрели, развернулись

Пышнее прежнего сто раз.
И этот возраст ваш прелестен,
Пусть будет также светел он:
С улыбкой вашей несовместен
Ненастья хладный небосклон.
Всегда веселым солнцем юга
Будь озарен ваш каждый день:
Не трогай вас унынья тень,
Ни скорбь сердечного недуга,
Ни хлад томительных забот.
Вам радость так к лицу идет,
Вы так похожи друг на друга,
Что мудрено вас различить,
Что вам грешно бы розно жить.
Еще вам жизнь в богатом лоне
Для недоведомой поры
Готовит лучшие дары.
Еще на вашем небосклоне,
Теперь пустынно голубом,
Зажжется много звезд прелестных
И много дум еще безвестных,
Объятых ныне свежим сном,
Проснутся на сердце, как волны
На ясном зеркале реки;
Игра их, блеск и говор, полный
Веселья, таинств и тоски,
Вас новым чувством очаруют
И, сквозь златые облака,
Картиной яркой разрисуют
Даль жизни, темную пока.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



УКРАИНСКИЕ МЕЛОДИИ

1.

Где ты, доля, моя доля,
На горе или средь ноля?
Гору можно раскопать,
Поле можно распахать.
Иль близ моря, на долине
Диким маком ты цветешь?
Или в роще, на калине
Ты малиновкой поешь?
Прилети же птичкой, доля,
Хоть на миг ко мне присядь;
Ах, ты доля, моя доля!
Где тебя мне, доля, взять?

2.

Нету броду, нету броду,
Нет и переходу;
Коли, милый, меня любишь,
Плыви через воду.
«Переплыл я две реченки,
Третьей не боюся,
И все-таки, моя душка,
К тебе доберуся.
Пережил я два годика,
Третий вот наступит;
А все-таки, моя душка,
Сердце тебя любит».

Л. Якубович.



НАДПИСИ К ДВУМ ГРУППАМ ТВОРЕНИЯ И. П. МАРТОСА

1

Вот Сафо, вот Фаон, вот хитрый бог любви,
Вот гений Фидия, очаровавший взгляды!
Так! Мартос Грек; в его крови
Горит священный огнь Эллады.

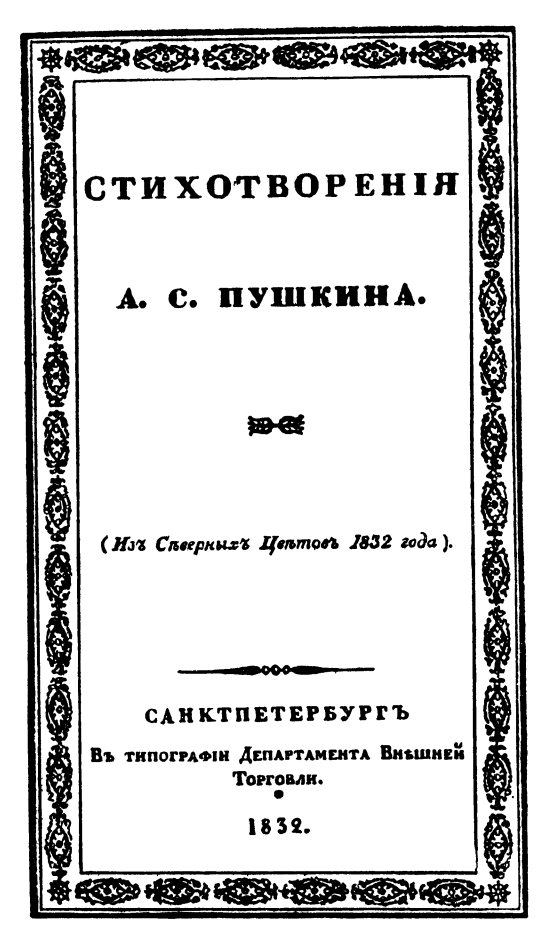
2 *

И Ломоносова пылающим пером
Певца любви Хариты нам списали,
И Мартоса магическим резцом
Свое творение опи же изваяли.

Кн⟨язь⟩ А. Шаховской.



* Мысль этой группы взята из песни Ломоносова: Анакреон и Купидон.



СТИХОТВОРЕНІЯ

А. С. ПУШКИНА.

(Изъ Сѣверныхъ Цвѣтовъ 1832 года).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи Департамента Внѣшней Торговли.

1832.

Лицевая сторона обложки отдельного издания Стихотворений А. С. Пушкина из «Северных цветов» 1832 года.

АНЧАР [1], ДРЕВО ЯДА

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день зноя породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

А. Пушкин.



К-е К-е Я-ь

Вы, чьей душе во цвете лучших лет
Небесные знакомы откровенья,
Все, чем высок полет воображенья,
    Чем горд и пламенен поэт,—

И два венка, один другого краше,
На голове свилися молодой:
Зеленый лавр поэзии чужой [1]
    И бриллианты музы вашей!

Вы силою волшебной дум своих
Прекрасную торжественность мне дали,
Вы на златых струнах переиграли
    Простые звуки струн моих. [2]

И снова мне и ярче воссияла
Минувших дней счастливая звезда,
И жаждою священного труда
    Живее грудь затрепетала.

Я чувствую: завиден жребий мой,
Есть и во мне благословенье бога,
И праведна житейская дорога,
    Беспечно выбранная мной.

Не кланяюсь пустому блеску мира,
Не слушаю слепой его молвы:
Я выше их... Да здравствуйте же вы
    И ваша творческая лира.

Н. Языков.



Отрывок из сельской поэмы: МАША

Недаром Маша прослыла
Красавицей: кто равен Маше?
Всегда резва и весела,
Она с ума почти свела
Всю молодежь в деревне нашей.
На луг ли выйдет поиграть
С подружками в горелки... глядь,
И молодцы как тут готовы!
В кафтанах синих, в шляпах новых
Навстречу к ней бегут, спешат,
Ей речи складные готовят,
И кто быстрей, на перехват
Одну ее в горелки ловят.
Когда ж затеют хоровод,
Вот тут взглянуть, как парни наши
Толкают и теснят народ
И увиваются вкруг Маши!..
То тот, то этот подойдет
И, шляпу сняв, ее учтиво
С собою проплясать зовет;
Да как и пляшет Маша — диво!..
Потупив очи, с молодцом
(И улыбаясь, и краснея,
Как будто бы чего робея)
Она идет плясать вдвоем:
Едва дыханье переводит;
Как лебедь белая плывет
И на столпившийся народ

Очами ясными поводит.
Старухи, глядя на нее,
Седою головой качают,
И прежнее житье-бытье
Свое со вздохом вспоминают.
«Вот так-то мы плясали встарь,—
Ворчат беззубые,— бывало,
Прости наш грех, небесный царь,
Всю ночь пропляшешь,— а все мало».
А дома посмотреть — темно
Еще, а Маша пробудилась,
Оделась, богу помолилась
И за работою давно.
Убравшись, с утренней зарею,
Она к колодцу за водою
Идет по утренней росе,
Свежа как маков цвет. В косе
Играет ленточка цветная;
Простой, опрятный сарафан
Волнуется, обозначая
И ножку девицы и стан;
Сверх сарафана пояс новой
Обвился, и блестят у ней
Две нитки крупных янтарей
На груди белой и пуховой.
Старик отец ее богат;
Его амбары полны жита,
И в каждом дверь железом крыты
И на дверях замки висят
Огромные, а пред дверями
Собаки лают и бренчат,
Прикованные к ним цепями.
Просторная изба его
Как чаша полная — всего

Довольно есть: ешь, веселися,
Вина и браги хоть не пей,
Хоть просто их на землю лей
Или ушатом окатися!
Не диво же, что с ранних пор
И женихи, как на подбор,
Один другого лучше, краше,
Толпою сваталися к Маше.
Вот наконец отец и мать
Поняньчить внучат захотели,
Молебны всем святым отпели
И стали думать да гадать,
Как замуж дочку снаряжать.
Перед погодою ненастной,
Почуя изобильный лов,
Летает много ястребов;
Но всех быстрее сокол ясный
К добыче мчится с облаков:
Удалых много молодцов
Тоскует день и ночь по Маше,
Но лишь один,— он удалей
Всех молодцов в деревне нашей,—
Умел закрасться в сердце к ней.
Да льзя ль и не любить Ванюшу?
Как про любовь он речь ведет,
То речь его томит и жжет
И услаждает вместе душу!
Ах Маша, Маша! на кого
Так часто ты в окно глядела?
Все на Ивана! отчего
Ты, встретившися с ним, краснела
И убегала вдруг в кусты?
Скажи, что чувствовала ты,
Когда весною он в горелках

По лугу за тобой бежал,
Иль на веселых посиделках
Тебе тихонько руку жал?
Бывало краспые девицы,
Собравшися под вечерок,
Усядутся в большой кружок
И тут-то были, небылицы:
Про колдунов, Кощеев клад,
Про чудеса златой Жар-птицы,
Про мудрость хитрой Царь-девицы
До поздней ночи говорят.
С Ванюшей вечер веселее
Девицам красным коротать:
Он, в темный вечер, всех страшнее
Умеет сказку рассказать.

А. Комаров.



ГРЕЧАНКЕ

Когда бы пламенным лучом
И зноем греческого лета,
Когда бы *греческим огнем*
Твоя душа была согрета,
И, как богов бесценный дар,
Стяжал бы я сей дивный жар
Трудом и нежностью успешной,
И для меня горела б ты
Всем блеском страстной красоты,
Горела б вся, как огнь потешный,—
В то время что была б со мной?
Ужель я вежливо и чинно
И безмятежно и невинно
Пленялся б издали тобой?
Приличье света слишком трудно...
Младое сердце безрассудно!
И так, мой друг! искать бы мне
Прекрасной гибели в огне
Твоей любовной благодати...
Я б чудной смертью обомлел
И с бурной радостью сгорел
В пожаре девственных объятий!..

Барон Розен.



Отрывок
из драматической поэмы:
ОТШЕЛЬНИК

ДЕЙСТВИЕ II,

Явление 2-е

(*Место перед монастырем, вблизи высокие деревья и несколько могил, прикрытых камнями.*)

Шренявит, Адалберт и Посланный от епископа.

Посланный (*входя*).

Мир вам.

Адалберт.

Всяк, нам вещающий о нем,
Любезен гость.

Посланный (*садясь на камень*).

Путь к вам — мученье.

Адалберт.

Каждый
Путь, высоко ведущий, не легок.

Посланный.

Труд истомляет тело, а опасность,
Страх наводя, лишает сил душевных.

Адалберт.

Зреть пропасти — необходимо должен
Желающий достигнуть высоты,

Посланный (*глядя окрест*).
Прелестный вид отсюда!

Адалберт.
Он наградой
За все труды и ужасы пути.

Посланный.
Ничтожная награда за усилья,
Каких бы я по воле не предпринял.—
Обязанность меня приводит к вам.

Адалберт.
Что хочешь нам поведать?

Посланный (*вставая*).
Волю Рима.

Адалберт.
Что нам велит она?

Посланный.
Не к вам одним
Относится она. Незапно всюду
Раздается глас наместника Петра,
И всякое его услышит ухо.
Так: всякий, кто по вечеру свой сон
Спасения символом ограждает,
А утром, встав с одра покоя, им же
Приветствует светило дня, ее
Узнает и свершить обязан будет.

Адалберт.
Весть важную ты сообщаешь нам.

Посланный.

Казнь грешников бывала ль маловажна?

Адалберт.

Какая ж казнь постигнет и кого?

Посланный.

С сего часа никто из христиан
Да не дерзнет приблизиться к злодею,
Подпавшему под казнь сию. Ни чьи
Уста его приветствовать отныне,
Ни чья рука пожатьем дружелюбным
Прощаться с ним да не посмеют. Речь,
Малейшая услуга, состраданье,
Усердие к нему — смертельный грех!
Родитель, брат, жена навек отречься,
Навек о нем забыть должны. Хотя б
Он у дверей просил дневного хлеба,
Иль, жаждою сгорая, в знойный день
Молил подать запекшейся гортани
Единую воды студеной каплю:
Не дать ему ни пищи, ни питья!
И, наконец, хотя б он даже умер,
Строжайше всем запрещено его
Похоронить, как подобает людям;
Но, напротив, всяк должен грешный труп
Отбросить прочь, далеко от кладбища,
И там предать на поязденье псам!

Шренявит.

Ужасное проклятье!

Посланный.

Стократ
Ужаснее злодейство, за какое
Им сражена высокая глава.

Шренявит.

Высокая?

Посланный.

Первосвятитель чужд
В решениях своих лицеприятья.
Судя вину, того не разбирает,
Что кроется она под багряницей.

Шренявит.

Кто ж властелин, сраженный громом сим?

Посланный.

Досель он был могучим королем,
Отныне же — ничто!

(*Шренявит отступает и отворачивается.*)

Разнесся слух,
Что видели его бродящим здесь;
И вследствие сего, немедля, всюду
Разосланы епископом приказы,
Чтобы скорей очищена была
Епархия от сей заразы лютой.
Он не был ли у вас? Едва ли где
Нашел бы он спокойнейший приют.

Адалберт.

Игумен наш об этом лучше знает.

Посланный.

Коль был он здесь, и ты знать должен это.

Адалберт.

Мне столько лишь о том известно, сколько
Начальник наш знать повелел.

Посланный.

Веди
Меня к нему скорее.

Адалберт (*Шренявиту*)

До свиданья (*уходит*).

Шренявит (*один*).

И тут его настиг ужасный суд!
Как воздухом, отвсюду окружен он
Проклятием, которого смысл грозный
Так холодно рассказан сим послом.
О небо! он не знал, что каждым словом
Он разрывал во мне на части сердце.
Владыка мой! такая ль слава миру
Поведает о имени твоем?
Отринутый людьми, ты будешь днесь
Страшилищем для всякого, кто прежде
Внимание твое, улыбку, слово
Верховною наградою считал.
Как восхищен был тот, кому при встрече
Приязненно ты руку пожимал!
Как счастлив был, кто мог хоть чем-нибудь
Тебе явить усердие свое!
Теперь тебя ничей не встретит взор,
Ты не найдешь надежного приюта,
Где б мог укрыть главу от непогод;
Не обретешь чувствительного сердца,
Которое тебе бы сострадало.
Твоим бедам обидно посмеются!
Когда ж тебя смерть позовет, никто
Усердною рукой не створит веждей,
Никто твоим страдальческим останкам
Последнего почтенья не воздаст!

(*Постояв некоторое время, ломая руки и с опущенною головою, уходит медленными шагами.*)

В. Щастный.

ВОЛОДИНЬКЕ КАРАМЗИНУ[1]

Володинька! вперед шагая,
Владимир будешь: дай-то бог!
Но по свету, мой друг, гуляя,
Не замарай своих ты ног.

Про свет наш худо молвить больно;
Но хлеб-соль ешь, а правду режь:
Наш белый свет, хоть бел довольно,
А грязи много. Спросишь где ж?

Вот тут-то точка с запятою —
Узнаешь все, так будешь сед.
Пока замечу: пред тобою
Протоптанный есть свежий след.

Тебе житейский путь неведом;
Но дан тебе открытый лист
За подписью отца, а следом
Ступай за ним, так выйдешь чист.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



К НЕЗАБВЕННОМУ

Прости меня! я не умею
Твой взор небесный позабыть;
И образ милый втайне смею
Я в сердце пламенном хранить.
Нет! я любовь не называю:
Язык ее страшит меня.
Смиренной дружбой обожаю,
О незабвенный друг, тебя.

В простых словах и без искусства
Открою тайну я свою;
Не разбирай, какое чувство
Теперь волнует грудь мою.
Когда тебя я где встречаю,
То к сердцу бросится вся кровь...
Но, милый мой, я точно знаю,
Что это дружба, не любовь.
Поешь ли ты — воспоминанье
К минувшей радости влечет;
Но верь, сей миг очарованья
И дружба скромная поймет.
Прости же мне души волненья,
И тайный вздох, и жар ланит;
Нет! не любви то упоенья,
Но сердце дружбой лишь горит.

Е. Ти⟨маше⟩ва.



Отрывок из поэмы
БЕЗЫМЯННЫЕ, ИЛИ ДЕВА КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ

(отец — *лесной житель* — говорит дочери)

«...Я говорил: *Любви* не стало,
Я говорил тебе не раз!
При мне уж счастье отцветало
Там, у людей... И он погас,
Огонь небес, огонь-живитель,
Который души их питал;
Их *ум* (расчетливый ловитель)
Своим волшебством обаял.
Рабы условного страданья,
Они не знают сладких слез
И неги сердца — состраданья...
Зато теперь от прежних роз
Одни лишь терны им остались.
При мне еще, когда я был
С людьми, они уж изумлялись:
Зачем вдруг жар к добру простыл?
Куда девалося веселье
Отцов, проживших в тишине?
Вступя как будто в новоселье
И посмеявшись старине,
Они забыли *прежних* нравов
Незлобие и простоту;
Вошли охотой в тесноту
Условных, приторных уставов
И полюбили суету
И жадных прихотей причуды.

Не стало радостей былых,
Не стало жизни у живых:
Они — как праздные сосуды...
Везде, во все ввели расчет
Сыны греха, сыны разврата;
Честей алкают, ищут злата,
И стал жесток сей хладный род,
Как сей металл, им столько чтимый!..
Без жизни — жизнию томимы;
Тоска живет у них в очах.
Что ж в их беседах? что в речах?
Все *суд над ближним!* И, любимый,
Их умный, острый разговор —
Насмешка, едких слов набор,
Облитый желчию укор.
Гордясь конями и убранством,
Бывало, позванный на пир,
Как раззолоченный кумир,
Приходит гость с холодным чванством;
С притворной лаской меж собой
Пустой привет они меняют
И, будто званные на бой,
И зло и зорко примечают,
Куда и *где* разить? У них
В их празднествах, при мне бывалых,
Блистали радугами залы,
Кипело в чашах пировых;
Но было что-то все уныло,
Был всяк студен и одинок
И втайне грустен, как могилой
Мертвец, отпущенный на срок.
Верь мне: у них не стало сладких,
Простых, но свежих, пылких чувств:

Везде поддельный блеск искусств,
И все разгаданы загадки;
Их жизнь — прочитанный роман,
Который повторять уж скучно!
И слово: *счастье* — им не звучно,
Оно для всех — былой обман!»

Ф. Глинка.



ЛЕШИЙ

В час урочный полнолунья,
С темным лесом наравне,—
Говорит молва вещупья,—
Кто-то бродит в тишине.
Пономарь пройдет ли пеший,
Псарь проедет ли верхом,
Всяк крестяся молвит: «Леший
Загулял не пред добром!»

Есть под лесом две слободки,
Где, резвясь под вечерок,
Пляшут парни и молодки
Под волынку и гудок.
Там старик, сидя с старухой
На траве перед крыльцом,
Говорит: «И я был, ухо,
Плясуном и молодцом!..

Помнишь? Дуню мы видали:
Тот-то девка — клад была!
Щеки алые пылали,
В пляске лебедем плыла.
Где ж теперь моя воструха,
Как, бывало, в красны дни?..»
«Эх! — промолвила старуха,—
Боже нас оборони!
Слышишь, по лесу хохочет?
Слышишь вой? ...она ревет;
Обойти тебя, знать, хочет:
Берегися — уведет!»

Л. Якубович.

СТРАННИК

Я был везде — я все узнал:
Нет в мире места, нет созданья,
Которых глаз мой не видал;
Нет мысли, истины, познанья,
Которых ум мой не вмещал,—
И страсти нет — и нет желанья,
Каких я сердцем не познал!..

Что ж мне оставил гордый опыт
От всех познаний, чувств, страстей?..
Бессильный, бесполезный ропот
На все — от праха до людей!
К себе — холодную беспечность;
К уму — безверье и презор,
И страх, что грозный приговор
За жизнь мою написан — вечность!..

Н. Ставелов.



И.В.К.

(О П. В.)

Щеки нежно пурпуровы
У прелестницы моей;
Золотисты и шелковы
Пряди легкие кудрей;
Взор приветливо сияет,
Разговорчивы уста;
В ней красуется, играет
Юной жизни полнота!
Но ее во мраке ночи,
Мой товарищ, не зови!
Не целуй в лазурны очи
Поцелуями любви:
В них огонь очарований
Носит дева-красота;
Соблазнительных лобзаний
Не впивай в свои уста:
Ими негу в сердце вдует,
Мглу на разум наведет,
Зацелует, околдует
И далеко унесет!

Н. Языков.



ПЕСНЬ ДУХОВ НАД ВОДАМИ

(*Из Гёте*)

Душа человека
Волнам подобна:
С неба нисходит,
Стремится к небу;
И вечной перемене
Обречена:
Снова должна
К земле обратиться.

С крутой скалы
Бежит ручей
И влажной пылью
Сребрит долины.
Но, заключен в пределы,
С журчаньем кротким,
Все тише, тише
Катится вглубь.

Крутые ль утесы
Ему поставляют
К паденью препоны —
Нетерпеливый,
Он пену вздымает
И льется по ним,
Как по ступеням,
В бездну!

В гладкой постеле долину
Он пробегает;

А в зеркальном море
Звездное небо горит.

Ветер, моря
Кроткий любовник,—
Ветер из глубины
Волны вздымает.

О душа человека,
Как волнам ты подобна!
О судьба смертных,
Как ты подобна ветрам!

Н. Станкевич.



СТАНЦЫ

Как глухо под золою черной
Везувий пламенем кипит,
А над челом его нагорной
Буран все рушит и валит;

Так, поражен грозой судьбины,
В душе страстями закален,
Я жаждал, чтоб хоть миг единый
Принес душе отрадный сон.

Он наступил, сей миг желанный,
Но не сбылись надежды сны:
Ум молодой, непостоянный
Не терпит сердца тишины.

Как бледный пламень в отдаленье
Сырой, болотистой глуши,
Горит одно воображенье
Над хладной бездною души.

Я чувствую в ее молчанье
Могильный мрак и пустоту;
Отдайте ж мне мои страданья:
Я с ними чувство обрету.

Так кормчий, долгою борьбою
С волнами, ветром — утомлен,
Взывает к небесам с мольбою...
И вдруг стихает вихрей стон:
На волны сходит мертвый сон.

Висит упорное ветрило,
Ладья стоит в пустыне вод;
И путник, снова приунылой,
Моленья прежние клянет.

Кн⟨язь⟩ А. Мещерский.



ПОЛНОЧЬ

Час глубокого молчанья,
Мертвый час, полночный час!
Что стеснилось так дыханье,
Голос замер, взор угас?
Нить прервалась размышленья,
Кровь застыла, ум во тьме,
И толпою привиденья
Что-то в уши шепчут мне...
Боже! то былая повесть!
То, проснувшись в первый раз,
Налегла на душу совесть
В мертвый час, в полночный час.

чъ.
⟨Н. Я. Прокопович⟩.



ДО СВИДАНИЯ

Прости! Как грустно это слово,
Когда твердим его друзьям,
С ним сердце выскочить готово,
Иль разорваться пополам.

Как много скорби безнадежной,
Как много слез таится в нем!
Завет разлуки неизбежной,
Привычек сердца перелом.

Оно нам подтверждает грозно,
Что наше все и мы на срок;
Что в круг наш, рано или поздно,
А вломится железный рок.

Что слово *вместе* здесь непрочно,
Как *радость,* синоним его;
Что часто *лучшее* заочно,
Что смерть есть в жизни цель всего.

Разлука — смерть, и смерть — разлука:
Когда мы говорим прости!
Кто сердцу бедному порука,
Что вновь сойдемся на пути?

Что этот звук — живое слово,
Не роковой, надгробный гул,
Который хладно и сурово
Раздался в сердце и заснул!

Что есть грядущее в той речи,
Что отголосок ей готов
В привете сердцем жданной встречи,
Красноречивой и без слов?

Нет, в неизбежный час прощанья,
Покоя ноющую грудь,
Мы лучше скажем: *до свиданья!*
А там, что бог даст, то и будь.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



УТЕШЕНИЕ

(Из А. Шенье)

Мы любим высказать страдания свои.
Как влага быстрых туч минутно освежает
Песчаной степи зной, так мученик любви
Целебной жалобой боль сердца услаждает:
Вверяет ли печаль он избранным друзьям,
Подобно, как и он, любившим в дни былые;
Внимают ли его болезненным словам
Одни скалы, леса иль волны голубые.

Ш-б-ъ.
‹Н. И. Шибаев›.



ЭЛЕГИЯ

Недолго, с тишиной сердечной,
По рощам Царского Села
Бродил я, юноша беспечный,
И жизнь волною скоротечной
По ложу светлому текла;
Недолго сны златые лени
С улыбкой вились надо мной
И, чуждый творческих волнений,
Недолог был души покой.
Пришла пора: Камен призывы
Я слухом чутким уловил,
И вдохновения порывы
Душою девственной вкусил.
Казалось, жизнию двойною
Забилась грудь моя, когда
Огнем небесным надо мною
Зажглась поэзии звезда:
О, как доверчиво, как жадно
За ней вослед помчался я,
И как мучительно отрадно
Она тревожила меня!
То в ужасе стихийных споров
Являлась мне, как некий дух;
То звуками незримых хоров
Ласкала, чаровала слух,
И пред очами рассыпала
Волшебных образов черты:
Душа поэта ликовала

И, будто в небе, утопала
В разливах радужной мечты...
Но где ж покой беспечной жизни?
Где беззаботность прежних лет?
Увы! не внемля укоризне,
Исчезли вы... остыл и след!
Лишь ты, небес благословенье,
Надежда! друг-хранитель мой!
Лишь ты в грядущем отдаленьи
Сулишь мне дней былых покой.
И верю я: восторгов муки
Мне принесут желанный плод,
И эти образы и звуки
Одно созданье обоймет:
Душа с покоем вновь сроднится
И в том созданьи отразится,
Как небеса в зерцале вод.

⟨М. Д. Деларю⟩.



АНФОЛОГИЧЕСКОЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Гимны любви по внушению Муз в тишине я слагаю,
Но, лишь о Дельвиге я грустную песнь поведу,—
Чувствую: слезы в очах, животворней влиянье
бессмертных...
Музы! знать, память о нем вам, как и дружбе,
мила!

М. Деларю.



ПСАЛОМ 103-Й

О, пой, играй, моя душа,
Благословляй творца природы:
Его земля так хороша!
Так ясны зеркальные воды!
Так стройны свежие леса!
И велелепием чудесным
Его блистают небеса,—
Искусством дивным, неизвестным
Простер он небо, как шатер,
Облекшись сам, как ризой, светом;
И как монисты, цепи гор,
Украшенных роскошным летом,
Он в ожерелье дал земле!
Скруглил лазоревые своды
И живописно, как в стекле,
Собрал и держит в высях воды.
Слилась из пышных облаков
Ему чудесно колесница —
И алой лентою денница
У позолоченных краев
На синий небосклон ложится...
Порой, на крылиях ветров,
Над бурями *он,* дивный, мчится.
И быстрый ветр не облетит
Полета ангелов посыльных,
И из огня себе творит
Он слуг тьмочисленных и сильных.
О, как ты землю утвердил!

Стоять ей в вечности с надеждой!
И бездной ты ее покрыл,
Как величавою одеждой.
Когда ж ты, боже! загремишь,
Раскат морей, кипя, мятется,
Но *ось* земли не пошатнется,
Доколь ты, сильный, не велишь;
И все хранимое тобою
Твоей содержится судьбою! —
Ты положил *всему* предел:
Ничто его не переходит.
Разумный житель красных сел
И дикий зверь дубрав приходит
Пить воды и прохладу вод.
И под дубравою ветвистой
Пернатый гнездится народ.
Ты дал нам золотые нивы,
И умащающий елей,
И винограда сок игривый...
С ним сердце бьется веселей.
Бежит над пропастию смело
Младая серна по горе,
И угнездился кролик белый
Во мшисто-каменной норе.
Твоя луна в свой час урочный
Идет, как страж, на небеса;
И в час покоя, в час полночный,
Ты внемлешь рев и голоса
К тебе зверей, просящих пищи,
Твоя любовь им корм дает;
Но луч рассвета чуть мелькнет,
Спешат в дубравны логовищи.
Тогда выходит человек
С своею спутницей — заботой;

Но красит он земной свой век
Трудом, искусством и работой.
О, как не петь твои дела!
Твоя земля полна красами,
И под твоими небесами,
Тиха, покойна и светла,
Она колышется в лазури;
Восходят и над нею бури,
И в них торжественней она!..
Но кто, таясь, залег у дна
Морей, под голубые своды?
И кем пучины глубь полна?
Там чуд и рыб морских народы
Живут как в области своей;
И режут лоно океана
Ряды могучих кораблей.
Ты сотворил левиафана!
Средь необузданных морей,
Силач, никем не побежденный,
Гуляя, мещет из ноздрей
Столпами бисер. Но, смиренный
Перед тобою, он тебя
Своим ретивым сердцем знает;
И как питателя любя,
И он с толпой подводных чает,
Доколь, в урочной их поре
Ты дашь им корм — и, насыщенный,
Игривым бегом утомленный,
Почиет в водном серебре.
Как все живет, как все блистает
От взоров сладостных твоих...
Но отврати лицо... и вмиг
Все вянет, сохнет, умирает...
Отнимешь дух — и плоть во прах!

Когда ж повеешь — молодеет
Земля в пленительных красах!
Моя душа благоговеет
Перед тобой: блеснул твой взор —
И гнутся вековые кедры,
Земли расколыхались недры,
И дым реками бьет из гор!
О, буду я, до века буду
На лире господу брящать:
Его щедроты не забуду,
Его прославлю благодать!
Когда бы песнию приятной
Ему угодным стал и я!
Как пар от луга ароматный,
Несись душа и песнь моя!
А вам, о грешных род надменный,
Не греться б солнцем золотым!
Не вам — одним сердцам простым
Владеть землею обновленной.

Ф. Глинка.



ЛЮБОВЬ

Любовь — небес святое слово!
Лишь для тебя воскресну вновь.
Меня душой возвысит снова
Одна любовь, одна любовь.

С моей душою утомленной
Я не снесу земных оков,
И примирит меня с вселенной
Одна любовь, одна любовь.

Меня томит земная келья:
Как дым, взлечу до облаков
И принесу на новоселье
Одну любовь, одну любовь.

Н. Теплова.



КАМИН

Когда, покинув стол рабочий,
Мы вместе сядем у огня,
И вдохновительные очи
Она поднимет на меня,
Тогда, забыв полночный холод,
Тщету и скуку бытия,
Я гордо чувствую: я молод,
Мила мне жизнь, мужчина я!

В. Щастный.



ЗИМА

Смотрю на снежные пустыни:
Лежит, как в саване, земля;
То смерти вид, символ святыни,
Символ другого бытия.

Не все с собой возьмет могила,
Не все зима мертвит в полях:
Проснется жизненная сила,
Проснутся мертвые в гробах.

Л. Якубович.



МОЕЙ ЗВЕЗДЕ

Звезда моя! свет предреченных дней!
Твой путь и мой судьба сочетавает;
Твой луч, светя, звучит в душе моей,
В тебе она заветное читает,
И жар ее, твой отблеск верный здесь:
Гори, гори — не́ выгорит он весь.

И молнии и тучи невредимо
Текут, скользят по свету твоему,
А ты все та ж!.. Чиста, неугасима,
Сочувствуешь ты сердцу моему:
Так в брачный день встречаются два взора,
Так в пении ответствуют два хора.

Звезда страстей, без суетных наград,
Преданности, участий сердобольных,
Волнений, слез, младенческих отрад,
Звезда надежд, звезда порывов вольных,
Забот души, сроднившихся со мной,
Звезда моей мелодии живой!

Звезда моя!.. Молю мольбой завета:
Когда в очах, померкнувших любя,
Зовущий луч уж не найдет ответа,
Молю, чтоб ты, приняв мой жар в себя,
Светя на тех, кого я здесь любила,
Хранящий взор собою заменила.

К⟨нягиня⟩ З. Волконская.

БЕСЫ

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вот — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна

Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

А. Пушкин.

THE BLUE STOCKINGS

Приятно пред родным Пенатом
Скитальца посох положить;
Приятно дядюшкой Филатом
Скорей Плутона угостить,
Приятно старую кокетку
Сарказмом горьким растерзать,
Приятно милую соседку
Женой-хозяйкою назвать.
Приятно также в час разлуки
Ее субретку ради скуки
Рассеянно поцеловать.
Но чепчик, полный мистицизма,
Политики и романтизма,
Всего приятней потрепать!..

В. Тепляков.



БОЙ ЧАСОВ НА СПАССКОЙ БАШНЕ

Как часто, вечером, часов услыша бой,
О Кремль, с высот твоих священных,
Я трепещу средь помыслов надменных!
Невольным ужасом, мольбой
Исполнена душа, и, мнится, надо мной
Витают тени незабвенных!

В сих звуках жизнь, сей гул красноречив!
В нем слышится отцов завет великий!
Их замогильный глас, их неземные клики
И прошлых лет задумчивый отзыв.

Н. Станкевич.



К...

При посылке тетради стихов

С младенчества душой свободной
Я льстивых песен не слагал,
И идолам молвы народной
Даров Камен не предлагал:
Служил лишь божеству: и ныне
Несу тебе мои мечты,
Как вдохновительной богине
Ума, любви и красоты.

М. Деларю.



ДВА ЖЕЛАНИЯ

1

Не богатствами Пактола [1]
Я бы друга наделил,
Не сиянием престола
Жизнь его бы озарил.

Нет! — Но я желал бы другу
Мирный кров в земле родной
И прекрасную подругу
С возвышенною душой.

Умолял бы Миродержца
Влить взаимную в них страсть,
Да любящие два сердца
Покорит Гимена власть.

И святое упованье,
Под охраной милых уз,
Озаря существованье,
Да скрепляет их союз!

2

Всенародному позору
Я врага бы не предал
И судьей бы не был спору
Очистительный кинжал.

Нет! — Не этим сопостату
Отомстил бы я за зло:
Жесточайшую отплату
Сердце бы ему нашло.

Я бы стал молиться аду
И охотно б отдал я
Замогильную награду,
Наслажденья бытия:

Чтоб любви без разделенья
Он изведать муки мог
И чтоб взор пренебреженья
Был ответ ему на вздох!

В. Щастный.



СОЗЕРЦАНИЕ

Затихнет ли кругом меня тревога,
Оставшись, без сует, одна,
Чудесной сладостью полна
Моя душа; — Ей кажется — Она
Как будто чувствует, как будто видит бога!
В таинственной тиши его святынь;
Там все *устройство* и *порядок*;
И, в той безбрежности лазоревых пустынь,
Живителен, как жизнь, как мысль о рае, сладок
Неосязаемый эфир!

То вечное Царство святой благодати
И вечный почиет там мир!
Лишь весело идут небесные рати,
Как гости на брачный, торжественный пир,
Звуча мусикийно златыми крылами,
Исткав из зари знамена;
Гармонией струн их и уст их хвалами,
Как чаша елеем, полна вышина.
И мужи святые, облитые кровью
В мученьях за веру, с венцом на челе,
Завидевши бога, как в ясном стекле,
Трепещут в восторге; но тайной любовью
Невольно влекутся к туманной земле.
Там грустны, унылы
Питомцы страстей,
Там смерть и могилы:
В тревоге затей,

Безумствуют, губят,
Не верят, не любят,
Земные сыны.
И дни их пустые
Тоскою полны;
Напрасно *святые*
На них с вышины
Заботно взирают
И их вразумляют
В виденьях и снах:
«Покайтесь! придите: у нас в вышинах,
Так весело! чудно!» —
Как тяжко, как трудно
К добру обратить!..
Запутавшись в сети,
Злонравные дети,
Они расшибают целебный сосуд,
Который подносит им врач-посетитель.
Так спите ж! покуда земную обитель
Подземные громы в куски расшибут
И явится грозный владыка на суд!

Ф. Глинка.



ЛИЗАНЬКЕ ДЕЛЬВИГ[1]

Спи, младенец, сном прекрасным!
Над возглавием твоим,
От невзгоды безопасным,
Наклонился ликом ясным
Среброкрылый херувим.

О! поверь мне: нежно любит
Он питомицу свою,
Стужа лилии не сгубит:
Он взлелеет, он взголубит
Юность сирую твою...

Но, крылатый небожитель,
Этот ангел — кто же он?
То угасший твой родитель:
Он слетел в твою обитель
Усладить младенца сон.

Я узнал его! светлеет
Та ж любовь в его очах;
Грудь восторгом пламенеет
И улыбка неги млеет
В гармонических устах.

О, да будет же с тобою
Он вовек! и ты пройдешь
Жизни путь добра стезею
И вселюбящей душою
Небо на земле найдешь.

М. Деларю.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Благоуханьем роза дышит,
Созвучьем дышит соловей,
Хотя никто его не слышит,
Никто не радуется ей.

Печально горлица воркует
На светлом празднике весны;
Луна златым лучом целует
Лесов пустынных глубины.

Так бескорыстен, безотчетен
В своих явлениях поэт;
Он об успехе беззаботен,
Равно ему: есть цель иль нет.

Над ним минутного влиянья
Всесилен роковой закон:
Без думы, скорби иль вниманья
Поет, страдает, любит он.

Кн⟨язь⟩ Вяземский.



А. А. ДЕЛЬВИГУ

Там, где картинно обгибая
Брега, одетые в гранит,
Нева, как небо, голубая,
Широководная шумит,
Жил-был поэт. В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Ни в чем не видел он кумира
Для вдохновенья своего,
И независимая лира
Чужда была страстям земным,
Звуча наитием святым.

Любовь он пел: его напевы
Блистали стройностью живой,
Как резвый стан и перси девы,
Олимпа чашницы младой [1].
Он пел вино: простой и ясный
Стихи восторг одушевлял;
Они звенели сладкогласно,
Как в шуме вольницы прекрасной
Фиал, целующий фиал;
И девы русские пристрастно
Их повторяют — и поэт
Счастлив на много, много лет.

Таков он был, хранимый Фебом,
Душой и лирой древний грек [2].
Тогда гулял под чуждым небом
Студент и русский человек [3];

Там быстро жизнь его младая,
Разнообразна и светла,
Лилась. Там дружба удалая,
Его уча и ободряя,
Своим пророком назвала
И, на добро благословляя,
Цветущим хмелем убрала
Веселость гордого чела.

Ей гимны пел он. Громки были!
На берег царственной Невы
Не раз, не два их приносили
Уста кочующей молвы.
И там поэт чистосердечно
Их гимном здравствовал своим.
Уж нет его. Главой беспечной
От шума жизни скоротечной,
Из мира, где все прах и дым,
В мир лучший, в лоно жизни вечной,
Он перелег; но лиры звон
Нам навсегда оставил он.

Внемли же ныне, тень поэта,
Певцу, чью лиру он любил,
Кому щедроты бога света
Он в добрый час предвозвестил.
Я счастлив ими! Вдохновенья
Уж стали жизнию моей!
Прими сей глас благодаренья!
О! пусть мои стихотворенья
Из милой памяти людей
Уйдут в несносный мрак забвенья
Все, все!.. Но лучшее, одно
Да не погибнет: вот оно!

Н. Языков.

СРАЖЕНИЕ С ЗМЕЕМ

Что за тревога в Родосе? Все улицы полны народом;
Мчатся толпами, вопят, шумят. На коне величавом
Едет по улице рыцарь красивый; за рыцарем тащат
Мертвого змея с кровавой разинутой пастью; все
смотрят
С радостным чувством на рыцаря, с страхом
невольным на змея.
«Вот! — говорят,— посмотрите, тот враг, от которого
столько
Времени не было здесь ни стадам, ни людям проходу.
Много рыцарей храбрых пыталось с чудовищем выйти
В бой... все погибли. Но бог нас помиловал: вот наш
спаситель;
Слава ему!» И вслед за младым победителем идут
Все в монастырь Иоанна Крестителя, где иоаннитов
Был знаменитый капитул собран в то время. Смиренно
Рыцарь подходит к престолу магистера; шумной
толпою
Ломится следом за ним в палату народ. Преклонивши
Голову, юноша так говорить начинает: «Владыка!
Рыцарский долг я исполнил: змей, разоритель Родоса,
Мною убит; безопасны дороги для путников; смело
Могут стада выгонять пастухи; на молитву
Может без страха теперь пилигрим к чудотворному
лику
Девы пречистой ходить». Но с суровым ответствовал
взглядом
Строгий магистер: «Сын мой, подвиг отважный
с успехом

Ты совершил: отважность рыцарю честь.
Но ответствуй:
В чем обязанность главная рыцарей, верных
христовых
слуг, христианства защитников, в знак смиренья
носящих
Крест Иисуса Христа на плечах?» То зрители, внемля,
Все оробели. Но рыцарь, краснея, ответствовал:
«Первый
Рыцарский долг есть покорность».— «И рыцарский
долг сей
Ныне, сын мой, ты нарушил: ты мной запрещенный
Подвиг дерзнул совершить».— «Владыка, сперва
благосклонно
Выслушай слово мое, потом осуди. Не с слепою
Дерзостью я на опаспое дело решился; но верно
Волю закона исполнить хотел: одной осторожной
Хитростью мнил одержать я победу. Пять благородных
Рыцарей нашего ордена, честь христианства, погибли
В битве с чудовищем. Ты запретил нам сей подвиг;
Мы покорились. Но душу мою нестерпимо терзали
Бедствия гибнущих братий; стремленьем спасти
их томимый,
Днем я покоя не знал, и сны ужасные ночью
Мучили душу мою, представляя мне призрак сраженья
С змеем; и все как будто бы чудилось мне, что
небесный
Голос меня возбуждал и твердил мне: *дерзай*!
и дерзнул я.
Вот что я мыслил: ты рыцарь; одних ли врагов
христианства
Должен твой меч поражать? Твое назначенье святое:
Быть защитником слабых, спасать от гоненья
гонимых,

Грозных чудовищ разить; но дерзкою силой искусство,
Мужеством мудрость должны управлять. И в таком
убежденье
Долго себя я готовил к опасному бою, и часто
К месту, где змей обитал, я тайком подходил, чтоб
заране
С сильным врагом ознакомиться; долго обдумывал
средства,
Как мне врага победить; наконец вдохновение свыше
Душу мою просветило: найдено средство! сказал я
В радости сердца. Тогда у тебя позволенья, владыка,
Я испросил посетить отеческий дом мой; угодно
Было тебе меня отпустить. Переплыв безопасно
Море и на берег вышед, в отеческом доме немедля
Все к предпринятому подвигу стал я готовить.
Искусством
Сделан был змей, подобный тому, которого образ
Врезался в память мою; на коротких лапах громадой
Тяжкое чрево лежало; хребет, чешуею покрытый,
Круто вздымался; на длинной гривистой шее торчала,
Пастью зияя, зубами грозя, голова; из отверзтых
Челюстей острым копьем выставлялся язык, и змеиный
Хвост сгибался в огромные кольца, как будто готовый,
Вдруг обхватив ездока и коня, задушить их обоих.
Все учредивши, двух собак, могучих и к бою
С диким быком приученных, я выбрал и мнимого змея
Ими травил, чтоб привыкли они по единому клику
Зубы вонзать в не покрытое броней чешуйчатой чрево.
Сам же, сидя на коне благородной арабской породы,
Я устремлялся на змея и руку мою беспрестанно
В верном метанье копья упражнял. Сначала от
страха
Конь мой, храпя, на дыбы становился, и выли собаки;
Но наконец победило мое постоянство их робость.

Так совершилось три месяца. Я возвращаюсь.
Вот третий
День, как пристал я к Родосу. О новых бедствиях вести
Душу мою возмутили. Горя нетерпением кончить
Дело начатое, слуг собираю моих и, ученых
Взявши собак, на верном коне. никому не сказавшись,
Еду отыскивать змея. Ты знаешь, владыка, часовню,
Где богомольствовать сходится здешний народ: на
утесе
В диком месте она возвышается; образ пречистой
Матери божьей, видимый там, знаменит чудесами;
Трудно всходить на утес, и доселе сей путь был
опасен.
Там, у подошвы утеса, в норе, недоступной сиянью
Дня, гнездился чудовищный змей, сторожа
проходящих;
Горе тому, кто дорогу терял! из темной пещеры
Враг исторгался, добычу ловил и ее в свой глубокий
Лог увлекал на пожранье. В ту часовню пречистой
Девы пошел я, там пал на колена, усердной мольбою
В помощь призвал Богоматерь, в грехах принес
покаянье,
Таин святых причастился: потом, сошедши с утеса,
Латы надел, взял меч и копье и, раздав приказанья
Спутникам (им же велел дожидаться меня близ
часовни),
Сел на коня, поручил вездесущему господу богу
Душу мою и поехал. Едва я увидел на ровном
Месте себя, как собаки мои, почуявши змея,
Подняли ноздри, а конь захрапел и пятиться начал:
Блещущим свившимся клубом, вблизи он грелся на
солнце.
Дружно и смело помчалися в бой с ним собаки;
но с воем

Кинулись обе назад, когда, развернувшися быстро,
Вдруг он разинул огромную пасть, и их ядовитым
Обдал дыханьем, и с страшным шипеньем поднялся
на лапы.
Крик мой собак ободрил: они вцепилися в змея.
Сильной рукой я бросаю копье; но, ударясь
в чешуйный,
Крепкий хребет, оно, как тонкая трость, отлетело;
Новый удар я спешу нанести; но испуганный конь мой
Бешено стал на дыбы; раскаленные очи, зиянье
Пасти зубастой, и свист, и дыханье палящего змея
В ужас его привели, и он опрокинулся. Видя
Близкую гибель, проворно спрыгнул я с седла
и в сраженье
Пеший вступил с обнаженным мечом; но меч мой
напрасно
Колет и рубит: как сталь чешуя. Вдруг змей,
разъярившись,
Сильным ударом хвоста меня повалил и поднялся
Дыбом, как столб, надо мной, и уже растворил
он огромный
Зев, чтоб зубами стиснуть меня; но в это мгновенье
В чрево его, чешуей не покрытое, вгрызлись собаки;
Взвыл он от боли и бешено начал кидаться...
напрасно!
Стиснувши зубы, собаки повисли на нем;
я поспешно
На ноги стал и бросился к ним, и меч мой вонзился
Весь во чрево чудовища: хлынула черным потоком
Кровь; согнувшись в дугу, он грянулся оземь и,
тяжким
Телом меня заваливши, издох надо мною. Не помню,
Долго ль бесчувствен под ним я лежал; глаза
открываю:

Слуги мои предо мною, а змей в крови неподвижен».
Рыцарь, докончивши повесть свою, замолчал.
Раздалися
Громкие клики; дрогнули своды палаты от гула
Рукоплесканий, и самые рыцари ордена вместе
С шумной толпой возгласили: «Хвала!» Но магистер,
Строго нахмурив чело, повелел, чтобы все
замолчали,—
Все замолчали. Тогда он сказал победителю: «Змея,
Долго Родос ужасавшего, ты поразил, благородный
Рыцарь; но, богом явяся народу, врагом ты явился
Нашему ордену: в сердце твоем поселился отныне
Змей, ужасней тобою сраженного, змей, отравитель
Воли, сеятель смут и раздоров, презритель смиренья,
Недруг порядка, древний губитель земли. Быть
отважным
Может и враг ненавистный Христа, мамелюк;
но покорность
Есть одних христиан достоянье. Где сам искупитель,
Бог всемогущий, смиренно стерпел поношенье
и муку,
Там в старину основали отцы наш орден священный;
Там, облачася крестом, на себя они возложили
Долг, труднейший из всех: *свою обуздывать волю.*
Суетной славой ты был обольщен — удались; ты
отныне
Нашему братству чужой: кто господнее иго отринул,
Тот и господним крестом себя украшать недостоин».
Так магистер сказал, и в толпе предстоявших
поднялся
Громкий ропот, и рыцари ордена сами владыку
Стали молить о прощеньи; но юноша молча, потупив
Очи, снял епанчу, у магистера строгую руку
Поцеловал и пошел. Его проводивши глазами,

Гневпый смягчился судья и, назад осужденного кротким
Голосом кликнув, сказал: «Обними меня, мой достойный
Сын: ты победу теперь одержал, труднейшую первой.
Снова сей крест облачи: он твой, он награда смиренью».

В. Жуковский.



ДОПОЛНЕНИЯ

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ» В ПИСЬМАХ СОВРЕМЕННИКОВ

1. ПИСЬМО О. М. СОМОВА Ф. Н. ГЛИНКЕ

С. Петербург, 29 октября 1829

Тысячу раз благодарю вас, почтенный мой, добрый, дорогой Федор Николаевич! благодарю и еще, и еще и за стихи и за прозу. *Дева и видение* — прелесть и по милой, ласкающей слух мере стихов; это будет одним из самых прелестных цветков Северных в нашем букете. Отрывок из истории XII года отлично занимателен [1]: Кутузов и Милорадович в нем истинно в очью совершаются, как говорят русские сказки, в которые нынче я ударился и которых par paranthése [2] накропал уже с пяток. Одна из них будет и в С. Цв. [3] Словом, вы подарили нас *прекрасными недосугами,* и они тем для нас дороже, что для них вы отнимали у себя и последние минуты отдыха. Чем же и как отблагодарить вас? Барон и баронесса [4] вам *тысячу* поклонов посылают: это их слова. Они вас любят, как и все добрые люди, и если будут здоровы, то легко станется, что на будущее лето вместо Финляндии мы все вместе прокатимся

---

[1] Оба упоминаемые здесь произведения Глинки были напечатаны в СЦ-1830. Второе — под заглавием «Вступление большой действующей армии на позицию при с. Тарутине. (Отрывок из Истории 1812 года)».

[2] Между прочим (*фр.*).

[3] «Кикимора. (Рассказ русского крестьянина на большой дороге)».

[4] А. А. и С. М. Дельвиг.

к вам в Карелию,— именно к вам — в Петрозаводск.

Кстати о Финляндии: сочинитель писем очень рад, что они вам понравились; но эти письма, по его собственному убеждению, не лучшие: три последние (всех их шесть) будут помещены в Сев. Цветах [5]: там Иматра [6] так же неугомонно говорлива, а Вокса [7] шумлива, как они в самом быту. Не знаю, каков покажется в них сад барона Николаи ⟨?⟩, не такой ли каменный и холодный, как скалы, в нем лежащие, и море, его оплескивающее. Это решат читатели. Со временем все эти четыре дня финляндские вместятся в одну книжку и к ним приложатся виды гравированные, если на будущий год мне опять удастся заглянуть туда с Лангером [8], который очень хорошо пишет пейзажи. Я выбрал для сих писем форму английского рассказа путешествий, называемую у них chit-chat, т. е. *мешать дело с бездействием,* и между самыми высокими, вдохновительными предметами вставлять иногда что-нибудь смешное и даже карикатурное. Как вы думаете, понравится ли это и не покажется ли резко нашим ныне и присно офранцуженным любителям и ценителям литературы?

Повестей к Сев. Цв. я готовлю четыре. До сих пор еще не знаю наверное, сколько войдет из них в книжку [9], ибо когда будет там чужое хорошее, то свое, каковы бы ни были отеческие истязания авторского самолюбия,— в отставку.

---

[5] Письма, о которых идет речь, в альманахе не появились.

[6] Иматра — водопад в Финляндии.

[7] Вокса (Вуокса) — река в Финляндии.

[8] В. П. Лангер (1802 — после 1865) — художник, переводчик, критик, знакомый Пушкина и Дельвига. Писал фронтисписы к СЦ.

[9] Ни одна из этих повестей не была напечатана в СЦ-1830.

Я все еще болен, но это мне в привычку. Методу лечения, о которой Вы мне пишете, я давно уже принял, кроме двух медикаментов: *хождения* и *свежего воздуха*; первого не могу употреблять за недосугом, а второму и рад был, да негде взять в нынешнюю мокрую, сырую, грязную петербургскую осень. Остается мне один *веселый нрав*, которым я всегда запасаюсь про *болезненные случаи*, которые я ставлю вместо черного года русской пословицы. Оно и близко одно к другому: мне случалось иногда быть больну по целым годам. В горе, в беде и в болезни я всегда лечусь беззаботностию и веселостию и оттого до сих пор был у меня буквально *дух бодр*, хотя *плоть немощна*. Не последним для меня утешением в болезни бывает переписка с друзьями: посему-то и к вам теперь я настрочил такую длинную *рацею* [10], хотя здесь можно меня побранить за маленький порыв эгоизма. Мне весело писать, да будет ли весело читать тем, кого я люблю? Но пора и кончить: не взыщите, если я вам наскучил, и любите по-прежнему Душевно вас любящего

О. Сомова.

⟨Приписано на полях:⟩

Почтенному и любезному Николаю Федоровичу Бутеневу [11] отвечаю на поклон его самым искренним поклоном.

ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, ед. хр. 397, л. 3—4 об.

---

[10] Это слово встречается в повести О. М. Сомова «Сватовство» (см. наст. изд., с. 75) и пояснено им же в примечаниях.

[11] Н. Ф. Бутенев (1803—1870) — знакомый Глинки, позднее начальник горных Олонецких заводов, генерал-лейтенант.

2. ПИСЬМО О. М. СОМОВА Д. П. БУТОВСКОМУ

Милостивый государь Дмитрий Петрович!

К сожалению, письмо Ваше и приложенная при нем повесть дошли до меня уже поздно: ибо тогда (в начале декабря) прозаическая часть Северных цветов была уже совсем окончена печатанием и оставалось допечатывать только половину стихотворений. Вот единственная причина, почему повесть Ваша, замечательная по многим отношениям, не вошла в состав Сев. цветов. Удерживая оную до Вашего ответа, я вместе с тем покорнейше прошу Вашего позволения поместить оную в одном из шести Литературных сборников, которые издаю я в нынешнем году, для дополнения недоданного мною полугодия Литературной газеты[1]. В сих сборниках будут также пьесы А. С. Пушкина, кн. Вяземского, Языкова, Ф. Н. Глинки и прочих друзей Русской словесности и ее успехов. Первый из них (т. е. сборников) явится в конце февраля или в начале марта. Это будут почти шесть альманахов, с тою только разницею, что в них будут помещаться и переводы (вполне или в отрывках) замечательнейших произведений современной иностранной литературы. Цена за все 6 сборников назначается мною здесь в Петербурге 20ти, с пересылкою в другие города 25 р. Порознь изданная книжка будет продаваться по 5ти. Если вам угодно будет согласиться на мою просьбу, то повесть ваша непременно будет напечатана в одной из помянутых книжек. Первая уже напечатана. На доставленные вами деньги препровождаю при сем экземпляр Северных цветов, с адресом, каковой вы назначили.

---

[1] Эти планы Сомова не были осуществлены.

Примите искренние мои уверения в почтении и преданности, с коими имею честь быть ваш, Милостивый государь, покорнейший слуга

О. Сомов.

3 января ⟨1832 г.⟩
С. Петербург

В доставленных от Вас деньгах были лишние, присылаю Вам, для пополнения, тетради стихов, напечатанных мною на взятие Варшавы [2].

ПД, Р1, оп. 2, ед. хр. 176.

3. ПИСЬМО О. М. СОМОВА Н. М. ЯЗЫКОВУ

5 января 1832 г.

Вот Вам, милостивый государь Николай Михайлович! два экземпляра Северн. Цветов, из коих один читайте на здоровье, любите да жалуйте; а другой потрудитесь передать И. В. Киреевскому, вместе с прилагаемою довольно длинною статьею в сокращенном виде, ибо она переписана мелким шрифтом. Если речепная статья (отрывок из предлинной повести) годится в «Европеец», то я уполномочиваю его тиснуть; ибо П. Богданович-Байский дал мне полное право распоряжаться его повестями, а я хочу в конце января или в феврале приступить к печатанию оных под тем заглавием, которое упомянуто во примечании 1[м].

Вы думаете, что я намерен издавать продолжение

---

[2] Речь идет о книге Сомова «Голос украинца при вести о взятии Варшавы» (СПб., 1831).

Л⟨итературной⟩ газеты, почти так: это будут 6 литературных сборников, в которые войдет *словесность*, т. е. проза и стихи: *критика, библиография, теоретические статьи* о *науках* и пр., наконец, *смесь*. Словом, шесть альманахов в расширенном виде. Будьте и Вы жалостливы и милостивы и дайте, что бог на сердце положит, для этих сборников. Они постараются заслужить любовь и доверие почтенных вкладчиков, ибо статьи будут помещаться с выбором, а не на выдержку. Первая книжка появится в феврале. Облегчите же, позолотите для нее муки рождения, пришлите ей что-нибудь на зубок! Семенов [1] не нахвалится вашими стихами. Я их читал: славно! и, как видно, это стихотворение принадлежит к эпохе поэтического вашего перерождения, о которой Вы мне писали с месяц тому назад. Если бы что подобное досталось сборникам, они бы распрыгались. Г. Киреевскому скажите, что это еще цветики. Если угодно ему, то мы готовы поступиться впредь еще статьею из Китайского романа, коего одну главу найдете вы в Сев. цв., клочком из Бороды Богдана Бельского [2], повестью или двумя Байского и Сомова, да сверх того не отрекаемся и мелочи подсыпать. У нас (т. е. у Байского и Сомова) наберется того-сего порядочный запасец.

---

[1] Семенов Василий Николаевич (1801—1863) — цензор, литератор, цензуровал СЦ-1832, «Литературную газету», «Стихотворения А. Пушкина» (ч. 3. СПб., 1832) и др.

[2] Речь, по-видимому, идет о произведении Сомова, частично напечатанном в «Альционе» (СПб., 1832),— «Отрывок из были времен Годунова „Борода Богдана Бельского“». Богдан Яковлевич Бельский (ум. 1611) — русский политический и военный деятель, боярин, приближенный Ивана IV. У Бельского была длинная густая борода, и однажды Годунов, уже бу-

О русских песнях давно хотел я повести с Вами слово. Я думал бы издать те, или лучше из тех, кои ускользнули от печати и книжно-подрядческого увечья. О печатных доселе я не заботился, ибо предполагал, что найдется же и кроме меня богобоязненная душа, которая сличит их, исправит горбы и кривизны, коими наделили их переписчики, и покажет их потом па белый свет в белой рубашке. Но мне хотелось высказать свое мнение о духе песен и вообще поэзии русской вместо предисловия, хотелось бы их разделить или *по полосам* царства русского, или уже, если этого нельзя, и нельзя по предполагаемым *эпохам* их существования,— по содержанию их и направлению. Вот чего бы мне хотелось. Поздравляю Вас с Новым годом и прошу с тем же и с добрым началом [3] поздравить И. В. Киреевского — и затем писавый [4] кланяюсь.

О. Сомов.

ПД, 1493/VII, с. 11, л. 5—6.

4. ПИСЬМО М. А. МАКСИМОВИЧА В. П. ГАЕВСКОМУ [1]

⟨14 июня 1854 г.⟩

⟨...⟩ Я познакомился с ним ⟨А. А. Дельвигом⟩ впервые в Москве зимою 1827—28 года, на литературном вечере, по случаю приезда его бывшем,— на Кузнец-

---

дучи царем, рассерженный одним из многочисленных доносов, которые слали ему враги боярина, велел вырвать у Вельского бороду.

[3] Т. е. с выходом первого номера «Европейца».

[4] Писавый — форма, использовавшаяся в заключительной части писем. Ср.: *Даль В. И.* Толковый словарь, т. III, с. 113.

[1] Письмо было написано М. А. Максимовичем историку литературы, библиофилу В. П. Гаевскому (1826—

ком мосту — от Сергея Алекс. Соболевского [2]. Он подошел ко мне как к издателю «Малороссийских песен» [3] — и мы с час пробеседовали о народных русских песнях, которых он, на ту пору, был, без сомнения, одним из первых знатоков. Этим увеличилось тогда мое прежнее уважение к нему как к поэту.

Более сблизился я с Дельвигом в сентябре 1829 года, в Петербурге... Он жил тогда на даче, на Колтовской. Вместе с своим наперсником О. М. Сомовым и с Лангером [4] барон проводил меня по Эрмитажу; гуляли мы вместе по островам; сохранился доселе у меня от него камышек, обточенный водопадом Иматры, где был Дельвиг вместе с Сомовым, посвятившим мне свое туда путешествие. В конце января и феврале 1830 года, когда Дельвиг приезжал в Москву, я виделся с ним в третий и уже в последний раз. Он проживал тогда у тестя своего, М. А. Салтыкова... По такому недолгому знакомству с ним наша переписка с ним была самая скудная и более через посредство Сомова. Помню, как в сентябре я с Сомовым приехал обедать к Дельвигу на дачу; он пришел из библиотеки спустя час. «А мне сложилось четверостишие: Орест, запиши, пожалуйста! (Нет под рукою его книги: я припомнил бы и стихи). Так он ленив был писать. Посылаю Вам *письмецо его ко мне,* при котором приложена была его песня для

1888), который в то время работал над биографией Дельвига, печатавшейся в 1853—1854 гг. в «Современнике». Мы публикуем часть письма, содержащую воспоминания Максимовича о Дельвиге.

[2] С. А. Соболевский (1803—1870) — библиограф, литератор, библиофил, знакомый Пушкина и Дельвига.

[3] Имеется в виду сборник, выпущенный Максимовичем в 1827 г. Позднее, в 1834 и 1849 гг., Максимович издал еще два сборника украинских песен.

[4] См. прим. 8 к письму № 1.

«Денницы» моей «По небу тучи», переписанная баронессою С. М.

Тогда же Дельвиг предпринимал издание своей газеты, о которой прочтете вы P. S. Сомова.

Дельвиг приехал в Москву, кажется, под конец января 1830 года. Вот Вам и те *две строки,* которыми он дал знать мне о своем приезде. Сохранились у меня и «Сев. Цветы на 1830» с надписью: «Милому товарищу альманачному от Дельвига».

Барон был удивительно хорош и в пирушках, когда певал он: «Друзья и Нестор между вами»,— и в домашнем своем быту,— и в Эрмитаже, где он как судья искусства был равен, если не выше был художника и жреца,— словом, это была вполне поэтическая, симпатичная натура, в которой многосторонняя жизнь прекрасно слилась в стройное, спокойное единство.

К числу статей, писанных им для «Литературной газеты», принадлежит и статья о Булгаринском самозванце, которую кажется Булгарин огласил тогда Пушкинскою [5] ⟨...⟩

Вот вам еще *письмо Сомова* о продолжении «Северных цветов» по смерти Дельвига Пушкиным [6].

У Щастного [7], в Киеве, я видел два-три письма Пушкина к Дельвигу и несколько пушкинских автографов, в «Северных цветах» напечатанных (Щастный был разборщиком бумаг, оставшихся по смерти Дельвига) ⟨...⟩

ГПБ, Архив Гаевского, № 171.

---

[5] Речь идет о статье Дельвига «Димитрий Самозванец. Исторический роман, сочинение Фаддея Булгарина. 4 части», напечатанной в «Литературной газете» (№ 14, 7 марта 1830 г., с. 112—113).

[6] Письмо Сомова, о котором упоминает Максимович, было опубликовано в «Русском архиве» (1908, № 10, с. 264—265).

[7] В. Н. Щастный (1802 — не ранее 1853) — поэт, переводчик, знакомый Пушкина и Дельвига.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. С. ПУШКИН И «СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ»

«Альманахи сделались представителями нашей словесности,— писал Пушкин в 1827 г.— По ним со временем станут судить о ее движении и успехах» (XI, 48) [1]. Так и случилось. Белинский позднее отмечал, что в конце 1820-х — начале 1830-х годов «русская литература была по преимуществу альманачною» [2]. «У нас альманахи не подарки для нового года, не сбор повестей и не игрушки типографского и гравировального искусства, но важные книги, представители годового трудолюбия почти всех наших поэтов... — свидетельствовал «Московский телеграф».— Не купив русских альманахов, вы не узнаете, что написали русские поэты в протекшем году» [3]. Еще более решительно оценивал роль альманахов «Телескоп»: «Все богатство, весь сок литературы высасывается ими: не только забытые крохи минувшего собирают они с заботливой попечительностью, даже самая будущность любит обнаруживать себя в них преждевременно, отрывками из неконченных поэм, преднамереваемых романов. Коротко сказать: из наших альманахов можно получить достаточное понятие не только о современном состоянии нашей словесности, но и о будущих ее надеждах!» [4]

---

[1] Ссылки на сочинения и письма А. С. Пушкина даются в тексте по Полному собранию сочинений (М.—Л.: Изд-во АН СССР. 1937—1949). Римской цифрой обозначен том, арабской — страница.

[2] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VIII. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 214.

[3] Московский телеграф, 1829, № 8, с. 478—479.

[4] Телескоп, 1832, № 2, с. 297.

СѢВЕРНЫЕ ЦВѢТЫ

НА 1832 ГОДЪ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

въ Типографіи Департамента Внѣшней Торговли.

1831.

Титульный лист альманаха.

Плетневу
от Пушкина
и покойн. Дельвига
1832
15 февр.
С. П. Б.

Автограф А. С. Пушкина на экземпляре «Северных цветов на 1832 год», подаренном П. А. Плетневу. (Из собрания И. С. Зильберштейна.) Воспроизводится впервые.

Конечно, художественный уровень произведений, печатавшихся в альманахах пушкинской поры, даже в лучших из них, был очень неравноценен. Гениальные творения классиков перемежались на страницах этих изданий с посредственными стихами и прозой малоодаренных и заслуженно забытых авторов. Но ведь именно это и делает альманахи беспристрастным зеркалом, в котором отразилась реальность литературного развития. Они зримо подтверждают, что история литературы не парад бессмертных имен, что великие писатели живут и творят рядом с писателями второй и третьей величины, причем их творческие судьбы порою так переплетены, что и великие произведения не могут быть правильно поняты в изоляции от других, менее значительных литературных явлений.

Лучшие альманахи 1820—1830-х годов объединяли писателей на принципиальной основе. Поэтому они дают незаменимый материал для верной оценки расстановки литературных сил, понимания позиций разных литературных лагерей. Иной поэт сам по себе, может быть, малозначителен, но показательно его участие в том или ином альманахе. Изучать «альманачный» период истории литературы без альманахов невозможно.

Каждый значительный русский альманах самобытен и занимает свое, лишь ему принадлежащее место в истории литературы и общественной жизни. Так, «Полярная звезда» стала литературным спутником движения декабристов. «Мнемозина» была — в отличие от других изданий подобного типа — завуалированным журналом. Она выходила всего один год, но с периодичностью пушкинского «Современника». Ее создатели постарались сблизить ее с журналом даже по фактуре: она вовсе не была похожа на миниатюрные томики «для любительниц и любителей русской поэзии». «Он сбирается издавать журнал,— писал Вяземский Жуковскому о планах Кюхельбекера относительно «Мнемозины»,— но и тут беда: имя его, вероятно, под запрещением у ценцуры»[5]. Пойдя на вынужденный компромисс с «ценцурой», издатели альманаха, однако, постарались сберечь от первоначального замысла все, что возможно.

Своеобразно и место, принадлежащее в истории литературы «Северным цветам». Это был самый долговечный из русских альманахов: он выходил регулярно с 1825 по 1832 год. Трудно перечислить все поэтические шедевры, увидевшие свет на страницах этих

[5] Русский архив, 1900, № 2, с. 190.

миниатюрных, любовно и со вкусом оформленных сборников. Современники единодушны в признании высокого авторитета, который завоевали себе «Северные цветы». Гоголь называл их «благоуханным» альманахом, в котором «цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова» [6]. «Общее мнение признало «Северные цветы» лучшим по содержанию русским альманахом» [7],— писал «Московский телеграф». «Северные цветы» считались в свое время лучшим русским альманахом,— свидетельствует Белинский,— появление этой крохотной книжки в продолжение семи лет было годовым праздником в литературе, к которому все приготовлялись заранее и журнальными и словесными толками» [8]. Когда вышел в свет последний выпуск «Северных цветов», «Телескоп» начал свою рецензию с напоминания, что им принадлежит «неоспоримо первое место между нашими альманахами и по старейшинству существования и по заслуженной именитости издателей. Альманах сей, начатый и продолжаемый в течение нескольких лет покойным бароном Дельвигом, ныне издан А. С. Пушкиным. Обстоятельство, усугубляющее важность, которую «Северные цветы» должны иметь в летописях нашей словесности» [9].

Историко-литературное значение «Северных цветов» многократно возрастает оттого, что ни с каким другим альманахом не оказалась столь тесно переплетена творческая биография Пушкина. Его произведения появлялись в «Полярной звезде», «Мнемозине»,

---

[6] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. ⟨Л.:⟩ Изд-во АН СССР, 1952, т. 8, с. 197.

[7] 1829, № 8, с. 479.

[8] *Белинский В. Г.* Собр. соч., т. VIII, с. 418.

[9] Телескоп, 1832, № 2, с. 297—298.

«Невском альманахе», «Урании», «Альбоме северных муз», «Деннице», «Царском селе», «Альционе», «Новоселье» и других подобных изданиях, но ни одно из них не ознакомило читателя с таким количеством творений великого поэта, как «Северные цветы». Лишь один раз в жизни Пушкин выступил в роли издателя альманаха — когда выпустил в свет «Северные цветы на 1832 год». Это выступление было, разумеется, не случайным. Оно получает достоверное объяснение лишь в связи с предшествующей историей «Северных цветов» и уяснением роли, которую играл в них Пушкин.

Проблема Пушкин и «Северные цветы» распадается, таким образом, на две части. Первая из них предусматривает рассмотрение многолетних творческих контактов поэта со знаменитым альманахом, влияние Пушкина на литературно-эстетические позиции «Северных цветов», а также место, которое этот альманах занял в творческой биографии поэта. Это дало бы возможность расширить существующие представления о воздействии Пушкина на литературное движение второй половины 1820-х и начала 1830-х годов. Вторая часть проблемы — история появления «Северных цветов на 1832 год», которую следует рассмотреть и как продолжение и завершение предшествующего сотрудничества Пушкина в альманахе, и в контексте всей редакционно-издательской деятельности Пушкина. Эта проблема касается и творческой биографии Пушкина, и литературной борьбы в пушкинскую эпоху, и соответствующего этапа истории русской книги.

Обстоятельства, сопутствовавшие появлению «Северных цветов», хорошо известны. После выхода в свет первых двух книжек «Полярной звезды» ее издатели А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев решили отказать-

ся от услуг книгопродавца И. В. Сленина, ранее ведавшего коммерческой и технической стороной дела, и третью книжку напечатали сами. Такой оборот событий лишал Сленина ощутимых доходов, и он уговорил А. А. Дельвига издавать свой альманах, выпуск и распространение которого находились бы в руках книгопродавца. Этот альманах и получил позднее название «Северные цветы».

Дельвиг, ближайший друг Пушкина и Баратынского, поддерживал добрые отношения со многими другими писателями, и ему удалось поставить дело так, что уже в первой книжке «Северных цветов» появились имена едва ли не всех наиболее видных и талантливых литераторов того времени. Бытующее представление о Дельвиге как «беспечном ленивце», отрешенном от житейских забот, человеке добром и честном, но медлительном и непрактичном, не вполне соответствует действительности. Дельвиг сыграл важную роль в истории русской литературы 1820-х годов, причем эта роль определяется не только его произведениями, но и всей его деятельностью, в том числе как издателя «Северных цветов». Обаяние Дельвига, единодушно признаваемое всеми, кто постоянно общался с ним, сделало его центром писательского круга, объединявшего все наиболее прогрессивное в последекабрьской России. Его мнением дорожили. Под его влиянием возникали или менялись творческие замыслы. Нельзя измерить и исчислить все, что дали нашей литературе встречи, беседы, споры в доме Дельвига.

Разумеется, «Северные цветы» обязаны своим появлением не только личным качествам Дельвига и издательской расторопности Сленина. Здесь проявилось прогрессирующее расслоение, размежевание сил в Вольном обществе любителей российской словесности. Ра-

дикальное крыло Общества тяготело к «Полярной звезде», а умеренная часть его членов — к «Северным цветам». Формулировка издательского объявления, появившегося в «Сыне Отечества» и извещавшего, что «Северные цветы», издание книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с «Полярной звездой», заключала в себе глубокий смысл. Речь шла о борьбе не только за авторов и подписчиков, но и об идейном соперничестве, о противостоянии разных тенденций в литературной и общественной жизни.

Катастрофа на Сенатской площади резко изменила ситуацию. С исчезновением «Полярной звезды» именно «Северные цветы» стали центром сплочения передовых литературных сил. Вчерашние противники и конкуренты декабристского альманаха оказались хранителями и продолжателями традиций декабристов. «Северные цветы» печатали не только произведения оппозиционного содержания, но и — подвергая себя огромному риску! — знакомили читателя со стихами дворянских революционеров. Так, в альманахе были напечатаны «Партизаны» Рылеева, «Пощада певца», «Ночь», «Луна», «Смерть» Кюхельбекера, «Тризна», «Луна», «Бал» Александра Одоевского. Власти подозрительно относились к «Северным цветам». Альманах систематически подвергался преследованиям цензуры. Но ни цензурные мытарства, ни вся удушающая атмосфера последекабрьской России не поколебали гордой решимости создателей альманаха, не заставили их склонить голову перед торжеством зла, несправедливости и произвола,— и объясняется это в первую очередь тем, что душой издания неизменно оставался Пушкин.

*

С того дня, как Пушкин узнал о замысле «Северных цветов» (первое упоминание о них в его переписке относится к июню 1824 г.), он проявлял постоянный и неослабевающий интерес к судьбе альманаха. «Торопи Дельвига» (XIII, 123), «Пришли мне Цветов» (XIII, 131), «Жду Цветов» (XIII, 263) — такими просьбами пестрят пушкинские письма. Узнав о наводнении в Петербурге и о том, что во время бедствия пострадали уже отпечатанные экземпляры альманаха, поэт не может скрыть живейшего беспокойства: «Жаль мне Цветов Дельвига, да надолго ли это его задержит в тине петербургской?» (XIII, 122). «Северные цветы» никогда не имели сотрудника, столь деятельного, столь щедрого, как Пушкин. «Граф Нулин», «Моцарт и Сальери», отрывки из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», «19 октября», «Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный», «Анчар», «Бесы» и многие, многие другие шедевры пушкинской поэзии именно здесь впервые увидели свет.

В чем причина этой неизменной заинтересованности судьбой альманаха, можно сказать, надежд, связываемых с его успехом? Вот два характерных отрывка из пушкинских писем. «Ты спрашиваешь моего мнения насчет Булгаринского вранья — черт с ним,— пишет он Л. С. Пушкину.— Охота тебе связываться с журналистами на словах, как Вяземскому на письме. Должно иметь уважение к самому себе. Ты, Дельвиг и я можем все трое плюнуть на сволочь нашей литературы — вот тебе и весь мой совет. Напиши мне лучше что-нибудь о Северных Цветах — выдут ли и когда выдут?» (XIII, 97). В другом письме (к Вяземскому) Пушкин интересуется: «Кстати: зачем ты не

хотел отвечать на письма Дельвига? Он человек достойный уважения во всех отношениях, и не чета нашей литературной санкт-петербургской сволочи. Пожалуйста, ради меня, поддержи его *Цветы* на след. год. Мы все об них постараемся. Что мнишь ты о Полярной?..» (XIII, 166).

Чтобы понять, почему Пушкин был склонен именно «Северные цветы» расценивать как эпицентр всех антибулгаринских сил, следует взглянуть на литературную ситуацию тех лет его глазами, попытаться реконструировать его представление о тогдашней расстановке литературных сил. Мы, рассматривая явления в историко-литературной перспективе, с учетом событий, происходивших позднее, дальнейшей судьбы их участников, последующей эволюции общественных и литературных явлений, оцениваем обстановку тех лет иначе и в чем-то вернее, чем это было доступно даже самым осведомленным и прозорливым современникам. Но чтобы понять их позиции, их взгляд на вещи, следует мысленно отрешиться от нынешнего понимания интересующих нас явлений, выводить заключения лишь из посылок, которыми располагали люди того времени.

Пушкин видел, что Булгарин был одним из постоянных авторов «Полярной звезды»: в трех выпусках альманаха напечатано пять его произведений. В бестужевских обзорах находили себе место похвалы Булгарину, а Рылеев посвящал ему свои думы. В свою очередь, Булгарин часто и усердно изливал любезности издателям «Полярной звезды» [10]. «Полярная звезда» нередко выступала единым фронтом с «Сыном Отечества». Именно со страниц этого журнала Бестужев отвечал

[10] См., напр.: Литературные листки, 1824, ч. 1, № 2, с. 64—65.

на критику, которой был подвергнут его альманах в «Русском инвалиде». Общеизвестно, что в соперничестве «Полярной звезды» с «Северными цветами» «Сын Отечества» решительно поддерживал первую. А для Пушкина «Сын Отечества» был противником. «...Кажется, журнал сей противу меня восстанет»,— писал он Л. С. Пушкину в конце февраля — начале марта 1825 г. «...Мне не годится там явиться как даннику Атамана Греча и Есаула Булгарина» (XIII, 148).

Пушкин жил вдали от Петербурга, и какие-то детали взаимоотношений между столичными литераторами от него неизбежно ускользали, контакты издателей «Полярной звезды» с булгаринским кругом могли представляться ему еще более тесными, чем это было в действительности, и поэтому он не видел в альманахе Бестужева и Рылеева силы, противостоящей «санкт-петербургской сволочи».

Иное дело — «Северные цветы». Их авторский костяк составляли писатели, чуждые булгаринскому лагерю. Отношения между Булгариным и Дельвигом были настолько напряженными, что однажды едва не привели к дуэли. Само имя издателя было ручательством антибулгаринской ориентации «Северных цветов», и понятно, что Пушкин именно в альманахе Дельвига видел и место и средство сплочения сил, противостоящих и «Атаману Гречу», и «Есаулу Булгарину». В свете всех этих фактов вряд ли можно удивляться тому, как расставлены эмоциональные акценты в письме, где Пушкин привлекает Вяземского к участию в «Северных цветах»: пылкий дифирамб Дельвигу и не без прохладцы сформулированный вопрос: «Что мнишь ты о Полярной?»

Симпатия, которую Пушкин неизменно испытывал к «Северным цветам», конечно, не гарантировала аль-

манах от взыскательной пушкинской критики, и это проявилось сразу после выхода в свет первой его книжки. Она открывалась статьей П. А. Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». Плетнев был одним из ближайших друзей Пушкина. Начиная с 1825 г. едва ли не все издания произведений поэта выпускались при деятельном участии Плетнева. Он активно сотрудничал в «Литературной газете» и в «Современнике», который возглавил после смерти его основателя и первого редактора. Он имел право сказать о Пушкине: «Я был для него всем: и родственником, и другом, и издателем, и кассиром»[11]. Высшим проявлением ответной привязанности Пушкина явилось посвящение Плетневу «Евгения Онегина».

Но добрые чувства, которые Пушкин питал к автору «Письма к графине С. И. С....», не помешали ему дать статье резко отрицательную оценку. Причины неудовлетворенности Пушкина Плетневым станут яснее, если соотнести их со всем, что Пушкин говорил о критике и ее роли в развитии литературы. Состояние критики показывает, по его убеждению, степень образованности всей литературы вообще (XI, 166). Во власти «истинной критики» выработать «общее мнение», дать «истинное направление» словесности (XIII, 261—262). Статьи Бестужева в «Полярной звезде» он «истинной критикой» не признавал. «Что же ты называешь критикою? — писал Пушкин их автору,— «Вестник Европы» и «Благонамеренный»? Библиографические известия Греча и Булгарина? свои статьи? но признайся, что это все не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса. Каченовский туп и скучен. Греч и ты

[11] Пушкин и его современники, вып. XIII, с. 136.

остры и забавны... — но где же критика?» (XIII, 178). Может быть, Бестужев, получив это письмо, и не воспринял дважды повторенное сопоставление его с Гречем как уничижительное, но в устах Пушкина оно не могло не иметь такого смысла.

В убеждении, что у нас нет критики и что она остро необходима для развития литературы, ждал Пушкин, как проявят себя на этом поприще его друзья, сплотившиеся вокруг «Северных цветов»: «наш Плетнев», «наш Дельвиг». Увы! То, что он нашел в статье Плетнева, было немедленно и беспощадно охарактеризовано как «ералашь». «Брат Плетнев! не пиши *добрых* критик! — подчеркивал он.— Будь зубаст и бойся приторности» (XIII, 154). «Письмо к графине С. И. С.» было «доброй критикой» в худшем смысле этого слова. Вместо того чтобы «установить» мнение, которое дало бы «истинное направление» словесности и могло бы почесться «уложением вкуса», вместо сплочения единомышленников и размежевания с недругами, Плетнев предпринял несвоевременную и неумелую попытку нарисовать идиллическую картину расцвета поэзии и тем примирить представителей разных литературных и общественных лагерей. Он благодушно раздавал направо и налево неумеренные комплименты, имевшие эффект, прямо противоположный желаемому: дали оппонентам (в частности, анонимному автору «Второго письма на Кавказ») лишний повод для критических оценок творчества одобренных Плетневым писателей. Судя по тем весьма неполным и отрывочным сведениям, которыми мы располагаем, Пушкин отверг плетневский обзор из-за того, что в нем не проявилась четкая, непримиримая позиция по актуальным вопросам.

После этого провала Плетнев обзоров для «Север-

ных цветов» не писал, и критика — как обращающий на себя внимание элемент содержания — на время ушла из альманаха. Вероятно, это была одна из причин, по которым Пушкин именно в 1826 г. несколько раз говорит о своем стремлении «приняться за журнал», причем журнал несомненно представляется ему средством, способным поднять уровень критики. «Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в роде Edinbourgh Review? Голос истинной критики необходим у нас» (XIII, 261),— пишет он Катенину.

Осенью 1826 г. Пушкин вернулся из ссылки. Его появление в Петербурге ознаменовало начало нового этапа истории «Северных цветов». Отныне он не только их заинтересованный читатель и требовательный критик, не только автор, щедро одаряющий альманах своими произведениями, он его вдохновитель и руководитель. В эти годы Пушкин и «Северные цветы» были, как никогда, необходимы друг другу. Обстановка, которую поэт застал, приехав из Михайловского, была сложной. Хотя влияние Пушкина на русское общество и русскую литературу неизмеримо возросло за минувшие шесть лет, он был теперь гораздо более одинок, чем прежде. Многие из тех, кто в мае 1820 г. провожал его на юг, теперь не могли его встретить. Расстановка сил была иной, сложились новые литературные объединения, новые идейные центры. «Есаул Булгарин» и «Атаман Греч», переметнувшись на сторону правительства, стали сильнее и влиятельнее. «Северная пчела» превратилась в полуофициозное издание. Отмахнуться от «Булгаринского вранья» было невозможно: оно грохотало над страной начальственным басом.

Заметную силу представлял собой «Московский телеграф», журнал, с которым Пушкин связывал когда-то

немалые надежды, но в котором скоро и бесповоротно разочаровался. Ближе поэту был круг любомудров, группировавшийся вокруг «Московского вестника». Но симпатии к ним всегда сочетались с расхождениями, а с течением времени последние все более брали верх. По-настоящему своими были для Пушкина лишь друзья прежних лет — соратники по лицею и «Арзамасу»: Дельвиг, Жуковский, Вяземский, Баратынский. Их сплочéние, усиление их влияния на литературу было для Пушкина целью первостепенной важности, а одно из средств достижения этой цели поэт видел в «Северных цветах». Пока мечты о журнале оставались неосуществленными, единственной трибуной, позволявшей «направлять мнение», отстаивать общественные и литературные позиции пушкинского круга, был альманах Дельвига. Для решения этой задачи «Северным цветам» был необходим профессиональный критик, систематические выступления которого проясняли бы современникам идейно-эстетические позиции альманаха, содержали бы живой отклик на последние литературные события, влияли на тенденции литературного развития. Эту роль взял на себя Сомов.

Личность и деятельность этого своеобразного и одаренного, широко образованного литератора и его взаимоотношения с Пушкиным не раз привлекали к себе внимание[12], но еще не получили достаточно пол-

[12] См.: *Браиловский С. Н.* Мелкие литературные величины «Пушкинской плеяды» [О. М. Сомов].— Русский филологический вестник, 1908, № 4, 1909, № 1—4; *Он же.* Пушкин и О. М. Сомов.— В кн.: Пушкин и его современники, вып. XI, СПб., 1909, с. 95—100; *Данилов В. В.* Литературные материалы и очерки. Варшава, 1908, с. 1—29; *Островская Н. К.* А. С. Пушкин и О. М. Сомов.— В кн.: Пушкин на юге, т. II. Кишинев: Изд-во Штиинца, 1961, с. 319—330; *Кирилюк З. В.* Пушкин и О. Сомов.— «Вiсник Київського унiверситету. Фiлологiя», 1962, № 5, вып. 2, с. 29—36.

ного и всестороннего освещения [13]. Порой предпринимались попытки односторонне отрицательно оценивать Сомова и рассматривать всю историю его взаимоотношений с Пушкиным сквозь призму неприятного эпизода, происшедшего в 1832 г. и приведшего к разрыву между ними. С другой стороны, нередки случаи, когда допускался перегиб и в противоположную сторону.

Сомов впервые привлек к себе широкое внимание в 1821 г., когда появилось его полемическое «Письмо к Марлинскому», подписанное псевдонимом «Житель Галерной гавани» и подвергшее резкой критике стихотворение Жуковского «Рыбак». Покушение на авторитет признанного главы русских романтиков ошеломило литературные круги и вызвало ожесточенную полемику, но будущее показало, что Сомов был прозорливее своих оппонентов. Его статья явилась предвестием перемен в отношении к Жуковскому. Встретивший ее в штыки Бестужев вскоре сблизился с Сомовым. Сомов сотрудничал в «Полярной звезде», одно время даже жил вместе с ее издателями. После восстания 14 декабря он был арестован, и хотя его через некоторое время освободили, он остался в глазах правительства подозрительным человеком.

В пору сотрудничества в «Полярной звезде» Сомов враждебно относился к альманаху Дельвига. Вскоре после наводнения он злорадно писал Рылееву, что «Северные цветы» «подмокли в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут» [14]. Но в первой половине 1827 г.

---

[13] См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л.: Наука, 1966, с. 218. См. также: *Вацуро В. Э.* Пушкин в общественно-литературном движении начала 1830-х годов/Автореф. канд. дисс. Л., 1970, с. 7.

[14] *Рылеев К. Ф.* Сочинения и переписка. СПб., 1872, с. 341.

он сблизился с Дельвигом и приобщился к изданию его альманаха. Как явствует из писем Сомова к В. В. Измайлову, в январе 1827 г. Сомов намеревался сам издавать альманах и приступил к сбору материалов для этой книги [15]. Однако к июню, как сообщает Сомов, было принято решение «соединиться набором и изданием альманаха с б. Дельвигом, я отдал ему всю готовую у меня прозу, которую он и увез с собой в Ревель ⟨...⟩ Альманах наш будет под тем же заглавием «Северные цветы». Б. Д. сам, отъезжая на целое лето, предложил мне соединиться изданием. Это и лучше: вместе можно будет общими силами и лучше выбрать и скорее издать; надеюсь, что дело наше ничем не задержится» [16].

В деятельности Сомова как сотрудника «Северных цветов» проявились как достоинства этого человека, так и его недостатки. Он был искренне привязан к Дельвигу и предан ему, вел кропотливую работу, без которой альманах не мог бы существовать, был энергичен, настойчив, неутомим, переписывался с авторами, просил, напоминал, благодарил и вновь просил и таким образом немало содействовал высокому художественному уровню многих появлявшихся в «Северных цветах» материалов. Письма Сомова, публикуемые в данном издании, дают читателю колоритное и достоверное представление об этой его деятельности.

Но вместе с тем Сомов был человеком лично слабым, способным на беспринципные поступки, к тому же он постоянно нуждался, цеплялся за заработки. В 1827—1829 гг. он совмещал сотрудничество в альманахе Дельвига и в «Северной пчеле» и содейство-

---

[15] Московское обозрение, 1877, № 23, с. 284.
[16] Там же, с. 288.

вал печатанию в «Северных цветах» булгаринских опусов, что вызвало недовольство и сопротивление Пушкина. «У нас Булгарин?..— с возмущением писал Пушкин Дельвигу.— Кстати, Сомов говорил мне о его вечере у Карамзина. Не печатай его в своих Цветах. Ей богу не прилично. Конечно, вольно собаке и на владыку лаять, но пускай лает она на дворе, а не у тебя в комнатах» (XIII, 334). Дельвиг согласился с Пушкиным, и Булгарину пришлось отдать свою статью в «Альбом северных муз», где она и была напечатана под заглавием «Встреча с Карамзиным. (Из литературных воспоминаний)».

Сомов был оригинальным и талантливым беллетристом. Выходец с Украины, превосходный знаток быта и характеров своего родного края, он создавал правдивые, яркие зарисовки, которые обращали на себя внимание читателей и в какой-то мере готовили их к появлению бессмертной книги Рудого Панька. Но, пожалуй, наиболее серьезной частью деятельности Сомова в «Северных цветах» были ежегодные обозрения литературы, регулярно открывавшие альманах на протяжении четырех лет — с 1828 по 1831 г. Обозрения представляют особый интерес, так как в них выражалось мнение не только одного критика, но и определенного литературного круга, и в первую очередь наиболее принципиального представителя этого круга — Пушкина. В пору сотрудничества в «Северных цветах» Сомов систематически общался с Пушкиным [17],

---

[17] «У него [Пушкина.— *Л. Ф.*] часто бывает Сомов» (письмо В. П. Титова к М. П. Погодину.— ЛН, т. 16/18. М., 1934, с. 694); «Сомов и Пушкин — наши завсегдатаи,— они приходят ежедневно, т. к. это главнейшие сотрудники моего мужа» (письмо С. М. Дельвиг к А. Н. Карелиной.— *Модзалевский Б. Л.* Пушкин. Л.; Прибой, 1929, с. 242).

был постоянным участником бесед, что, конечно, отражалось в сомовских «обозрениях». Он и сам в этих обозрениях ссылался на «замечания людей благонамеренных» (СЦ-1830 с. 4—5) [18], к которым он прислушивается. Поэтому не случайно в оценках иных литературных явлений в позициях Сомова по дискуссионным вопросам много аналогии с оценками и мнениями Пушкина.

В обозрениях российской словесности за 1827 и 1828 гг. Сомов подчеркивает необходимость принципиальных позиций в критике, говорит о том, «чтобы критика имела в виду произведения, а не личность писателя» (СЦ-1829, с. 5). Сравним у Пушкина: «Покаместь мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет» (XIII, 180). Сомов критикует Шевырева, в переводе которого «французские солдаты времен 30-летней войны говорят русские пословицы и даже называются русскими уменьшительными именами» (СЦ-1829, с. 11); критикует Погодина: ...«У него немцы средних веков говорят иногда русские народные поговорки» (там же, с. 108). Вспомним замечания Пушкина о «Пленном» Батюшкова: «Русский казак поет как трубадур слогом Парни, куплетами французского романса» (XII, 266)?

Выступая против утверждений «Московского вестника», по мнению которого Баратынский «более мыслит, нежели чувствует в поэзии» (СЦ-1829, с. 16), Сомов говорит: «Здесь или явное нежелание признать достоинства поэта или умышленное недоразумение».

---

[18] Ссылки на материалы, опубликованные в «Северных цветах», даются в тексте с использованием условных сокращений, указанных на с. 396.

Баратынский — «творец многих элегий, дышащих чувством истинным и глубоким» (СЦ-1829, с. 17). Высокую оценку получает «Бал», где изображен «пылкий и гордый характер модной прелестницы из лучшего круга общества, и характер сей является в живой, шумной и разнообразной картине большого света» (там же, с. 106). Эта оценка вполне соответствует известному мнению Пушкина о Баратынском — поэте, который «мыслит по-своему правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» (XI, 185), и пушкинскому пониманию «Бала», которое нашло отражэние в его статье о поэме, полемичной, как и у Сомова, с точкой зрения «Московского вестника» (XI, 74—76).

Об «Обозрении русской словесности», опубликованном И. В. Киреевским в «Деннице», Сомов писал: «Несмотря на некоторую странность выражения, статья сия наполнена мыслями зрелыми и суждениями справедливыми» (СЦ-1831, с. 32). Почти буквально то же говорил и Пушкин: «*Обзор* г. Киреевского сделает большое впечатление не потому, что мысли в нем зрелее (что, впрочем, неоспоримо, несмотря на слишком систематическое умонаправление автора), но потому только, что некоторые из его мнений выражены резко и неожиданно» (XI, 103).

Сомов решительно полемизировал с критикой, которой подверглась седьмая глава «Евгения Онегина». И Пушкин собирался не оставить эту критику без ответа, о чем свидетельствует его «Проект предисловия к VIII и IX главам «Евгения Онегина» (VI, 539 и сл.). Высокая оценка деятельности Н. Бичурина, критика «Истории русского народа» Полевого, восхищение идиллиями Дельвига, «Илиадой» в переводе Гнедича, одобрительное отношение к «Юрию Мило-

славскому» — всему этому нетрудно найти аналогии в статьях, заметках, письмах Пушкина.

Вряд ли был во второй половине 1820-х годов критик, в статьях которого обнаруживалось столько оценок и суждений, соответствовавших мыслям Пушкина. Но Пушкин не оставил ни одного одобрительного отзыва об «Обозрениях» Сомова. «Разбор *новой пиитики басен* — вот критика!» (XIII, 205). Статья Киреевского о «Борисе Годунове» и о «Наложнице» — «истинная критика» (XV, 9). Кроме Катенина, «нет у нас критика» (XIII, 262).

Но, может быть, это естественно? Пушкин, видимо, ощущал, что статьи Сомова светят отраженным светом. Как уже отмечалось, статьи Сомова выражали позиции определенного литературного круга — в этом их историко-культурное значение. Но вместе с тем они далеко не имеют той печати индивидуальности, которая характеризовала ранние критические выступления Жителя Галерной гавани. Не эта ли досада, вызванная «обезличенностью» Сомова, звучит в письме Пушкина к Вяземскому: «Скучно издавать Газету одному с помощию Ореста, несносного друга и товарища. Все Оресты и Пилады на одно лицо» (XIV, 61). Планируя издание альманаха на 1832 г., Пушкин решил отказаться от этого, уже ставшего традиционным для «Северных цветов», материала.

До 1829 г. Сомов сотрудничал в «Северных цветах», не порывая с Булгариным и его изданиями. Обстоятельства, при которых произошел его полный переход в лагерь Пушкина и Дельвига, представляют значительный интерес. Это событие оказалось не только переломным моментом в биографии Сомова, но и важным фактом истории пушкинских изданий — «Северных цветов» и «Литературной газеты». Наиболее рас-

пространенную версию развития событий изложил в своих воспоминаниях Греч. Но этот рассказ нуждается в существенных коррективах, главным образом хронологического характера, которые и хотелось бы внести.

Вначале Греч говорит о том, как «повредил Булгарину разрыв с благородною партиею нашей литературы: Карамзина, Жуковского, Пушкина». Причины этого разрыва он толкует крайне превратно, сводя все дело к личным качествам и поступкам двух людей: Воейкова и Сомова: «первый повод к тому подал мерзавец Воейков», затем «господствовала на *поле бранном тишина,* но война разразилась вновь в 1829 г., и поводом к ней было увольнение от «Пчелы» одного сотрудника». Этим сотрудником был Сомов. Описав затем, как высокомерен, капризен и груб был Булгарин со своими помощниками, Греч далее рассказывает: «Вдруг в конце 1829 года Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! вон его!» — и действительно объявил ему отставку. Лишенный таким образом средств к существованию, Сомов предложил свои услуги барону Дельвигу, который задумал издавать «Литературную газету», но, по лености и беспечности своей и по непривычке к мелочам редакции, охотно принял его предложение. Вот Булгарин и струсил, видя, что на него поднимается невзгода. Встретясь с Сомовым, в декабре 1829 г., на Невском проспекте, спрашивает:

— Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?

— Правда!

— И вы будете меня ругать?

— Держись!

Это слово, как искра, взорвало подкоп в сердце и в голове Фаддея. Воротившись домой, он сел за пись-

менный стол и написал статью на объявление о «Литературной газете», стал бранить и унижать ее еще до выхода первого нумера» [19].

Многое в этом рассказе вызывает недоверие. Не подлежит сомнению, что причины вражды между Булгариным и писателями пушкинского круга объясняются глубокими и серьезными причинами, а не просто интригами «мерзавца Воейкова» и переходом Сомова в «Литературную газету». И булгаринские инсинуации против Дельвига и Пушкина вовсе не были лишь импульсивной реакцией на слово «Держись!» Неясной представляется и хронологическая канва конфликта, каким его описывает Греч. Булгарин «объявил отставку» Сомову «в конце 1829 года», затем Сомов предлагает свои услуги Дельвигу, Дельвиг их принимает, разрабатывается тактическая линия нового органа — «ругать» Булгарина, до которого доходят сведения об этом, и затем, в декабре 1829 г., происходит встреча Сомова и Булгарина на Невском проспекте и разговор между ними? Произошли ли какие-то хронологические «смещения» в памяти Греча, когда он, через тридцать с лишним лет после описываемых событий, воспроизводил их в своей статье, или он сознательно отступал от истины, сказать трудно, но невольно напрашивается предположение, что события здесь поставлены с ног на голову.

Неверно, что выгнанный Булгариным и оставшийся без средств к существованию Сомов был подобран вовремя подвернувшимся Дельвигом, который привлек его к изданию «Литературной газеты». Как можно заключить из мемуаров А. И. Дельвига, Сомов с са-

[19] *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.—Л.: Academia, 1930, с. 698—700.

мого начала намечался в активные сотрудники нового печатного органа: «хотя Дельвиг по лени своей менее всего годился в журналисты», было принято решение остановиться на его кандидатуре, с учетом того, что он будет получать постоянную помощь со стороны Сомова. А дневник цензора альманаха К. С. Сербиновича содержит даже указание, что Сомов был одним из тех, кому принадлежал сам замысел нового издания, причем замысел этот созрел уже в первой половине ноября 1829 г. 18 ноября Сербинович оставил следующую запись: «Еду к Сомову, он сообщает мне мысль *свою* (курсив мой.— *Л. Ф.*) и Дельвига об издании журнала, в коем участвовали бы Пушкин, Баратынский, Языков etc.» [20]. События развивались быстро (14 декабря Дельвиг получил уже одобренную программу «Литературной газеты»), чем лишний раз подтверждается факт, что к моменту первого разговора с Сербиновичем дело было уже продумано и подготовлено.

Видимо, когда созрело решение создать газету пушкинского круга и Сомов узнал, что он не останется без средств к существованию, он и позволил себе нечто такое, что вызвало гнев Булгарина, а может быть, и намеренно его спровоцировал. Сотрудничество Сомова в «Северной пчеле» было вынужденным, он нуждался в деньгах, которые платил ему Булгарин, но симпатии его были на стороне пушкинского круга. Он, по-видимому, давно тяготился своим межеумочным положением и, как только представилась возможность, поспешил с ним покончить. Акцией Сомова, приведшей к его разрыву с Булгариным, было, по нашему мнению, его «Обозрение российской сло-

---

[20] ЛН, т. 58. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 257.

весности за первую половину 1829 года», написанное в августе 1829 г. Эта дата — август 1829 г.— должна быть зафиксирована в истории «Литературной газеты», так как статья Сомова служит хотя и косвенным, но весьма достоверным свидетельством, что к этому сроку план издания был уже разработан, роли в его осуществлении распределены: ведь только после этого Сомов мог пойти на шаг, после которого дни его сотрудничества в «Северной пчеле» были сочтены. Не исключено, однако, что такое решение было принято Сомовым еще раньше: в конце апреля или в начале мая 1829 г. он пишет письмо Катенину, в котором «отрекается от Булгарина, яко от сатаны» [21].

Сомов в каждом из своих «Обозрений» так или иначе обращался к творчеству Булгарина. Но в разное время оно получало разные оценки. Пока критик совмещал сотрудничество в «Северных цветах» и «Северной пчеле», тон его высказываний был сдержанно уважительным. После разрыва каждая строка, написанная Сомовым о Булгарине, стала враждебной и язвительной. Перемена была настолько резкой, что дала Булгарину повод для язвительной антикритики «Белое и черное, или Семь пятниц на неделе» [22], где были сопоставлены одобрительные оценки из прежних статей Сомова и выпады, которыми эти оценки сменились после разрыва критика с «Северной пчелой». Интересно, что разбор «Ивана Выжигина», появившийся в «Северных цветах на 1830 год», Булгарин в своем фельетоне фактически обошел молчанием, приведя лишь маленький отрывок, не дающий правильного представления об оценке, которую дал роману Сомов.

[21] Русская старина, 1911, № 7, с. 171.

[22] Сын Отечества и Северный архив, 1831, т. XVIII, № 12, с. 313—319.

И сделал так не случайно: оценка не укладывалась в булгаринскую схему. Данная в пору сотрудничества в «Северной пчеле», она должна была бы быть «белой», но оказалась весьма «черной».

Сомов начинает с деклараций своей объективности в подходе к роману: он не имеет ничего общего ни с хулителями, ни с панегиристами «Ивана Выжигина»: «Некоторые судьи литературные утверждали, что сочинение сие есть первый русский оригинальный роман; это несправедливо... Другие критики, пристрастно строгие, ополчились против «Выжигина» и упорно старались отвергнуть у него всякое достоинство. Это также несправедливо: «Выжигин» имеет весьма важное достоинство как *анекдотическая картина* нашего времени, представленная под формою романа. Достоинство сие доказывается необыкновенным его успехом...» (СЦ-1830, с. 85—86).

Задавшись целью рассматривать Выжигина как роман, как произведение искусства, критик приходит к малоутешительным для его автора выводам. «Иван Выжигин как герой романа должен постоянно занимать нас в повести его жизни, следовательно, должен привлечь к себе наше внимание, как лицо характерное», но «его характер нисколько не развертывается» (там же, с. 87, 88). «Заметим,— продолжает далее Сомов,— что почти всем действующим лицам сочинитель дал характеристические названия — подобно подписям на аптекарских банках, как будто для того, чтобы не ошибались, чего в них искать; таковы: Россиянов, Виртутин, Грабилин, Вороватин, Зарезин и пр. и пр. Имена сии в романе крайне скучны именно оттого, что, не разглядывая встречающихся в нем лиц по их поступкам и действиям, наперед знаешь, чем они должны быть» (там же, с. 89).

Поклонники «Ивана Выжигина» ценили его как нравоописательный роман. Сомов не усматривает в произведении Булгарина этого достоинства. «Если станем искать в «Выжигине» картины современных нравов, то увидим, что всякой раз, когда сочинитель касался высшего круга обществ Москвы и Петербурга, черты, схваченные им, были неверны... Москва вообще описана и поделена на разные круги общества не по действительному своему быту, а по идеалу, который создало из нее воображение сочинителя» (там же, с. 90—91).

Столь же малоутешительны оказались для Булгарина и наблюдения Сомова над стилем романа. «...Чувствуя всю слабость завязки, сочинитель хотел поддержать ее необыкновенными приключениями». Увы, «эти романтические средства обветшали уже со времени романов Аббата Прево; и когда в них описания и нравы дальних стран не заключают в себе ничего нового или не представляют живо и ощутительно народности и местности, то средства сии крайне охлаждают занимательность целого, ибо слишком явно показывают, что сочинитель вынуждал свое воображение». Слог романа «чист, правилен, но холоден». «Те из действующих лиц, на которых сочинитель хотел положить печать ума или добродетели, тяжело высказывают свои правила, как будто проповедуют с кафедры на заданную тему» (там же, с. 92—94). Кое-где мелькающие похвалы не меняют общего вывода критика: его «беспристрастное...мнение о «Выжигине» как об романе, как об целом» оказалось отрицательным.

Конечно, критика Сомова выглядит весьма мягкой на фоне того, что позднее напишет о Булгарине Феофилакт Косичкин, но, сопоставляя сомовский и пуш-

кинский отзывы, нетрудно увидеть в них общее — очевидно следствие бесед Сомова с Пушкиным и влияние, которое оказало на Сомова мнение Пушкина. Ведь именно Пушкин говорил, что «Иван Выжигин», бесспорно, более всех достоин был внимания по своему чрезвычайному успеху» (XI, 109). В другой статье (тоже в связи с романом Булгарина) он заметил: «Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию» (XI, 89). Как и Сомов, но намного резче, Пушкин высмеивал «затейливые» имена героев Булгарина: «убийца назван у него *Ножевым,* взяточник — *Взяткиным,* дурак — *Глаздуриным* и проч.» (XI, 207).

Сомов имел все основания полагать, что отзыв об «Иване Выжигине» означает конец его сотрудничества в «Северной пчеле». Именно этим объясняется просьба, с которой он 8 ноября 1829 г. обратился к цензору альманаха К. С. Сербиновичу: «чтобы покамест, до выхода «Северных цветов», суждение мое о «Выжигине» оставалось покамест между нами. Я совершенно уверен в том, что от *Вас* никто не узнает тайн, исповедываемых вам на духу литературными грешниками, от них же первый есмь аз; но Булгарин как-то всегда узнавал прежде печати то, что ему должно было узнать после...» [23]. Опасения Сомова были не беспочвенны. Едва альманах вышел в свет, как «Северная пчела» обрушилась на автора «Обозрения российской словесности за первую половину 1829 года» с серией резких нападок [24].

Приведем еще одно свидетельство, подтверждающее, что Сомов расстался с «Северной пчелой» не потому,

---

[23] Пушкин. Исследования и материалы, т. VI, М.—Л.; Изд-во АН СССР, 1969, с. 293.

[24] Северная пчела, 1830, № 4 /9/1/, № 5 /11/1/.

что разгневанный Булгарин «объявил ему отставку»,— письмо Сомова к Глинке от 22 января 1830 г. Рассказывая о своей жизни в конце минувшего года, Сомов поминает период, который он провел в хлопотах, «оканчивая участие в Сев. Пчеле и С. Отеч., печатая Сев. Цв. и приступая к изданию новой Газеты...»[25]. Таким образом, Сомов, *еще* бывший сотрудником булгаринских изданий, *уже* приступил к изданию «Литературной газеты», чем обрек это сотрудничество на неизбежную и скорую гибель.

Преемственная связь между «Северными цветами» и «Литературной газетой» отмечалась многими исследователями, видевшими в истории альманаха предысторию газеты. Б. В. Томашевский считал, что и сама идея создания «Литературной газеты» обязана своим появлением «Северным цветам». «Литературно-издательский аппарат «Северных цветов»,— писал он,— подал мысль группе писателей, участников альманаха, основать собственный журнал под редакцией Дельвига. Так в конце 1829 г. решено было издавать «Литературную газету»[26]. «Литературная газета» стала даже наследницей материалов, почему-либо не попавших в альманах. Так случилось, например, со статьей М. А. Максимовича «О цветке», о которой Сомов писал ее автору: «Благодарю и очень благодарю вас за прекрасный цветок, но он расцветет уже в парнике «Литературной газеты», ибо проза «Северных цветов» была уже отпечатана»[27]. «Теперь покуда посылаю первую тетрадь «Размышлений и разборов» для на-

---

[25] ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, ед. 397, л. 6.

[26] *Томашевский Б. В.* А. А. Дельвиг.— В кн.: *Дельвиг А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1934, с. 67.

[27] Русский архив, 1908, кн. 3, с. 259.

печатания (как я думаю) в «Северных цветах»...» [28],— писал Катенин Н. И. Бахтину. А когда этот эстетический трактат переместился в «Литературную газету», выражал мнение, что «в «Северные цветы» не попала статья единственно... от медленности» [29]. Перечень подобных примеров может быть продолжен. Авторами обоих изданий были, по существу, одни и те же лица, единство общественно-литературных позиций газеты и альманаха безусловно.

*

14 января 1831 г. не стало человека, с именем которого связано создание и «Северных цветов» и «Литературной газеты». Оба эти детища Дельвига пережили его, хотя и ненадолго. Кем и с какой целью были задуманы «Северные цветы на 1832 год»? Наиболее широко распространенную точку зрения по этому поводу выражает Н. П. Смирнов-Сокольский. Когда Дельвиг умер, пишет он, «у друзей его возникла мысль выпустить альманах «Северные цветы» на 1832 год в пользу семьи покойного. Инициатива принадлежала П. А. Плетневу...» [30]. Менее категоричен комментатор писем Пушкина Л. Б. Модзалевский: «Мысль о том, чтобы «помянуть» Дельвига выпуском новой книжки его альманаха «Северные Цветы» в пользу его семейства, пришедшая, по-видимому, Плетневу, была осуществлена в конце 1831 г.» [31] В другом месте той же книги читаем: «Мысль об издании альманаха возник-

[28] Русская старина, 1911, № 7, с. 179.
[29] Там же, с. 188.
[30] *Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.: Изд-во Всес. книжной палаты, 1962, с. 410.
[31] *Пушкин А. С.* Письма. Под ред. и с прим. Л. Б. Модзалевского, т. III, 1831—1833. М.—Л.: Academia, 1935, с. 187.

ла у Пушкина и Плетнева после смерти Дельвига»[32].

Однако переписка Пушкина и Плетнева показывает, что дело обстояло не совсем так. В первом после смерти Дельвига письме Плетнева к Пушкину, написанном в ночь с 14 на 15 января 1831 г., ни о каком альманахе, естественно, нет речи. Не упоминается о нем и в ответе на это письмо, которое Пушкин отослал Плетневу 21 января. И лишь десять дней спустя, 31 января 1831 г., Пушкин пишет Плетневу: «Бедный Дельвиг! помянем его «Северными Цветами» — но мне жаль, если это будет в ущерб Сомову — он был искренно к нему привязан — и смерть нашего друга едва ли не ему всего тяжеле: чувства души слабеют и меняются, нужды жизненные не дремлют» (XIV, 148). Плетнев ответил на это 22 февраля: «Ты упоминал об издании «Северных Цветов». Это непременно сделать надобно с посвящением Дельвигу. Сомова можно будет вознаградить из выручки такою же суммою, какая приходилась на его долю и прежде» (XIV, 153). Представляется очевидным, что Плетнев говорит здесь об альманахе как о замысле Пушкина — он отвечает на предложение, которое было им получено.

Любопытна и такая деталь: ни у Пушкина, ни у Плетнева план «Северных цветов на 1832 год» пока не связан с идеей материальной помощи семье Дельвига. Все, что имеет отношение к деньгам, касается лишь Сомова. Весь контекст пушкинского письма от 31 января показывает, что замысел альманаха ассоциировался именно с увековечиванием памяти покойного поэта. Здесь же идет речь о замысле Баратынского «написать жизнь Дельвига», о намерении участвовать в его осуществлении, критикуется Гнедич, пославший свои стихи в память Дельвига в «Северную

[32] Там же, с. 342.

пчелу» («как можно чертить анфологическое надгробие в нужнике?» — XIV, 149).

Между тем и Пушкин и Плетнев уже в это время заняты материальным положением семьи Дельвига. Плетнев сообщал Пушкину о пропаже у вдовы поэта крупной суммы денег. Пушкин писал Плетневу о своем обращении к Е. М. Хитрово с просьбой помочь братьям Дельвига и определить их в Пажеский корпус. Но проявления заботы о близких покойного друга пока не связаны с планами издания альманаха в его память. И в письме Пушкина от 26 марта об использовании «Северных цветов» для материальной помощи семье Дельвига нет речи. Здесь сказано только: «Об альманахе переговорим. Я не прочь издать с тобой последние «Северные Цветы» (XIV, 158). Вероятно, мысль о таком использовании подал в одном из не дошедших до нас писем Плетнев, более сведущий в финансово-издательской стороне дела. Пушкин тотчас поддержал эту идею. «Что же твой план «Северных Цветов» в пользу братьев Дельвига?» — спрашивает он 11 июля (XIV, 189). «Твой план» здесь не план издания альманаха (этот план принадлежал Пушкину), а план использования его для помощи братьям покойного поэта. Именно с этого момента идея издания книги и стремление материально помочь Дельвигам сливаются воедино. Об этом узнает С. М. Дельвиг и через М. Л. Яковлева благодарит Пушкина за «благие намерения».

Обращаясь в конце августа к Вяземскому с просьбой принять участие в намечаемом альманахе, Пушкин говорит об этой книге как об издаваемой «в пользу двух сирот» (XIV, 216), в октябре пишет Нащокину: «Я издаю «Северные Цветы» для братьев нашего покойного Дельвига...» (XIV, 237). Именно эту сто-

рону дела, без сомнения, имел в виду и Сомов, когда писал Максимовичу: «Пушкин решил на будущий год продолжать «Северные Цветы» *с благою целью»* [33]. Так же и А. И. Тургенев говорит об альманахе как об «издании в пользу семейства незабвенного Дельвига» (XIV, 238).

Вместе с тем Пушкина не оставляла мысль о том. что собираемый им альманах — своеобразный памятник покойному другу, «тризна» по нем. «Торопите Вяземского,— писал он Языкову,— пусть он пришлет мне своей прозы и стихов; стыдно ему; да и Баратынскому стыдно. Мы правим тризну по Дельвиге. А вот как наших поминают! и кто же? друзья его! ей богу, стыдно» (XIV, 241). О том же говорится и в письме к Глинке: «Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние «Северные Цветы». Изо всех его друзей только Вас да Баратынского недосчитались мы на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего он был связан» (там же).

Из всего этого предоставляется возможным сделать вывод: инициатором издания «Северных цветов на 1832 год» был именно Пушкин [34–35], причем главной его целью было «помянуть» этим альманахом покойного поэта, устроить ему поэтическую тризну, а мысль использовать книгу для материальной помощи семье Дельвига пришла позднее и определила, так сказать, попутную цель издания.

Обстоятельства сложились так, что ни одна из целей не была достигнута в желаемом объеме. Пушкин

[33] Русский архив, 1908, кн. 3, с. 264 (курсив мой.— *Л. Ф.*).

[34–35] Так представлял себе дело и Ю. Г. Оксман. См. его комментарий к неизданным письмам к Пушкину (ЛН, т. 16/18. М., 1934, с. 594).

стремился, чтобы «Северные цветы на 1832 год» и по составу соответствовали идее, которой они были обязаны своим появлением. Он хотел видеть среди авторов книги тех, кто был спутниками Дельвига. Мысль о Дельвиге определяла его отношение к тому или иному предназначаемому для альманаха материалу. По этой причине было отвергнуто «обозрение словесности»: «Кстати ли такое аллилуйя на могиле Дельвига?» (XIV, 189).

Пушкин считал важным, чтобы в альманахе была помещена статья о Дельвиге и чтобы написал ее Плетнев. Однако неоднократные обращения к Плетневу по этому поводу ни к чему не привели, и в прозаической части «Северных цветов» не оказалось ни одного материала, напоминавшего об их покойном издателе. В отделе «Поэзия» появилась подборка из пяти стихотворений Дельвига с кратким издательским предуведомлением, касающимся главным образом их датировки, и несколько стихотворений, посвященных Дельвигу его друзьями: Баратынским, Деларю, Языковым. Но этого было мало. Пушкину хотелось появления обширного материала о Дельвиге — «„подробностей" — изложения его мыслей — анекдотов, разбора его стихов etc.» (XIV, 152) — этому желанию не суждено было осуществиться.

С другой стороны, надежды выручить сколько-нибудь значительную сумму для семьи покойного поэта оказались подорваны бесхозяйственностью и денежной некорректностью Сомова. Правда, Сомов признавал свой долг в 3000 рублей, но признание это, отмечает Ю. Г. Оксман, «последовало после долгих проволочек и уклонения от отчетности». Семья Дельвига так и не узнала, что «вся прибыль от издания последних «Северных цветов» была растрачена Сомовым и что Пуш-

кин вел очень долгую и упорную борьбу за возвращение хотя бы части этих денег» [36].

Восстановить все детали этого дела вряд ли возможно. Даже такой скрупулезный знаток русских альманахов, как Н. П. Смирнов-Сокольский, описывал происшедшее в весьма неопределенных выражениях. Сомов, пишет он, «что-то кому-то не заплатил, чем-то воспользовался сам...» [37]. Но, зная, сколь беззастенчив и бесцеремонен бывал Сомов, можно не сомневаться, что именно он был виновником конфликта.

Приведем и такой пока не привлекавший к себе внимания факт. В конце 1831 г. М. П. Погодин передал через Сомова Е. Ф. Розену какой-то материал, предназначенный для альманаха «Альциона». Материал опоздал, но его, конечно, все равно следовало передать по назначению, так как «Альциона» выходила не последний раз и Розен мог воспользоваться подарком Погодина позднее. Как опытный издатель альманахов, Сомов все это великолепно понимал, тем не менее статью Погодина он оставил себе и написал ее автору следующее письмо:

«СПб, 4 января 1832.

Пушкин благодарит Вас, милостивый государь Михайло Петрович, за Ваш подарок Северным Цветам и посылает Вам экземпляр оных. А я, поздравляя Вас с Новым Годом и тоже благодаря и за то же, присовокуплю, что назначенный вами для б⟨арона⟩ Розена анекдот опоздал, ибо его Альциона была уже тогда в продаже. Анекдот же я оставил у себя до времени, прося Вас позволить мне напечатать оный в литературных сборниках, т. е. 6ти альманахах, коими я заканчиваю прошлое полугодие Лит.. газеты. На-

[36] ЛН, т. 16/18. М., 1934, с. 596.

[37] *Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина, с. 412.

деясь, что Вы не откажете мне в Вашем благосклонном позволении, имею честь быть с совершенным почтением и преданностью.

Ваш покорнейший слуга

О. Сомов» [38].

Розен об этом ничего не знал, а узнав, был глубоко возмущен поведением Сомова. Он написал Погодину:

«Почтеннейший Михайло Петрович!

Вы — кажется — в прошлом году прислали мне статью для Альционы, но г-н Сомов не заблагорассудил отдать мне эту статью, потому что альманах мой уже был отпечатан. Покорнейше да убедительнейше прошу Вас призреть меня в нынешнем году, т. е. прислать мне для альманаха какую-нибудь повесть — хотя небольшую — да пораньше! Благоволите адресовать мне свое даяние в книжный магазин г-на Сленина, в С.-Петербурге, на имя издателя Альционы — это будет гораздо лучше и вернее, чем через чужое посредничество» [39].

Этот эпизод вряд ли нуждается в комментариях. Но если предположить, что поведение Сомова в отношении Пушкина могло быть на том же моральном уровне, что его поведение в отношении Розена, то и реакция Пушкина могла быть лишь одной — и именно той, какова она была, по словам очень осведомленного В. Д. Комовского: «Он (Пушкин.— *Л. Ф.*) разладил с Сомовым за благоразумное присвоение почтенным Орестом Михайловичем денег, которые выручил от изданий «Северных цветов» [40]. Этот факт подтверждался и письмами Греча: «Сомов нагадил

[38] Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 231 (Погодина), Пог/II, п. 50, № 68.

[39] Там же, № 62, письмо от 28 июля 1832 г.

[40] Исторический вестник, 1883, № 12, с. 535.

Пушкину в Сев. Цв. и они размолвили» [41]. «Повторяю, Сомов совершенно отринут Пушкиным и никакого участия ни в чем с ним не имеет» [42].

Кроме двух упомянутых намерений — желания «помянуть» Дельвига и оказать помощь его семье, Пушкин как издатель «Северных цветов на 1832 год» мог преследовать и еще одну цель: не дать распасться авторскому коллективу альманаха, сохранить его как целое, как силу, которая на протяжении ряда лет противостояла булгаринскому влиянию на литературу и журналистику и была способна играть такую роль и в дальнейшем. Документальных свидетельств, закрепивших эти размышления Пушкина, не сохранилось, и мы можем судить о них лишь гипотетически. Но не подлежит сомнению, что деятельность Пушкина как издателя альманаха должна рассматриваться в контексте всей его редакционно-издательской деятельности в начале 1830-х годов.

«Литературная газета» выходила, как известно, до июня 1831 г., но уже задолго до ее прекращения стало ясно, что она не сможет оправдать возлагавшиеся на нее надежды. С лета 1831 до осени 1832 г. тянется исполненная драматизма полоса напряженной борьбы Пушкина за собственную политическую и литературную газету. Таким образом, период, когда собирались, реально создавались «Северные цветы на 1832 год», был для Пушкина заполнен раздумьями о собственном периодическом издании и, следовательно, о материалах, которые могли бы там появляться, об авторах, которые стали бы там сотрудничать. Обе эти стороны

---

[41] Письмо Н. И. Греча к Ф. В. Булгарину от 7 сентября 1832 г.— Пушкин и его современники, вып. V, СПб., 1907, с. 57.

[42] Письмо от 10 сентября 1832 г.— Там же, с. 57—58.

деятельности Пушкина при их очевидном различии не могли быть совершенно обособлены друг от друга.

Наиболее желанны на «тризне по Дельвиге» были те литераторы, на которых Пушкин рассчитывал в дальнейшем как на сотрудников его газеты. Ни письма, ни деловые бумаги Пушкина не содержат перечня этих лиц, но то, какими словами поэт их характеризует, позволяет с достаточным основанием предполагать, кого имел в виду поэт. В письме к Бенкендорфу Пушкин замечал, что разрешение намеченного им издания «обеспечит состояние нескольких литераторов» (XIV, 254). Это выражение, естественно, ассоциируется с позднейшей характеристикой «Литературной газеты» как органа, необходимого «для некоторого числа писателей», не имеющих возможности сотрудничать в московских и петербургских журналах (XI, 89). Но сказанное об авторском коллективе «Литературной газеты», естественно, относится и к авторскому коллективу «Северных цветов». Обещание, что «писатели, помещавшие в продолжение шести лет свои произведения в «Северных цветах», будут постоянно участвовать и в «Литературной газете» [43], было, как известно, выполнено.

Весьма красноречиво и выраженное Пушкиным намерение привлечь к участию в намечаемом им издании оппозиционно настроенных литераторов: «около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся...» (XIV, 256). Здесь, конечно, могли иметься в виду и Баратынский, и Вяземский, и Глинка, и Языков, и другие участники «тризны» по Дельвиге.

---

[43] Литературная газета, 1830, т. 1, с. 1.

Альманах, выпущенный Пушкиным, был самым большим и богатым за всю восьмилетнюю историю «Северных цветов». Его место в ряду наиболее значительных литературных памятников определяется не только его уникальной судьбой, но и необычайно высоким для альманаха количеством литературных шедевров, впервые ставших достоянием читателей после его выхода в свет.

Книга открывалась повестью Батюшкова «Предслава и Добрыня». Сгубленный в расцвете сил неизлечимой болезнью, навсегда лишившийся возможности творчества, Батюшков оставался близок создателям альманаха. С течением времени, с выходом на литературную авансцену новых и в немалой мере чуждых им сил имя и творчество Батюшкова все более становились символом тех ценностей, которые Пушкин и его окружение стремились сохранить и защитить. В прозаическом отделе «Северных цветов на 1832 год» были помещены произведения двух писателей, наследие которых принадлежит к лучшему, что создала русская беллетристика 1830-х годов. В. Ф. Одоевский напечатал здесь новеллу, впоследствии вошедшую в его книгу «Русские ночи», а Лажечников — фрагмент из исторического романа «Последний Новик». Основанный на изучении источников, роман Лажечникова представлял ценность не только как художественное творение, но и как труд историка и этнографа. Глава этого романа, напечатанная в «Северных цветах», смыкалась в известной мере и с «научной» частью прозы альманаха: со статьей Н. Я. Бичурина «Байкал», с рассуждением М. П. Погодина «Нечто о науке», с изящно написанным этюдом М. А. Максимовича «О жизни растений».

Значительный интерес представляет и отрывок из

романа А. В. Никитенко «Леон, или Идеализм». Критик, литературовед, цензор, автор знаменитого «Дневника», являющегося одним из самых ценных материалов по истории русской литературы и общественной мысли XIX в., проявил себя здесь как одаренный и оригинальный беллетрист. Современники говорили об «особенном направлении», которое создаст «Леон, или Идеализм», когда будет завершен. Но эти ожидания не оправдались. Художественное творчество не заняло сколько-нибудь заметного места в дальнейшей деятельности Никитенко. Тем большего внимания заслуживает отрывок, напечатанный в «Северных цветах».

К лучшему, что появилось в прозаическом отделе альманаха, принадлежит и повесть Сомова «Сватовство». Сомов был плодовитым беллетристом, но основная масса его произведений написана на относительно невысоком уровне. «Сватовство» смело можно назвать одной из его наибольших творческих удач. Незатейливый сюжет обработан со вкусом и мастерством. Мягкий юмор пронизывает повествование. Любовно обрисованы быт и нравы земляков Сомова — жителей Малороссии. Сегодняшний читатель, способный оценить «Сватовство» в историко-литературной перспективе, полнее ощутит те особенности произведения, которые могли не привлечь достаточного внимания современников: обращение к теме «маленького человека», гуманизм ее решения, психологическую правдивость характеров, их зависимость от среды, от сформировавших их обстоятельств.

Особое место в «Северных цветах» принадлежит «Думе» Д. Ю. Трилунного-Струйского, и потому что это произведение, напечатанное в прозаическом отделе, представляло собой оригинальное сочетание прозы и поэзии, и потому что именно «Думой» в альманах

вводился еще один пласт материала — публицистика. «Дума» была посвящена памяти греческого государственного деятеля Иоанниса Каподистрия, поборника сближения Греции с Россией. Боязнь усиления русского влияния на Балканах побудила Англию и Францию инспирировать заговор, в результате которого Каподистрия был убит. Расправа с Каподистрия произвела в России ошеломляющее впечатление, и патетическая речь Трилунного о личности и деятельности греческого национального героя, о его мужестве и патриотизме, о его бессмертии выражала чувства его современников. Появление в «Северных цветах» этого материала должно было потребовать от издателей альманаха известных усилий. Весть о трагедии в Навплионе достигла Петербурга 31 октября 1831 г., через три с лишним недели после того, как В. Семенов подписал цензурное разрешение на «Северные цветы». Прозаическая часть альманаха, печатавшаяся первой, скорее всего, находилась уже в типографии. В неизвестные нам точно, но очень сжатые сроки «Дума» была введена в состав сборника.

Нет оснований недооценивать прозу «Северных цветов». Но подлинным сокровищем явился второй отдел книги, где читатель нашел произведения едва ли не всех лучших поэтов пушкинской поры: Жуковского, Дельвига, Баратынского, Вяземского, Языкова, Глинки. Здесь «встретились» видные представители уже ушедшей в прошлое литературной эпохи — И. Дмитриев и А. Шаховской — с теми, чьи никому еще не известные имена будут вписаны в следующую главу истории литературы и общественной мысли, как Н. Станкевич. Были поэты, с творчеством которых связана вся история «Северных цветов», и были авторы, пришедшие в альманах лишь в его последний час.

Были классики отечественной лирики и совершенно неизвестные лица, о жизни и творчестве которых не удается разыскать даже самых общих и приблизительных сведений.

Но при всем богатстве имен, многообразии жанров и стилей первое, что бросается в глаза,— это та недосягаемая высота, на которую над всем напечатанным в альманахе поднимаются произведения Пушкина. Трудно сказать, в какой мере современники отдавали себе отчет в несоизмеримости пушкинских произведений с самыми несомненными творческими достижениями его поэтических спутников, но мы видим ее ясно. «Моцарт и Сальери», «Анчар», «Бесы», «Дорожные жалобы» — каждое из этих произведений было нами много раз читано в собраниях сочинений великого поэта. Но, может быть, чтобы оценить их совершенство в полной мере, надо прочесть их еще раз — и здесь. Здесь, где «Моцарт и Сальери» помещены между «Пастушьим рогом в Петербурге» Розена и «Увядающей розой» Деларю. Здесь, где «Дорожные жалобы» соседствуют с «Возрождением» Трилунного и «Убегающей красавицей» Сомова. И В. Тепляков, и З. Волконская — интересные и достойные внимания поэты. Но когда рядом с их стихами напечатаны «Бесы», то появляется возможность правильнее оценить и их, и Пушкина.

Может быть, «Северным цветам на 1832 год» не довелось стать памятником Дельвигу в той мере, в какой к этому стремился Пушкин. Но они стали несомненным памятником поэзии пушкинской эпохи. Конечно, они не заменят нам сборников стихов отдельных поэтов. Но и эти сборники не подарят читателю тех чувств, которые он испытывает, перелистывая знаменитый альманах. Он сберег для человечества

нетленную частицу художественного мира, к которому оно будет тянуться, может быть, не одно столетие. Не это ли побудило наделенного острой художественной памятью Брюсова дать созданному им в начале XX в. литературному альманаху название «Северные цветы»? Произведения Чехова и Бунина, Блока и Белого соседствовали здесь с публикациями из наследия Пушкина, Тютчева, Фета. Связь времен, ощутимо дававшая себя знать в содержании брюсовского альманаха, закреплялась и словами, напечатанными на его титуле.

Мы не знаем и никогда не узнаем, что думал и чувствовал Пушкин, глядя на выпущенный им альманах. Чувства его были, вероятно, сложны и противоречивы. Сознание выполненного долга, удовлетворение тем, что, несмотря на все трудности и препятствия, удалось отдать «дань памяти нашего друга» (XV, 311), соседствовало с безысходно грустными воспоминаниями. Многое свершилось за восемь лет, протекших с тех пор, как «Северные цветы на 1825 год» вступили в непосредственное соперничество с «Полярною звездою» — «много, много рок отъял...» Пушкин бывал за это время в центре литературной жизни страны и бывал изолирован от нее долгими месяцами ссылки. За это время его и провозглашали кумиром публики, и третировали, едва не оскорбляли. Но всюду и в любых условиях он оставался неотъемлемой частью «дружины», которая — всегда впереди, во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности.

Горстка передовых литераторов, сплотившихся вокруг «Северных цветов», были не только его друзьями, но и товарищами в борьбе, соратниками, которых он вел за собой, его дружиной. Он был душой альманаха все годы его существования, и его рукой были написаны последние строки истории «Северных цветов».

Л. Г. Фризман.

ПРИМЕЧАНИЯ

В Примечаниях приводятся необходимые сведения об отдельных произведениях, напечатанных в «Северных цветах», и об авторском коллективе альманаха. В алфавитном перечне сотрудников «Северных цветов на 1832 год» даны краткие сведения о них, причем главное внимание обращается на связь данного автора с «Северными цветами», на степень его близости с Пушкиным и Дельвигом. Указывается, с какого времени тот или иной писатель начинает сотрудничать в альманахе, и перечисляются все произведения, напечатанные им в «Северных цветах» до 1832 г. Приводятся материалы, освещающие привлечение автора к участию в подготовке альманаха, отношение Пушкина к представленным в альманах произведениям. В текстологическом, историко-литературном и реальном комментарии к произведениям, напечатанным в альманахе, даются сведения о местонахождении автографа, если таковой сохранился, приводятся наиболее существенные отклики современников, в частности рецензентов альманаха, а также самые необходимые разъяснения малоупотребительных слов, выражений, завуалированных намеков, встречающихся в тексте. Примечания к «Отрывку из китайского романа Хау-Цю-джуань» составлены Б. Л. Рифтиным.

Благодарю В. Э. Вацуро за ценные указания, использованные при подготовке комментария, И. С. Зильберштейна — за разрешение воспроизвести пушкинский автограф с экземпляра, который хранится в его коллекции.

ПРОЗА

«Предслава и Добрыня»

Автограф, по-видимому, служивший источником публикации, находится в ПД и имеет зачеркнутую дату «1810 года. Августа-деревня». Рукопись «Предславы и Добрыни» достал для СЦ-1832 Сомов (см. его письмо к Пушкину от 31 августа (XIV, с. 217). По обоснованному предположению Ю. Г. Оксмана, Сомову принадлежит и редакционное примечание к публикации (см. ЛН, т. 16/18, с. 593). Рецензенты СЦ-1832 были единодушны в одобрительной оценке произведения Батюшкова. В «Европейце» отмечались «звучность и чистота языка» (1832, № 2, с. 288). К. Т. писал в «Гирланде», что в «слоге этой повести видна пленительная Муза славного нашего поэта...» (1832, № 3—4, с. 73). «...Поэтическая душа Батюшкова отражается и в сей повести, как во всех его произведениях: нежные, благородные чувствования выражены в оной языком *сладостным* (употребим любимый его эпитет), слогом поэтическим»,— говорилось в «Северной пчеле» (1832, № 18).

[1] *Зимцерла* — богиня зари и весны, культ которой, по мнению некоторых мифологов, существовал у древних славян.

[2] *Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.*— Только истинное прекрасно, любезна одна лишь истина (*франц.*).

[3] *Такова любовь при рождении, таковы и наши любовники.* В автографе далее следует зачеркнутый текст: «Между тем слава о Владимире гремела во всех концах земли Русской. Капища упали: лучезарный крест сиял на храмах, в которых мирный фимиам и бескровные жертвы курились пред истинным богом».

[4] *Биармия* — древняя северная область на берегу Белого моря, сказочная страна скандинавских саг.

[5] *Болгары были магометанского исповедания* ⟨...⟩ (*и об этом упоминает Нестор*). *Соч.*— Речь идет о византийском императоре Михаиле III (856—867),

о котором в «Повести временных лет» за 858 г. имеется следующая запись: «Царь Михаил отправился с воинами на болгар по берегу и морем. Болгары же, узнав об этом, не смогли противостать им, попросили их крестить и обещали покориться грекам. Царь же крестил их князя и всех бояр и заключил мир с болгарами» (Повесть временных лет. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1950, с. 214). Далее (запись за 915 г.) говорится, что болгарский царь Симеон (893—927) «захватил Адрианополь, который первоначально назывался городом Ореста — сына Агамемнона» (там же, с. 228).

6 *Гридницы* — помещения, где находились гридни — телохранители древнерусских князей.

7 *Баснословный Термодон* (Фермодонт) — река, впадавшая в Черное море, в устье которой была расположена столица амазонок — Фемискара (греч. миф.).

8 *Тул* — колчан.

9 *«Мифология славян» г. Кайсарова* — Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1813), филолог, публицист, поэт, издал в 1804 г. книгу «Versuch einer slavischen Mythologie» (на рус. яз.: «Славянская и российская мифология». М., 1810).

10 *Иверни* — осколки.

11 *Знич* — бог огня. Его культ, по мнению некоторых мифологов, существовал у древних славян.

Opere del cavaliere Giambattista Piranesi

‹Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези. *Итал.*› — рассказ В. Ф. Одоевского.

Д. Пиранези (1720—1778) — итальянский архитектор и художник.

По первоначальному замыслу Одоевского этот рассказ должен был открывать задуманный им философский цикл «Дом сумасшедших». Позднее, когда этот цикл преобразовался в книгу «Русские ночи», «Opere...» в значительно переработанном виде составил часть «ночи третьей». В рецензии «Телескопа» отмечалось, что произведение Одоевского «есть прекрасный рассказ, которого, впрочем, истинный смысл уга-

дать довольно трудно» (1832, ч. 7, № 2, с. 300). Подобного мнения был и рецензент «Северной пчелы»: «Статья искусно написанная, хотя цель оной скрыта под напроницаемым покровом» (1832, № 18). Зато «Московский телеграф» счел это произведение украшением прозаического отделения альманаха. «Это рассказ о каком-то поэтическом безумце, достойный кисти Гоффмана» (1832, ч. 43, № 1, с. 116). Рассказ принадлежит к тем произведениям Одоевского, в которых Белинский видел «глубокое миросозерцание п благородный юмор», где «форма дышит красками вдохновенной поэзии, мысль мощно охватывает душу читателя и высказывается резко и определенно» (Полн. собр. соч., т. V, с. 65).

[1] «Этот артист, не найдя применения редким талантам, которыми он был одарен, увлекался тем, что рисовал воображаемые здания, громоздил строения на строения и изображал архитектурные массы, для возведения которых были бы недостаточны труды многих веков и доходы нескольких царств». Роско. «Жизнь Льва X» (*франц.*).

[2] *Роско* Уильям (1753—1831) — английский историк. Цитируемая книга «The life and pontificate of Leo X» вышла в Ливерпуле в 1805 г.

[3] *Rosarium Арнольда де Виллановы* — «Rosarius philosophorum» — сочинение испанского алхимика Арнольда Виллановануса (1235—1312).

[4] *Дюкре-Дюмениль* Франсуа Гильом (1761—1819) — французский писатель, автор сентиментальных романов, пользовавшихся успехом в России. Многие из них были переведены на русский язык.

[5] *Поповский* Николай Иванович (1730—1760) — второразрядный поэт и переводчик, ученик М. В. Ломоносова.

[6] *Фрерон* Эли Катрин (1719—1776) — французский писатель и критик, заслуживший скандальную известность нападками на Вольтера, Руссо, энциклопедистов.

[7] *Лагарп* Жан Франсуа (1739—1803) — французский драматург и теоретик литературы.

[8] *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель.
[9] *Жанлис* Мадлен-Фелисите Дюпре де Сент-Обен (1746—1830) — французская писательница.
[10] *Скотский лечебник* — по-видимому, имеется в виду книга И. Б. Фишера «Скотной лечебник» (М., 1774; 2-е изд.: М., 1778).
[11] *Амбодик* (Максимович Нестор Максимович, 1744—1812) — профессор акушерства и автор книг на медицинские темы.
[12] *Bonati Thesaurus medico-practicus undique colectus* — «Боната. Сокровищница, либо Словарь отовсюду собранных медико-практических знаний» (*лат.*). По-видимому, имеется в виду медицинский справочник, вышедший в Женеве в 1761 г. Правильное название: «*Bonetus Theophilus.* Polyathes, sive Thesaurus medico-practicus» (*Бонетус Теофилус.* Полиат, или Медицинский практический словарь).
[13] «*Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam. 1673*» — «Достоверный отчет для природных голландцев о событиях, происшедших в деревнях Бодеграф и Сваммердам. 1673 г.»
[14] *Эльзевир* — голландская книгоиздательская фирма XVII в., продукция которой стала настолько популярна, что эльзевирами называли и книги, выпущенные фирмой.
[15] «*Hortus sanitatis, Jardin de dévotion les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares ésprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de Dictionnaire*» — «Сад здравия, сад благочестия, цветы красноречия, выбранные в форме словаря из библиотек лучших авторов для выражения любовных страстей лиц обоего пола» (*франц.*).
[16] *Альды* — знаменитые итальянские книгопечатники XV—XVI вв.
[17] «Virgilius ex recensione Naugerii» — «Сочинение Виргилия, изданное Науджером» (*лат.*).
[18] *Виньола* (Бароццио Джакомо; 1507—1573) — итальянский архитектор.
[19] «*Жизнь игрока*» — мелодрама французского драматурга Виктора Дюканжа (1783—1833).

[20] «Chevalier Giambatista Piranesi, célebre architecte, m. en. 1778» — «Кавалер Джамбатиста Пиранези, знаменитый архитектор, умер в 1778 г.» (*франц.*).

[21] *Пантеон* — имеется в виду памятник-пантеон папе Юлию II, сооруженный в 1545 г.

[22] *Вечный жид* — еврей Агасфер, обреченный, по легенде, на вечные скитания.

[23] *Пилястра* — выступ в стене в виде части встроенного в нее четырехугольного столба.

Байкал

Автограф находится в ПД, подписан «Н. Б.» Ниже подписи есть помета: «*продолжение впредь*». Здесь же, на последней странице автографа, Бичурин написал Сомову следующее письмо:

«Милостивый государь Орест Михайлович. Я уже на горячих Турханских водах. Хотя здесь озабочен делами по должности, со всем с тем надеюсь с каждой почтой посылать вам что-нибудь. С следующей почтой получите поездку к Турханским водам и самое описание сих вод. Прошу вас только не печатать ничего моего без строгой выправки. Кланяйтесь от меня всем знакомым, коих пересчитывать поимянно считаю излишним. Прощайте. Остаюсь ваш покорнейший слуга Бичурин.
Июля 13
1831
Горячеводск.

Ивану Васильевичу Сленину особливый поклон от меня лично» (ПД, Архив А. С. Пушкина, ф. 244, оп. 3, ед. 19, л. 4 об.). Спустя два месяца, 13 сентября 1831 г., Бичурин писал Сомову «...К концу года надеюсь еще доставить к вам две или три статейки» (ПД, ф. 93, оп. 3, № 126). Эти обещания Бичурин, по-видимому, выполнил, так как 26 января 1832 г. Сомов писал Н. М. Языкову: «В этом пакете посылаю Вам, почтеннейший Николай Михайлович, целую тетрадь замечаний О. Иакинфа с его же письмами, из коих некоторые нужны вам будут для соображений...» (ПД, 1493/VII, с. 11, л. 8). Речь идет о возможности опубликовать названные материалы в «Европейце», журна-

ле, который издавал приятель Языкова И. В. Киреевский.

Критика была единодушна в положительной оценке «Байкала». «Телескоп» отмечал, что это произведение «коротко, но написано слогом чистым, занимательным и показывает в нашем знаменитом ориенталисте наблюдательность, богатую сведениями и опытностью» (1832, ч. 7, № 2, с. 299). «Простота изложения, при величии описываемого предмета, делает сильное впечатление на ум и душу», — говорится в рецензии «Московского телеграфа» (1832, ч. 43, № 1, с. 116).

[1] *Хинезист* — синолог, исследователь Китая.

Клапрот Генрих Юлий фон (1783—1835) — востоковед, путешественник, профессор, преподавал азиатские языки в Париже.

Отрывок из китайского романа «Хау-Цю-джуань», т. е. «Беспримерный брак»

Опубликованный в «Северных цветах» отрывок из китайского романа представляет собой перевод полутора глав из бытового романа «Хао цю чжуань» — «История счастливой четы» («Хау-цю-джуань» — устаревшая транскрипция). Роман этот был написан, видимо, во второй половине XVII в.[1] Автор его скрылся под псевдонимом Минцзяо чжунжень. Наиболее раннее сохранившееся ксилографическое издание его, выпущенное печатней Дучусянь, датируется ориентировочно 1683 г.[2] (один экземпляр этого издания хранится в библиотеке Британского музея в Лондоне, другой в Пекинской библиотеке в Китае, третий в Синологическом отделении ИНИОН в Москве — из собрания Императорской российской дипломатической миссии в Пекине). Это первый китайский роман, ставший известным в Европе. В начале XVIII в. англичанин Джеймс Вилкинсон, долгие годы живший в

[1] См.: *Сунь Кай-ди.* Чжунго тунсу сяошо шуму («Каталог китайской простонародной прозы»). Пекин, 1957, с. 140.

[2] См.: *Лю Цунь-жэнь.* Луньдунь соцзянь Чжунго сяошо шуму тияо (*Liu Ts'un-yan.* Chinese popular fiction in two London libraries). Тайбэй, 1974, с. 314.

Кантоне, перевел первые три части (цзюаня) на английский язык, а последнюю, четвертую часть — на португальский язык. В 1719 г. он вернулся в Англию, но до своей смерти в 1736 г. так и не издал его. После его смерти рукопись попала к известному английскому литератору Бишопу Пэрси, который отредактировал ее, перевел последнюю часть с португальского на английский и издал роман в Лондоне (первое издание не датировано, второе — 1761 г.[3]). В 1766 г. одновременно в Лейпциге и в Лионе появились соответственно немецкий и французский переводы этого романа, сделанные с английского[4]. Немецкий перевод X. Мурра привлек к себе в 1790-х годах внимание Шиллера и Гете[5]. Кто-то из русских китаеведов тоже заинтересовался этим романом (скорее всего независимо от наличия западных изданий) и выполнил его полный перевод. Отрывок из этого перевода был передан в альманах писателем, критиком и журналистом О. М. Сомовым (1793—1833), который 4 января 1832 г. писал Максимовичу: «У меня есть целый китайский роман, переведенный с китайского; отрывок из него помещен в Сев. Цв. Жду отца Иакинфа Бичурина, чтобы роман сей пересмотреть вместе, проверить с ним (ибо у барона Шиллинга есть китайский и манчжурский списки оного) и тогда выпущу в свет вполне» («Русский архив», 1908, № 10, с. 268). «Отрывок из Китайского романа, весьма замечательный», Сомов предлагал через Н. М. Языкова И. В. Киреевскому для журнала «Европеец» (см. письмо Сомова от 26 января 1832. ПД, 1493/VII, с. 11, л. 8 об.). Однако полный русский перевод «Хао цю чжуань», выполненный с

---

[3] См.: *Чэнь Цюань.* Гэдэ юй Чжунго сяошо (Гёте и китайская проза).— В кн.: «Гэдэ яньцзю» («Исследования о Гёте»). Шанхай, 1940, с. 286; *M. Davidson.* A List of published translations from Chinese into English, French and German. Ann Arbor, 1952, part I, c. 6.

[4] См.: *M. Davidson.* Op. cit., c. 5—6.

[5] См.: *Чэнь Цюань.* Указ. соч., с. 286; *он же.* Чжунго чуньвэньсюэ дуй дэго вэньсюэ-ды инсян (Влияние китайской художественной литературы на немецкую литературу). Тайбэй, 1971, с. 18—19.

китайского оригинала, так и не был издан у нас в стране. Вместо него в том же 1832 г. появился перевод этого романа под названием «Гаю-Киу-чуэнь, или благополучный брак. Китайский роман в четырех частях». Пер. с франц., т. 1—4. М., типография Лазаревых, 1832—1833. Издание это представляет собой перевод с того самого французского перевода, выполненного М. А. Эйдусом, который основывался на английском переводе Вилкинсона (приведенный в СЦ отрывок см. в этом русском издании, т. 2, ч. III, гл. VIII со с. 129 и далее, включая часть гл. IX со с. 139 по с. 161). Анонимный перевод, помещенный в СЦ, не был отмечен в библиографических работах по русскому китаеведению, включая фундаментальную «Библиографию Китая» П. Е. Скачкова (М., 1957). Первое упоминание о нем сделано в канд. дис. Д. И. Белкина «Концепция Востока в творчестве А. С. Пушкина» (М., 1970).

Помещенный в СЦ анонимный перевод не совсем точен, в нем нередко сокращены диалоги, местами нарушена последовательность описания действий. Не всегда верна и транскрипция. Так, фамилия главного героя читается не Тей, а Те, дядя девицы Бин-синь зовется не Шуй-жунь, а Шуй-юнь (жунь, возможно, какое-то диалектальное произношение). Некоторые другие расхождения в переводе (см. комм. к с. 51, 53) в принципе могут объясняться другой редакцией текста романа, хотя в науке о других редакциях «Хао цю чжуань» ничего не известно.

Конец XVI — начало XVII в. можно назвать временем создания и расцвета любовного романа в Китае, который развивался в основном в рамках шаблонной сюжетной схемы, герои его также были традиционны по своему типу. Такая сюжетная схема была весьма популярна для китайских драм XIII—XIV вв. Красивый, одаренный юноша влюбляется в прекрасную девушку, а затем, преодолев различные жизненные препятствия и успешно сдав государственные экзамены, необходимые для получения чиновничьего поста, женится на ней. Так строится и сюжет данного романа «История счастливой четы». В нем повествуется о судьбе талантливого юноши Те Чжун-юя и красавицы — мудрой девицы Шуй Бин-синь. Они — дети

высокопоставленных чиновников, но отцы их в результате козней своих врагов — придворных, оказываются в немилости. Молодые люди сочетают в себе талант с красотой, т. е. соответствуют традиционным китайским представлениям о гармонии красоты внешней и внутренней. Символичны их имена и фамилии. Фамилия юноши — Те означает «железо», а девушки — Шуй — «вода». Вода и железо нейтральны по отношению друг к другу, и, следовательно, их брак в соответствии с древней теорией взаимодействия пяти стихий (воздух, земля, дерево, вода, металл) должен быть идеальным. Наличие в имени героя иероглифа «юй» — «нефрит» — должно символизировать красоту и высокие моральные качества юноши, а имя девушки — Бин-синь (букв. «Ледяное сердце») — есть символ решимости и бесстрашия. В изображении героев легко увидеть и явное влияние фольклорной стихии. В образе молодого ученого Те в романе неожиданно угадываются черты традиционного эпического богатыря: он чрезмерно силен, задирист настолько, что отец, боясь скандалов, удаляет его из столицы в другой город, прекрасно владеет тяжелой палицей, которую родители вынуждены прятать от него. Неожиданную силу проявляет Те Чжун-юй и в помещенном в СЦ отрывке, он один побеждает своих противников, подобно богатырю или герою китайских авантюрных эпопей. Шуй Бин-синь в романе оказывается решительной и смелой, напоминая не столько барышню-затворницу из богатого дома, сколько бойкую героиню авантюрной сказки или городской повести. Ее уловки, с помощью которых она отвергает домогательства Го-гунцзы — барича Го, тоже вполне в духе плутовской новеллы (тут и подмена брачного гороскопа, и посылка вместо себя в дом жениха своей некрасивой и злой двоюродной сестры, и пустой паланкин с мешком камней вместо девушки). Идеальным главным героям автор противопоставляет в романе отрицательных персонажей, главным образом чиновников, которые признают только силу богатства и власти и которые крайне падки на взятки. Автор выводит и образы отцов города, готовых пойти на любое нарушение закона, лишь бы потрафить сыну могущественного

придворного — молодому Го, и помочь ему принудить девушку к замужеству, и более изощренных в кознях сановников и евнухов, которые разлучают женихов и невест, отправляют невинных людей в ссылку или тюрьму, оговаривают своих недругов перед государем. Даже императорский цензор, к которому обращается с жалобой Те Чжун-юй, боится наказать сынков этих крупных чиновников. Только сам император, лицо в этом романе бесспорно положительное, как и в других произведениях тогдашней повествовательной прозы, наказывает всех отрицательных персонажей и благословляет брак Те Чжун-юя и Шуй Бин-синь. Несмотря на такую благополучную концовку, роман «Хао цю чжуань» дает довольно верное представление о жизни позднефеодального Китая, чем и объясняется интерес к нему в Европе XVIII—XIX столетий.

1 *...Гун есть в Китае титул достоинства 2-го класса.*— В древнем Китае князья делились на пять своеобразных степеней достоинства: высший — хоу, второй — гун и т. д., однако слово гун-дзы (в совр. транскрипции гунцзы), соответствующее русскому «барич», едва ли имеет к нему прямое отношение.

2 *...сын Дутана* — дутан — должность в старом Китае, «оберпрокурор» (см.: Палладий и П. С. Попов. Китайско-русский словарь. Пекин, 1888, т. 1, с. 621).

3 *...отец почти Чын-сян* — чынсян (в современной транскрипции чэнсян) — канцлер, первый министр.

4 *...билет,* т. е. своеобразную большую карточку, писавшуюся на красной бумаге.

5 *Я, меньшой ваш брат...*— обычная для старого Китая форма уничижения, когда из почтения говорящий называет себя младшим братом того, к кому он обращается.

6 *засвидетельствовать... почтение Джин-джу* — в тексте оригинала (изд. 1683 г.), которым мы пользовались, такого титула нет; что он означает, выяснить не удалось.

7 *Ян-сянь-тан* — букв. «зал воспитания безмятежности»; что реально скрывается за этим названием, найти не удалось. По-видимому, это название каби-

нета для занятий какого-то князя, так как перед этим понятием в тексте оригинала стоит имя князя Дагуай-хоу.

8 ...*Я из Дайминфу* — точнее Даминфу — город в тогдашней провинции Чжили, ныне в провинции Хэбэй.

9 ...*Не воскрес ли Лю-Хеу* — в тексте Цзинь-хоу — цзиньский князь. Под этим титулом известно несколько человек, однако никто из них не прославился своей красотой. Скорее всего речь идет о знаменитом поэте эпохи Цзинь (III—V вв. н. э.) Пань Юэ, красота которого настолько поражала женщин, что они ходили за ним следом и даже бросали в него фруктами, чтобы обратить на себя внимание. Откуда в переводе Лю-Хеу, не ясно.

10 ...*Отнести к Ань-Юаню* — Аньюань в данном случае не имя. Так называлось присутственное место в каждой провинции, где вершил свои дела императорский цензор-ревизор. В тексте романа название присутствия употребляется и как обозначение соответствующей ревизорской должности.

11 ...*поехал в город Суй-дэ-фу* — в тексте, однако, указан город Дунчанфу — в эпоху Мин и Цин главный город провинции Шаньдун.

12 ...*лан* (в современном произношении лян) — мера веса в старом Китае, серебро играло роль денег; один лан серебра равнялся 37 г.

Б. Л. Рифтин.

Страшный суд.
(Отрывок из романа «Последний Новик»)

«Последний Новик» был издан полностью в 1832 г. Сомов откликнулся на этот роман панегирической рецензией, напечатанной в январе 1833 г. в «Северной пчеле». Лажечников в письме от 30 января 1833 г. благодарил Сомова за эту рецензию (ПД, ф. 93, он. 3, ед. хр. 701).

1 *В** — в отдельном издании романа — Владимир.

[2] *Осьмиконечный крест* — религиозный символ раскольников, не признававших четырехконечного креста, принятого официальной церковью.

[3] Эпизод, повествующий о раскольниках, которые легли в гроб в ожидании конца света, имеет историческую основу (см. книгу Андрея Иоаннова «Полное историческое известие о древних стригольниках...» (СПб., 1799, с. 121—122).

[4] *Киновиарх* — монах так называемого общежительного монастыря.

О жизни растений

Под загл. «О степенях жизни в земном мире» перепечатано в сборнике статей М. А. Максимовича «Размышления о природе» (М., 1833, с. 57—76). Здесь нет примечаний, имеющихся в тексте альманаха, и несколько изменено посвящение: «М. П. В... .ль». Сомов писал Максимовичу об этой статье: «Пушкин и я челом вам бьем за столь живую «Жизнь растений», которая служит прелестным pendant ‹дополнением — *франц.*› некогда столь ярко блеснувшему цветку. Здесь столько же поэзии, и еще более разнообразной, хотя предмет заключает в себе более глубины философической. Я перечитывал несколько раз еще до печати и не могу довольно начитаться. Аллегория царевны так мила, так ловко вставлена, что целое кажется полною прекрасною поэмою» («Русский архив», 1908, № 10, с. 265). В другом его письме говорится: «Статью вашу, кому я ни читал,— слушали и пальчики обсосали. Земляк мой колдун! Он истины науки умел так связать с прелестями поэзии, что иголочки не подточишь. Читаешь, наслаждаешься и вместе впиваешь понятия точные» (там же, с. 267). В «Телескопе» о статье Максимовича говорилось: «Она представляет в себе прекрасный образец соединения философической глубины мыслей с поэтической лучезарностью изложения» (1832, ч. 7, № 2, с. 298). Но в «Северной пчеле» статья получила отрицательную оценку, очевидно, продиктованную раздражением, которое вызвала у Булгарина статья Максимовича «Обо-

зрение русской словесности 1830 года», опубликованная в «Деннице» на 1831 г.

[1] *И мир ему закрыт и нем!* — цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII).

[2] *Иванов день* — 24 июня, когда церковь отмечает рождество Иоанна Крестителя. Ночь на 24 июня также называется Ивановской, в эту ночь устраиваются народные праздники — Купало.

[3] *Вещая Пифия* — жрица-прорицательница (греч. миф.).

[4] *Гамадриады* — нимфы, живущие на деревьях.

[5] *Дафна* — нимфа, возлюбленная Аполлона, превращенная богами в лавр.

[6] *Кипариссий* — по древнегреческому сказанию прекрасный юноша, нечаянно убивший любимого оленя и страдавший в тоске по нему. Был превращен в кипарис, который считался деревом траура и рос на кладбищах.

[7] *Гиацинт* — прекрасный юноша, любимец Аполлона. По древнему сказанию бог ветра Зефир из ревности направил брошенный Аполлоном диск в голову юноши. Из крови умершего вырос цветок гиацинт.

[8] *Нарцисс* — красавец, увидевший по легенде в реке свое отражение, влюбившийся в него и умерший от любви. Боги превратили его в цветок нарцисс.

[9] *Адонис* — финикийское божество, олицетворявшее умирающую и воскресающую растительность.

[10] *Клития* — нимфа, дочь Океана, превратившаяся в гелиотроп (растение с душистыми цветами).

[11] *Линней* Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель и натуралист.

Сватовство

Автор — О. М. Сомов. «Телескоп» писал, что эта повесть «довольно растянута и не везде естественна» (1832, ч. 7, № 2, с. 300). Еще резче высказался рецензент «Московского телеграфа»: «Г. Сомов и здесь верен своей роле. Под фирмою какого-то Сластёны выдает он нам длинный и вялый рассказ о каком-то малороссийском чудаке; уверяет нас, что это не его

сочинение, и потчует нас учеными примечаниями к рассказу Сластёны, объясняя слово *писанка* и прочее» (1832, ч. 43, № 1, с. 116). С другой стороны, рецензент «Гирланды» выделял повесть Сомова как «едва ли не лучшую из всех помещенных в альманахе» (1832, № 3—4. с. 73). В «Северной пчеле» о «Сватовстве» было сказано: «Повесть, приятно и местами забавно рассказанпая, хотя немного и порастянута. Правильно написана и другая статья того же писателя: «Живой в обители блаженства вечного». Но не ищите в них ни мыслей, ни высоких чувствований: их не найдется в сих статьях, как и во всех сочинениях Г-на Сомова...» (1832, № 19). Сомов писал по этому поводу Языкову (26 января 1832 г.): «Булгарин хочет, чтобы у моей Матрены Якимовны были мысли, а у Савелия Дементьевича Пересыпченка чувствования. Каковы? врут себе спустя рукава, да и концы в воду!» (ПД, 1493/VII, с. II, л. 8).

[1] *Гей, гей, та нигде правды дити...* — цитата из поэмы И. П. Котляревского «Энеида» (ч. 3).

[2] *Dulce fumus patriae* — сладок дым отечества. Латинская пословица, восходящая, по-видимому, к стиху Овидия (Письма с Понта, I, 3, 34). Была взята эпиграфом к журналу «Российский музеум» (1792—1794), в русском переводе варьировалась в стихах Державина, Батюшкова, Вяземского, широко известна как цитата из «Горе от ума» (д. I, явл. 7, слова Чацкого).

[3] *И любят хлопотать, где их совсем не просят* — цитата из басни Крылова «Муха и дорожные».

Дума

«Дума» принадлежит Д. Ю. Струйскому и содержит отклик на смерть греческого государственного деятеля Иоанниса Каподистрия (1776—1831). Активный участник греческого восстания, а с апреля 1827 г. — президент Греции, Каподистрия был сторонником дружбы с Россией. 9 октября 1831 г. он пал жертвой заговора, инспирированного противниками русско-греческого сближения.

[1] *Алкид* — Геракл.

Важный спор

Рецензент «Северной пчелы» писал об этом произведении: «Род, избранный сим писателем (Ф. Н. Глинкой.— *Л. Ф.*), не многим нравится, хотя во всех его аллегориях есть и мысли и чувствования, прикрытые иногда темным, а иногда и вовсе непроницаемым покровом» (1832, № 19).

Отрывок из романа «Леон, или Идеализм»

«Был вечером у Плетнева...— записал Никитенко в дневнике 23 сентября 1831 г.— Был неизменный наш собеседник по средам, Сомов, который теперь очень озабочен по случаю издания «Северных цветов». Я обещал ему по его просьбе отрывок из моего «Леона». Видимо, в ответ на эту любезность Пушкин вскоре передал Никитенко через Сомова «поклон и сожаление», что не встретился с ним у Плетнева (см.: *Никитенко А. В.* Дневник. Л., Гослитиздат, 1955, т. 1, с. 109, 110). В рецензии «Телескопа» говорилось, что отрывок из романа Никитенко «обнаруживает новое, особенное направление, доселе неиспытанное еще нашим романом,— направление философское» (1832, ч. 7, № 2, с. 299). Дальнейшая судьба романа неизвестна.

1 *Фонтенель* Бернар Ле Бовье де (1657—1757) — французский философ и писатель.
2 *Жанлис* — см. прим. 9 на с. 344.
3 *Ляпунов* Прокопий Петрович (ум. 1611) — политический деятель.
4 *Corpus juris civilis* — собрание римских законов, так называемый «Кодекс Юстиниана».

Нечто о науке

Рассуждение написано в 1829 или 1830 г. (см. об этом замечание самого Погодина: РОБЛ Пог/I, п. 21, ед. 46, л. 7), а перед публикацией в СЦ-1832 доработано. Беловой автограф, находящийся в РОБЛ, не включает подзаголовка статьи («Отрывок из письма к графи-

не N») и связанного с этим подзаголовком первого абзаца статьи, а также двух последних абзацев: «Сие целое начинается Естественною историею...» и т. д. В РОБЛ находится также черновик статьи, где карандашом приписано заглавие, подзаголовок: «Отрывок из письма к графине N. N.» и первый абзац. Здесь имеются и заключительные два абзаца, причем последний выглядит так: «Отсюда начинается человеческая История, которая должна сказать, что было с человечеством. Она должна взять человека на предоставленном ему поприще, в том состоянии ⟨...⟩» (там же, л. 3). Продолжение, которое было, по-видимому, написано на следующем листе, отсутствует.

Рецензент «Телескопа» писал о статье Погодина: «Мысли сии вполне верные и основательные, представлены ясно, последовательно и, что особенно важно, проникнуты теплотой одушевления, которая должна найти доступ не только к уму, но и к сердцу любознательной графини» (1832, ч. 7, № 2, с. 298). Совершенно иначе расценил ее «Московский телеграф»: «В «Нечто» не сказано о главном: что сначала надобно выучиться писать и мыслить, а потом уже рассуждать и поучать других. Иначе кто станет учиться из такого писания, которое наполнено детскими ошибками против логики и грамматики?» (1832, ч. 43, № 1, с. 115). Отрицательно отозвался о статье и рецензент «Северной пчелы».

1 *И были люди, которые приближались к сему блаженному состоянию, которые с горы Хорива видели землю обетованную. Хорив* — библейская гора, с которой Моисей по преданию провозгласил свои законы. Люди, о которых говорит Погодин,— провидцы.
2 *Линней* см. прим. 11 на с. 353.
3 *Добровский* Йосеф (1753—1829) — чешский просветитель, один из основателей славяноведения и деятелей чешского Возрождения.
4 «...*на Добровского, который в языке славянском, со всеми его тончайшими звукоизменениями, слышал небесную гармонию».* К этому месту статьи в беловом автографе имеется следующее примечание: «Я написал это об Добровском в 1830 или 29 году,

размышляя об его познании славянского языка, удивляясь его главам о корнях слов в грамматике церковного наречия. Каково же было мое восхищение, когда я ныне в Праге нашел отрывок из его письма 1797 года, в котором он выражал совершенно эту мысль; когда я увидел, что мое предположение об чувствованиях, произведенных в нем наукою, было справедливо». Далее идет выписка из этого письма Добровского, сначала в оригинале, на латыни, а затем в русском переводе: «Кажется мне, что я отыскал в языках нечто высшего происхождения, нечто божественное, о котором рассуждать теперь не время. Я разумею ту часть корней, которая происхождением своим одолжена не звукоподражанию, но древнейшему преданию и, может быть, первому человеческому учреждению, об основном начале коего спорят философы, не признающие откровения» (л. 7).

[5] Необычное и неожиданное завершение статьи вызвало насмешку рецензента «Дамского журнала»: «Которая и проч! скажите, как же было воздержаться? Если княгиня N подвержена хандре, то, верно, осталась благодарна за «Нечто о науке» (?)» (1832, ч. 37, № 8, с. 127).

Живой в обители блаженства вечного

В рецензии «Московского телеграфа» говорилось, что это произведение «замечательно только тем, что г-н Сомов признает себя автором оного. Однако ж согласитесь, читатели, что надобно много ума, так искусно *разнообразить пустоту,* называя свои изделия то находками, то подарками, то отрывками?» (1832, ч. 43; № 1, с. 116).

[1] Эпиграф — цитата из стихотворения Баратынского «Последняя смерть».

ПОЭЗИЯ

К Морфею

Рецензент «Северной пчелы» считал, что это лучшее из стихотворений Дельвига (1832, № 19).

Сонет

В 1827 г. Дельвиг был в Ревеле, и впечатления, полученные во время этой поездки, отразились, как замечал В. П. Гаевский, «в сонете русскому флоту, написанном под влиянием величественного зрелища морских маневр» («Современник», 1854, т. 47, № 9, отд. III, с. 9). «В сем сонете,— писал рецензент «Гирланды»,— приятно видеть новое доказательство той легкости, с которою покойный поэт владел языком русским. Если не ошибаемся, то, кажется, мы еще не имели стихотворения, написанного таким метром: стопа анапеста с тремя ямбами».

Русские песни

Датируются 1828 г. на основании указания в предисловии, что эти произведения «хранились в портфеле сочинителя более двух лет». Эта датировка косвенно подтверждается и выражениями «за турецкой за границей», «закавказские молодцы», в которых можно видеть отклик на войну России с Турцией (1828—1829). Автограф обеих песен — ПД. «...Та поэзия, которою исполнены русские песни Дельвига, ближе к русскому сердцу; в этих песнях отзывается гармоническим отголоском задумчивая грусть и поэтическая простота наших русских мелодий»,— говорилось в рецензии «Европейца» (1832, № 2, с. 287). «Кто не знает, с каким чувством и искусством (невольные рифмы!) писал русские песни барон Дельвиг? ...Сии новые две служат тому также новым убедительным доказательством» («Гирланды», 1832, ч. 3, № 1, с. 20). Н. М. Языков считал песню «Как за реченькой слободушка стоит» лучшим из всего напечатанного в альманахе (ЛН, т. 58, с. 106).

Отрывок

Датируется предположительно концом 1820-х годов. Автограф — ПД. В предисловии говорилось, что «отрывок заключает в себе хор духов из драмы. . .» По предположению Б. В. Томашевского, речь идет о незаконченной драме «Ночь на 24 июня» (см. *Дельвиг А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1959, с. 333).

В. А. Жуковскому

В. А. Жуковский откликнулся на подавление польского восстания 1830—1831 гг. двумя стихотворениями: «Русская песнь на взятие Варшавы» и «Русская слава», которые послал И. И. Дмитриеву. В ответном послании И. И. Дмитриев вспоминал, что и он воспевал в свое время аналогичные события: «погром и стон Варшавы», т. е. подавление польского восстания 1794 г. войсками Екатерины II («Фелицы», как она названа по известной оде Державина). Вначале стихотворение Дмитриева имело несколько отличную редакцию и в нее были внесены поправки. «Прошу вас, любезнейший Василий Андреевич,— писал Дмитриев Жуковскому 21 октября 1831 г.,— переменить и в моих два стиха: вместо «глас побед» поставить «звук побед», а вместо «прозябает» — «цвесть будет» (*Дмитриев И. И.* Сочинения. СПб., 1893, т. II, с. 301). Это пожелание поэта было при подготовке СЦ-1832 выполнено. В рецензии «Европейца» говорилось, что стихи Дмитриева «напомнили нам живо его прежнюю поэзию» (1832, № 2, с. 288). Эти стихи «обрадовали и восхитили» также рецензента «Гирланды» (1832, № 3—4, с. 75).

Ответ И. И. Дмитриеву

Является ответом на послание Дмитриева «В. А. Жуковскому по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы», также помещенное в СЦ-1832 (см. с. 147). До напечатания Жуковский послал эти стихи Дмитриеву при письме от 16 октября 1831 г. В этом тексте 4 и 5 строфы читались так:

В досужий час, венком из роз обвитый,
Касался их Эрот своей стрелой,
И резвые внимали им хариты,
Склоняся на руку главой.

Игривую шутливость пробуждала
Камена в них, согласная с певцом,
И баснями гостей его пленяла
Перед домашним камельком.

(«Русский архив», 1866, стлб. 1634). В ГПБ имеется черновик стихотворения, где стих 6 читается: «К твоим струнам коснуться не дерзнет», а 14 — «По ним бренчал Эрот своей струной». Здесь же приписано карандашом заглавие «К И. И. Дмитриеву», под которым стихотворение позднее печаталось в собраниях сочинений Жуковского.

«Этот «Ответ» Жуковского исполнен самых свежих красот, самого поэтического чувства и самого трогательного воспоминания»,— говорится в рецензии «Европейца» (1832, № 2, с. 288).

И. И. Дмитриев откликнулся на «Ответ» Жуковского в письме к Пушкину от 1 февраля 1832 г.: «Я еще прочитал прекрасные стихи его уже в печати, с прежним чувством умиления и благодарности за себя и моего друга» (ПСС, т. XV, с. 9).

[1] *Ты нам воспел: «как буйные титаны* ⟨...⟩ *и где они?»* — Перефразированная цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Глас патриота на взятие Варшавы» (1794). Под титанами (героями греческой мифологии, восставшими против богов) разумеются участники польского восстания 1794 г., а под Астреей (богиней справедливости) — Екатерина II.

[2] *Лежит венец на мраморе могилы* ⟨...⟩ *святое имя: Карамзин.* — Строфа вызвала возражение у рецензента «Московского телеграфа»: «...Не чересчур ли много восторга в другом стихотворении, где тот же поэт заставляет нас *молиться могиле Карамзина*, которого он называет *святым»* (1832, ч. 43, № 1, с. 117).

Пастуший рог в Петербурге

По свидетельству самого Розена, это стихотворение получило одобрительную оценку Пушкина и Гнедича (см. «Русский архив», 1878, кн. 2, с. 48).

Моцарт и Сальери

Пьеса была задумана и, вероятно, начата в Михайловском. Д. В. Веневитинов сообщал о ней М. П. Погодину 11 сентября 1826 г. (см. «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX. Пг., 1814, с. 73). В Болдинскую осень поэт вернулся к работе над этим произведением и завершил его, как свидетельствует помета под текстом, 26 октября 1830 г. Рукопись не сохранилась. Среди бумаг Болдинского периода был обнаружен лишь лист с надписью (заглавием) «Зависть». Существует предположение, что это вариант заглавия трагедии, впоследствии отвергнутый Пушкиным.

В основу пьесы легла легенда о том, что Антонио Сальери (1750—1825) из зависти отравил Моцарта. Виновность Сальери не была достоверно доказана и по сей день вызывает споры. П. А. Катенин обвинял Пушкина в том, что он, не имея «верного доказательства», своей трагедией «чернил перед потомством память художника» (см. ЛН, т. 16—18, с. 641). Видимо, в целях защиты от подобных обвинений Пушкин написал в 1832 г. следующую заметку: «В первое представление Дон Жуана, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист, все обратились с негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы — в бешенстве, снедаемый завистью. Салиери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца» (ПСС, т. XI, с. 218).

«Моцарт и Сальери» был поставлен в петербургском Большом театре 27 января и 1 февраля 1832 г. Пушкин был в это время в столице, но присутствовал ли он на спектакле, неизвестно. В «Московском телегра-

фе» о «Моцарте и Сальери» писали с восторгом: «Всякий пересказ оледенил бы такое создание, которое выше всяких слов» (1832, ч. 43, № 1, с. 117). Рецензент «Северной пчелы» отметил, что «новое превосходное произведение нашего поэта ⟨...⟩ производит сильное впечатление». О лирических стихотворениях Пушкина в этой рецензии сказано, что они «превосходны каждое в своем роде. Давным давно не было печатано таких прелестных стихов Пушкина, как все сии пиесы. Ожил!» (1832, № 20).

1 *великий Глюк* — Глюк Кристоф Виллибальд (1712—1787), австрийский композитор, с именем которого связана оперная реформа, отвечавшая передовым устремлениям в канун Великой французской революции. Сальери принадлежал к оперной школе Глюка, которая вела борьбу с неаполитанской оперной школой, во главе которой стоял Николо Пиччини (1728—1800), пользовавшийся в свое время большой популярностью.

2 *Ифигении начальны звуки.*— «Ифигения в Авлиде» (1774) — опера Глюка.

3 *voi che sapete.*— Ария Керубино из оперы Моцарта «Женитьба Фигаро».

4 *фигляр презренный... Пародией бесчестит Алигьери.*— В этих словах можно слышать отголосок полемики вокруг Данте в XVIII столетии, которая живо интересовала Пушкина.

5 *Гайден* — Гайдн Иосиф (1732—1809), австрийский композитор.

6 *«Реквием»* был заказан Моцарту управляющим графа Вальзегг, который хотел выдать творение великого композитора за собственное произведение.

7 *«Тарар»* (1787) — опера Сальери на текст Бомарше.

8 *Что Бомарше кого-то отравил?* — В XVIII в. в Париже бытовала сплетня, обвинявшая Бомарше в отравлении двух своих жен.

9 *Бонаротти?* — Существовала легенда, согласно которой Микеланджело умертвил натурщика, чтобы естественнее изобразить смерть Христа.

Увядающая роза

В отдельном издании стихотворений Деларю («Опыты в стихах», 1835) помещено под заглавием «Роза».

Тьма

Автор стихотворения — Д. Ю. Струйский. Вольный перевод стихотворения Байрона «Darkness» (1816). Известно в переводе И. С. Тургенева.

Иран

В отдельное издание стихотворений (1837) вошло без подзаголовка и с другим вариантом последнего стиха:

Поэт любви томится зноем.

1 *Сей лев Ислама, меч пророка!* — Герб Персии включает изображение льва с саблей в лапе.

Царскосельская статуя

Автограф с пометой: 1 октября ‹1830 г.› — ПД. Автограф имеет заглавие «К статуе в Ц. С.» и вариант 2 стиха: Дева печально сидит, праздный держа черепок. Описана статуя в Царскосельском парке —скульптура П. П. Соколова изображает Перетту из басни Лафонтена «Молочница и кувшин».

Отрок

Автограф с пометой 10 октября ‹1830 г.› — ПД. Варианты автографа:

1–2 Мрежи рыбак расстилал по брегу студеного моря
Отрок отцу помогал. Отрок, оставь рыбака

4 Будешь ловитель умов, будешь подвижник Петру

Отрок-рыбак — М. В. Ломоносов.

Рифма

При публикации стихотворения в СЦ была, по-видимому, допущена опечатка в 5 стихе, который следует

читать:

Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.

В ПД находятся набросок стиха:

Грустен бродил Аполлон с О ⟨лимпа изгнанный⟩ ⟨?⟩ —

и беловой автограф с пометой 10 октября ⟨1830 г.⟩
Варианты белового автографа:
5а Милую дочь. Сама
б Милую дочь Ее приняла сама Мнемозина
6а Дева при ней возросла в хоре младых аонид
б Резвая дева росла в хоре младых аонид
в И воспитала потом в хоре своих дочерей
7 Матери чуткой подобна, послушная памяти строгой
8а Музам мила на земле рифмой зовется она
б Музам мила, меж богов рифмой зовется она.

[1] *Эхо* — бессонная нимфа, по легенде обреченная скитаться и повторять чужие слова.

Труд

Стихотворение связано с завершением работы Пушкина над «Евгением Онегиным» и датируется последними числами сентября 1830 г.

Ныне утраченный автограф, опубликованный Н. О. Лернером («Весы», 1908, март, с. 60), содержал следующую редакцию стихотворения:

Миг вожделенный настал — окончен мой труд многолетний.
Тихо кладу я перо, тихо лампаду гашу.
Что ж не вкушает душа ожидаемых ею восторгов?
Что ж непонятная грусть тайно тревожит ее?
Или, свой подвиг свершив, я стою как ⟨нрзб⟩ поденщик,
Плату приявший свою, чуждый работе другой,
Или жаль мне труда, молчаливого спутника жизни,
Друга Авроры златой, — друга Пенатов святых?

1 *Меч Тирфинг* (Tyrfingr) —волшебный меч, упоминаемый в скандинавских сагах. Он убивал каждого, кто пытался его обнажить.

Возрождение

Автор стихотворения Д. Ю. Струйский.

Дорожные жалобы

Датируется 1829—1830 гг. См.: *Пушкин А. С.* Собр. соч. М., 1974, т. II, с. 589.

Авторизованный печатный текст (вырезка из СЦ-1832), включенный в цензурную рукопись третьей части «Стихотворений А. Пушкина» (ПД), содержит исправление ст. 27—28:

О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

В ПД имеется также автограф с пометой: «4 окт» ‹1829 или 1830 г.›, содержащий следующие варианты:

5 Не в Москве, не в Таганроге
7—8 Видно на большой дороге
Умереть мне рок судил

Иль в овраге или в луже
Под обрушенным мостом
Иль на станции где вчуже

Иль в землянке
В сакле в хате под шатром

Или что гораздо хуже
Под горой

9 Иль во рву водой разрытом
10—11а Под обрушенным мостом
Под окованным копытом
6 Под разобранным мостом
На каменьях под копытом

12 На горе под колесом

13—16 Или в грудь шлагбаум влепит
У заставы инвалид

Иль чума меня подцепит
Иль мороз окостенит

16а Под заставой инвалид
б Средь заставы инвалид
в На заставе инвалид

21 Иль в ночи под нож злодею

Иль в ухабе или в луже
Или что гораздо хуже

Иль как Анреп в вешней луже
Захлебнуся я в грязи
У смотрителя в лачуге
Чего боже упаси

Иль в ухабе или в луже
Иль на станции пустой

Или ночью в грязной луже
У смотрителя в избе

Или ночью в грязной луже
Иль на станции пустой
Что еще гораздо хуже
У смотрителя больной

То ли дело братцы дома —
Там покой

То ли дело братцы дома
Книги умные читать
ночью спать

То ли дело быть на месте
Утром чай, а ночью сон
Тайно думать о невесте
Тут друзья со всех сторон

29а Ни толчков ни передряги
б Ни толчков ни остановки
30 Утром чай, а ночью сон

26—28 По Никитской разъезжать
Об отставке о невесте
О деревне помышлять

Долго ль мне роптать на время
На дорожные толчки
То на вздернутое стремя
То на

Долго ль мне роптать на время
На прижимки кузнецов
На подтянутое стремя
На   ямщиков
22 Пост невольный проклинать
29—30 Пред обедом рюмка рома
Ночью сон, а утром чай

[1] *Яр* — ресторан в Москве.
[2] *Мясницкая* — прежнее название улицы Кирова.

Убегающей красавице

Автор стихотворения — О. М. Сомов. Впервые было опубликовано с его подписью и под заглавием «К убегающей красавице» в «Трудах вольного общества любителей российской словесности» (1818, ч. 4, с. 92). Ранняя редакция имела разночтение в двух стихах:

5 Миг жизни быстр — спеши его ловить
7 Люстр, два еще — кто знает? может быть —

Атрибуция стихотворения Сомову была сделана М. А. Васильевым в его статье «Об одном приписываемом Пушкину стихотворении» («Казанский библиофил», 1923, № 4, с. 200—201).

Эхо

Датируется сентябрем-октябрем 1831 г. В печатном тексте (вырезка из СЦ-1832), находящемся в ПД, Пушкин исправил опечатку, вкравшуюся в текст альманаха. Эта опечатка, фигурирующая в перечне замеченных опечаток, попала, однако, по недоразумению в отдел «Другие редакции и варианты» академического издания сочинений Пушкина (ПСС, т. III, с. 879).

Музыка

В отдельное издание стихотворений (1837) вошло с датой: «1830».

Язык очей

Отмечено рецензентом «Московского телеграфа» как содержащее «яркую мысль» (1833, № 16, с. 584), а в другом месте названо «особенно прекрасным» (1832, ч. 43, № 1, с. 117). В «„Языке очей“ говорит язык пиитического чувства»,— писала «Гирланда» (1832, № 5—6, с. 119).

Сестре в альбом

Автор стихотворения — С. С. Теплова.

Песня

В издании «Стихотворения Н. Языкова» (СПб., 1833) датировано: «1831 М⟨осква⟩». В работе В. П. Гаевского о Дельвиге говорится: «„Песня“ написана в воспоминание о Дельвиге и доставлена в альманах вместе с приведенным выше стихотворением Языкова (имеется в виду стихотворение «А. А. Дельвигу», о нем см. ниже, с. 383, 384,— *Л. Ф.*), что подтвердил нам и М. Д. Деларю, принимавший близкое участие в издании последней книжки «Северных цветов». Он сообщил нам также, что из двух стихотворений Языкова Пушкин отдавал преимущество „Песне“» («Современник», 1854, т. 47, № 9, с. 64). В ПД сохранился список «Песни» рукой Сомова, выполненный, очевидно, для публикации стихотворения в СЦ-1832. «Песня» и «А. А. Дельвигу» были пересланы в СЦ Вяземским, который заметил в письме к Плетневу, что Языков «расписался и прекрасно воспел Дельвига» (Изв. отд. рус. яз. и словесности, 1897, т. II, кн. 1, с. 99).

Делибаш

Датируется 14 июня 1829 — 7 сентября 1830 г. Автограф РОБЛ содержит первую редакцию стихотворения:

Перестрелка под холмами
Смотрит лагерь их и наш
Молодцом пред казаками
Вьется красный Делибаш

Делибаш не суйся к лаве
Попадешься на копье
И конец лихой забаве
. . . .
Ты казак за делибашем
Не гонися погоди
Вмиг мы саблями замашем
Будешь будешь впереди

Автограф ПД содержит следующие варианты:

1 Перепалка за холмами
3 На коне пред казаками
5а Эй не суйся к нашей Лаве
6 Эй джигит не суйся к Лаве
7 Вмиг конец лихой забаве
Иль конец лихой забаве
9 Эй казак — не жажди бою
13 Понеслись и в общем крике
15 Делибаш издох на пике

[1] *Делибаш* — турецкий кавалерист, начальник делисов, отчаянных храбрецов, преимущественно выходцев из Боснии и Албании.

[2] *Лава* — конная казачья атака рассыпным строем.

Мирра

Вошло в «Опыты в стихах» (1835) без подзаголовка, без примечаний, с посвящением И. П. Хомутову и Х. Д. Якобсону.

Им

В «Стихотворениях Н. Языкова» (1833) датировано: «1831, М‹осква›» и имеет разночтения в ст. 5—6:

И в разгульном хоре звуков
Целы, счастливы, они

Тоска

[1] Бухарина Вера Ивановна (1812—1902), по мужу Анненкова, поддерживала дружеские отношения с Вяземским и другими русскими писателями.

Лесные войны

Поэма «Дева карельских лесов», два отрывка из которой были отданы Глинкой в СЦ-1832, опубликована полностью впервые в 1939 г.

[1] *Векши* — белки.

[2] *Корба.* Ф. Н. Глинка так пояснял это слово: «Корбами называют здесь (в Олонецкой губернии) самые дикие места в глухих лесах, где ели, сплетая вершины свои, составляют довольно твердый свод над влажно-каменистым грунтом. В сих затишных уютах сохраняется и зимою такая степень теплоты, что чижи целыми стадами ищут там себе убежища» (*Глинка Ф. Н.* Избранные произведения. Л., 1957, с. 273).

[3] *Мантинея* — город в древней Греции, возле которого в июне 362 г. до н. э. произошло сражение между фиванцами и спартанцами. Фиванцами командовал выдающийся полководец *Эпаминонд* (около 420—362 гг. до н. э.). Эпаминонд был создателем тактики т. н. «косого клина»: удар обрушивался прежде всего на фланг противника. Эту тактику имеет в виду Глинка, описывая рать, которая «правильно крылом Крыло противника обходит».

Мой Элизий

Стихотворение навеяно смертью Дельвига, которая глубоко потрясла Баратынского. «Баратынский болен с огорчения»,— писал Пушкин Плетневу (ПСС, т. XIV, с. 147). «...Потеря Дельвига,— говорится в одном из писем Баратынского,— нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений» (*Баратынский Е. А.* Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., Гослитиздат, 1951, с. 496). Рецензент «Гирлянды» отметил, что в „Элизии" Бара-

тынского особенно трогают душу последние четыре стиха, заключающие сию пьесу» (1832, № 3—4, с. 77). В «Северной пчеле», напротив, говорилось, что «„Мой Элизий“ — незначительное альманачное, чтоб не сказать плохое, стихотворение Баратынского» (1832, № 19).

[1] *Элизий* — загробный мир, куда попадают праведники (греч. миф.).

Жестокий призрак

В отдельном издании стихотворений Теплякова это произведение имеет следующий эпиграф:

«There are shades which will not vanish
There are thoughts thon canst not banish».
L. Byron.

Там же дан перевод:
«Есть тени, которые никогда для тебя не исчезнут; Есть мысли, которых ты никогда не изгонишь из своего сердца».

Л⟨орд⟩ Байрон.

Бессонница

В «Стихотворениях Н. Языкова» (1833) датировано: «1831, М⟨осква⟩».

Д. А. Окуловой

Датируется 12 января 1831 г. по указанию Вяземского (см. *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1880, т. IV, с. III).

[1] Окулова Дарья Алексеевна (1811—1865), по мужу Шипова — знакомая Вяземского.

Украинские мелодии

В оглавлении СЦ-1832 это стихотворение названо «Малороссийские мелодии». Правильно, по-видимому, заглавие «Украинские мелодии», так оно помещено и в отдельном издании 1837 г.

Надписи к двум группам творения И. П. Мартоса

Стихи посвящены скульптурным группам Ивана Петровича Мартоса (1752—1835) «Сафо, ласкающая Фаона в присутствии Амура» и «Амур, отогреваемый Анакреоном». Эти группы до нас не дошли.

Анчар, древо яда

Датируется концом августа — 9 ноября 1828 г. Автографы — ПД и РОБЛ. Позднее Пушкин изменил заглавие стихотворения: «Анчар», вместо «Анчар, древо яда», а также внес изменения в два стиха:

5 Его в день гнева породила
33 А князь тем ядом напитал.

Обстоятельства, при которых слово «царь» было заменено словом «князь», детально воссозданы и проанализированы Н. П. Смирновым-Сокольским в его книге «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина» (М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962, с. 297—302). В настоящее время редакция со словом «царь» принята как основная (см. ПСС, т. XVII, с. 25).

Варианты автографов.

Черновой автограф ЛБ

1а В пустыне знойной и глухой
б В пустыне мертвой и глухой
в В пустыне тощей и глухой

2—4а На почве мертвой раскаленной
Анчар, феномен роковой
Растет один во всей вселенной

б На почве зноем раскаленной
Анчар, как верный часовой
Растет один во всей вселенной.

5—8 Природа Африки моей
Его в день гнева породила
И жилы мощные корней
Могучим ядом напоила.

9–12а Яд каплет сквозь его кору
Благоуханною смолою
. . . .

б Яд каплет сквозь его коры
Густой янтарною смолою
Среди полуденной поры
Кипит растопленный от зною.

в Яд каплет сквозь его коры
Густой прозрачною смолою
И средь полуденной поры
Течет растопленный от зною.

13–16 Кругом нет жизни — все молчит
Не движно все — лишь вихорь горный
На древо яда налетит
И вьется прочь уже тлетворный.

17–20а Случайно ль туча оросит
Его листы дождем медвяным
То дождь отравлен на
. . . .

б Случится туча ль оросит
С небес листы его сухие
И дождь стекает ядовит
На корни . . . .

в Случится туча ль оросит
Дождем листы его сухие
И дождь уходит ядовит
С ветвей в пески глухие

г Порой лишь туча оросит
Дождями лист его висящий
И дождь уж каплет ядовит
С его ветвей в песок горящий.

13–16а В пустыню смерти забежав
Гонимый тигр валится
Паря над ним орел стремглав
Летит

б В пустыню смерти забежав
Тигр падший бьется умирает
Паря над ней орел стремглав
Кружась безжизненно спадает

21–24а Но человека человек
Послал к Анчару властным словом
И тот безумно в путь потек —
И возвратился с ядом новым.

б Но человека человек
Послал к Анчару самовластно
И тот за ядом в путь потек
И возвратился безопасно.

в Но человека человек
Послал к Анчару равнодушно
И тот за ядом в путь потек
И возвратился с ним послушно.

33–36 И князь тем ядом напоил
Свои догадливые стрелы —
И смерть пернатую пустил
К соседу в чуждые пределы.

25–32 Принес анчарную смолу
Да ветвь с увядшими листами
И пот — по бледному челу
Струился хладными ручьями.
И скоро весь он изнемог
Он лег на застланные лыки
И умер бедный он у ног
Самодержавного владыки.

Отдельный набросок ЛБ

К нему не ходит гладный тигр
Над ним орел не пролетает.

Черновой автограф ПД имеет эпиграф из трагедии Кольриджа «Раскаяние» (д. I):

«It is a poison-tree that pierced to the inmost
Weeps only tears of poison».

Coleridge.

Есть древо яда, пронизывающее отравой все сокровенное.
Оно плачет лишь ядовитыми слезами.

Кольридж (англ.).

Варианты автографа ПД

В пустыне чахлой и скупой
На почве зноем раскаленной
Анчар как грозный часовой
Стоит один во всей вселенной.

Природа пламенных степей
Его в день гнева породила
И жилы мощные ветвей
И корни ядом напоила —

Яд каплет сквозь кору его
К полудню растопясь от зною
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою —

Кругом нет жизни — все молчит
Недвижно все — лишь вихорь черный
На древо смерти налетит
И мчится прочь уже тлетворный

Да разве туча оросит
Случайно лист его висящий
И дождь уж каплет ядовит
С его ветвей в песок горящий

И тигр в пустыню забежав
В мученьях быстрых издыхает
Паря над ней орел стремглав
Кружась, безжизненный, спадает.

Но человека человек
Послал в пустыню властным взглядом
И тот поутру в путь потек
И на ночь возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями.

Принес и весь он изнемог
И лег на постланные лыки
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом упитал
Свои догадливые стрелы
И смерть пернатую послал
К соседям в чуждые пределы.

[1] *Анчар* — ядовитое дерево, растущее на островах Малайского архипелага. Его соком живущие там племена отравляли стрелы.

К-е К-е Я-ъ

Обращено к Каролине Карловне Яниш (Павловой) (1807—1893) — поэтессе и переводчице. «Два венка», о которых говорится в стихотворении, намекают на эти два рода литературной деятельности К. К. Яниш. В ПД имеется список, датированный — 1831.

[1] *Зеленый лавр поэзии чужой* — Имеется в виду переводческая деятельность К. К. Яниш.

[2] *Вы на златых струнах переиграли Простые звуки струн моих.*— Языков говорит о переводах его стихотворений на немецкий язык, выполненных К. К. Яниш. Вошли в ее сборник «Nordlicht» (1833).

Отрывок из драматической поэмы «Отшельник»

Автором трагедии «Отшельник» («Mnich») был польский писатель Юзеф Коженевский (1797—1863). Щастный был с ним лично знаком и пропагандировал его творчество в России. Перевод «Отшельника» считается одной из наибольших творческих удач Щастного-переводчика. Работу над переводом Щастный завершил к 1830 г. Однако пьеса была запрещена к постановке и на русском языке не ставилась. Отдельным изданием «Отшельник» вышел в 1832 г. См. об этом: *Баскаков В. Н.* Юзеф Коженевский в России.— Из истории русско-славянских литературных связей XIX века. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 328—329.

Володиньке Карамзину

1 Карамзин Владимир Николаевич (1819—1879) — сын Н. М. Карамзина. В его альбоме сохранились стихи Вяземского и других поэтов 1830-х годов.

К незабвенному

Автор стихотворения — Е. А. Тимашева. Рецензент «Гирланды» писал, что это стихотворение «написано отчетливо в отношении к пиитическому искусству, но не совсем верно в отношении к природе» (1832, № 5—6, с. 120).

Отрывок из поэмы «Безымянные, или Дева карельских лесов»

См. прим. к отрывку «Лесные войны» (с. 370).

Леший

Включено в отдельное издание (1837) с ошибочной датой: 1832.

И. В. К.

Обращено к Ивану Васильевичу Киреевскому (1806—1856), критику, журналисту, философу, идеологу славянофильства. Подзаголовок «О П. В.» указывает на брата И. В. Киреевского Петра Васильевича Киреевского (1808—1856). В «Стихотворения Н. Языкова» (1833) включено с датой: «1831, М⟨осква⟩» — без подзаголовка и с следующими разночтениями:

9 Но ее на ложе ночи
15 Упоительных лобзаний

Песнь духов над водами

Перевод стих. Гёте «Gesang der Geister uber den Wassern» (1779).

Полночь

Автор стихотворения Н. Я. Прокопович.

Утешение

Стихотворение предположительно атрибутируется Н. И. Шибаеву.

Элегия

Автор стихотворения М. Д. Деларю.

Анфологическое четверостишие

Памяти А. А. Дельвига Деларю посвятил также стихи «К могиле бар⟨она⟩ Дельвига» и «Полет души».

Любовь

Это стихотворение заслужило единодушные похвалы рецензентов СЦ-1832. Они видели в нем произведение, «согретое истинным пиитическим чувством» («Северная пчела», 1832, № 19), «дышащее поэтическим чувством и обещающее весьма много» («Телескоп», 1832, ч. 7, № 2, с. 303). См. также: «Гирланда», 1832, № 5—6, с. 119—120.

Зима

Вошло в отдельное издание (1837) с датой: «1830».

Моей звезде

Черновой автограф на итальянском языке — ЦГАЛИ. Рецензент «Гирланды» отметил, что в этом стихотворении «ярко светится звезда таланта сей писательницы» (1832, № 5—6, с. 122).

Бесы

Датируется октябрем 1829 — 7 сентября 1830 г. Автографы — РОБЛ и ПД.

После публикации стихотворения в СЦ были изменены два стиха:

[3] Освещает снег летучий
[27] Освещает снег летучий

Из вариантов автографов:

Черновой набросок ЛБ

И за их волнистой дымкой
Месяц
Освещает невидимкой
Вихри снега и метель
И за их волнистой дымкой
Месяц снов ночных
Освещает невидимкой
Пляску вихрей снеговых.

Черновой автограф ЛБ

1–4а Мчатся тучи вьются тучи
Мутно светит им луна
Мчится вьется снег летучий
Ночь мутна

б Мчатся тучи вьются тучи
Тайно светит им луна
Вьется пляшет снег летучий
Мутно небо ночь мутна

в Мчатся тучи вьются тучи
Невидимкою луна
Освещает снег летучий
Мутно небо ночь мутна

4–8а Путник едет в белом поле
Колокольчик дин дин дин
Сердцу грустно поневоле
Средь белеющих равнин

б Тройка едет в темном поле
Колокольчик дин дин дин
Скучно страшно поневоле
Средь белеющих равнин

Перебеленный автограф ПД

Вариант заглавия или подзаголовок — Шалость

5 Едем, едем в чистом поле
7а Страшно сердцу поневоле
б Что-то страшно поневоле
8 Средь белеющих равнин

9–10а Ну, пошел, ямщик! — Нет мочи
Коням, барин, тяжело
б Ну, пошел, пошел! — Нет мочи
Барин коням тяжело
в Ну, пошел! — Нет барин мочи
Слишком коням тяжело
г Гей, пошел! Нет барин мочи
Слишком коням тяжело

12 Всю дорогу занесло
13 Ни пути ни зги не видно
15 Бес ночной нас водит видно
16а И кружим по пустякам
б Да кружит по пустякам
17а Видишь, видишь! как играет
б Посмотри, как он играет
в Посмотри-ка, вон играет
г Посмотри, вон он играет

19а Посмотри — как он пугает
б Видишь — как он пугает
в Как он в сторону толкает
г Вот к оврагу он толкает
д Вот к оврагу он толкает
е Вот теперь в овраг толкает

21–24а Вон — он брежжет искрой алой
Вон — чернеет он избой
Вон —верстою небывалой
Он торчит передо мной...
б Вон — сверкнул он искрой малой
Вон — чернеет он избой
Вон — верстою небывалой
Иль знакомою сосной
в Вон — верстою небывалой
Он торчит передо мной
Вон — сверкнул он искрой малой
И погас во тме пустой....

23–24 Там – сверкал он искрой малой
И погас во мгле пустой
27 Озаряет снег летучий
29а Силы нет кружиться боле
б Сил нам нет кружиться боле

32а Черный пень иль волк?
б Что там черно? пень иль волк?
в Кто их знает? пень иль волк?

33 Вьюга как бесенок плачет
34а Тройка стала и храпит
б Кони стали и храпят

35а Волк поднялся — резво скачет
б Волк уже далече скачет
в Вот уже волк далече скачет
г Волк уж там далече скачет

36а Волчий глаз во тме горит
б В тме глаза его горят
в В тме глаза одни блестят
г Лишь глаза во тме горят

37 Кони снова поплелися
39 Вижу: Вон уж поднялися
От белеющих равнин

Вм. 41—48а Взвыла вьюга — безобразны
Жалобный подъемля свист
Полетели бесы разны
Как летит осенний лист
Вьются, вьются рой за роем
В беспредельной вышине —
Свистом жалобным и воем
Надрывая душу мне...

б Надо мною безобразны
В бледной месяца игре
Повалили бесы разны
Будто листья в ноябре
Мчатся мимо рой за роем
В беспредельной вышине
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

в Бесконечны, безобразны
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны
Будто листья в ноябре
Кто их вызвал? кто их гонит?
Что там жалобно поют?

Домовой отца ль хоронит
Ведьму ль замуж выдают

Между 48 и 49 а
Что за звуки!.. аль бесенок
В люльке охает больной;
Аль мяукает котенок
К ведьме ластится лихой
Али мертвых черти гонят —
Не русалки ль там поют?
Домового ли хоронят
Ведьму ль замуж отдают —

6 Что за звуки!.. аль бесенок
В люльке охает, больной
Или плачется козленок
У котлов перед сестрой
Али мертвых черти гонят
Не русалки ли поют?
Домового ли хоронят
Ведьму ль замуж выдают —

53—56 Бесконечны безобразны
В мутной месяца игре
Мчатся, вьются тени разны
Будто листья в ноябре...

The blue stockings

Синие чулки (*англ.*). В отдельном издании стихотворений Теплякова это произведение имеет эпиграф из Мольера:

...les femmes docteurs ne sont point de mon gout.

«Les Femmes Savantes», *A. I, Sc. III.*

Ученые женщины отнюдь не в моем вкусе.

«Ученые женщины», д. I, сц. III» ⟨*франц.*⟩

Два желания

1 *Пактол* — река в Лидии. В древности была богата золотым песком, который, по поверию, служил источником богатств Креза.

Лизаньке Дельвиг

[1] Дельвиг Елизавета Антоновна (1830—1913) — дочь А. А. Дельвига.

А. А. Дельвигу

В «Стихотворения Н. Языкова» (1833) включено под заглавием «На смерть барона А. А. Дельвига». Имея в виду это стихотворение, Языков писал В. Д. Комовскому 9 декабря 1831 г.: «В „Северных Цветах“ будут напечатаны некоторые из новых моих стихотворений: кое-где попортила смирительная рука властей предержащих: я пришлю вам в их прообразе» (ЛН, т. 19/21. М., 1935, с. 54). Исполняя это обещание, Языков в одном из последующих писем сообщал: «Первый куплет моих стихов „А. Дельвигу“ изуродован цензурою, читайте его вот как:

В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Шелом и царская порфира
Пред ним сияли: он кумира
Не замечал ни одного:
Свободомыслящая лира
Ничем не жертвовала им,
Звуча наитием святым».

(там же, с. 62)

О том же упоминал Сомов в письме к Максимовичу (20 ноября 1831 г.): «От Языкова и еще пришла к нам благостыня; но главную из них подобает очистить, аки злато

В угожденье этой дуре
Нашей чопорной цензуре».

(«Русский архив», 1908, № 10, с. 267). Приведенное двустишие — измененная цитата из стихотворения Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

Рецензент «Гирлянды» писал о стихотворении

«А. А. Дельвигу», что Языков в нем «вспоминает многие подробности, относящиеся к незабвенному поэту» ⟨...⟩ Здесь изображен почти весь земной быт Дельвига ⟨...⟩ Это стихотворение, ознаменованное не одним искусством дарования, но и чувством души, действительно лучшее из его произведений: оно одобряется и умом и сердцем» (1832, № 3—4, с. 77—79).

[1] *Олимпа чашницы младой* — т. е. Гебы.

[2] *Таков он был, хранимый Фебом, Душой и лирой древний грек.*— Имеются в виду стихи Дельвига в духе античных лириков. Ср. восторженный отзыв Пушкина об идиллиях Дельвига, сумевшего «угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания и немецкие переводы» (ПСС, т. XI, с. 58).

[3] *Студент и русский человек* — Н. М. Языков.

Сражение с змеем

До публикации в СЦ-1832 стихотворение было напечатано в журнале «Муравейник» (1831, № 5). Перевод стихотворной повести Шиллера «Der Kampf mit der Drachen». Подлинник написан четырехстопным ямбом. Жуковский несколько сократил текст Шиллера, но основное содержание его передал без изменений. «Московский телеграф» назвал перевод Жуковского «прекрасным» (1832, ч. 43, № 1, с. 117). Высоко оценивал его и Белинский (Полн. собр. соч., т. VII, с. 213).

СОТРУДНИКИ «СЕВЕРНЫХ ЦВЕТОВ НА 1832 ГОД»

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт, один из ближайших друзей Дельвига. Поддерживал дружеские и творческие связи с Пушкиным. На протяжении всей истории СЦ был постоянным автором альманаха и опубликовал в нем следующие произведения: «История кокетства», «Оправданпе», «Сонет», «Череп», «Звездочка» (СЦ-1825); «К Аннете», «Л. С. Пушкину», «Надпись» (СЦ-1826); «А. А. В⟨оейков⟩ой», «Песня», «Телема и Макар», «Наяда», «Эпиграмма» (И ты поэт, и он поэт), «Богдановичу» (СЦ-1827); «Отрывок из поэмы: «Бальный вечер», «Последняя смерть» (СЦ-1828); «Переселение душ», «Смерть», «Деревня», «Старик», «Антологические стихотворения» (1. Как ревностно ты сам себя дурачишь!.. 2. Старательно мы наблюдаем свет... 3. Мой дар убог и голос мой не громок... 4. Глупцы не чужды вдохновенья... 5. Не подражай: своеобразен гений...), «Бесенок» (СЦ-1829); «Эпиграмма» (В восторженном невежестве своем). «Сцена из поэмы: «Вера и неверие», «Муза» (СЦ-1830); «Новинское. Отрывок из 2-ой главы романа «Наложница», «Сара» (Отрывок из романа «Наложница». Глава V), (СЦ-1831). Для СЦ-1832 Баратынский послал Пушкину стихи «Мой Элизий» и «Бывало, отрок, звонким кликом», однако в альманахе появилось только первое. Причины, по которым Пушкин отклонил второе стихотворение, неизвестны. В феврале 1832 г., прося И. В. Киреевского напечатать «Бывало отрок» в «Европейце», Баратынский заметил: «Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в «Северных цветах» (Татевский сборник. М., 1899, с. 38—39).

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт. Творческий путь Батюшкова был прерван неизлечимой болезнью еще до выхода первого выпуска

СЦ, однако его издатели видели в нем одного из своих предшественников в литературе и пользовались каждой возможностью опубликовать его произведения. В СЦ-1826 появились «К N.N.» и «Подражание Ариосту», в СЦ-1827 — «Письмо к С. из Готенбурга», в СЦ-1828 — «Элегия» (Есть наслаждение и в дикости лесов).

Бичурин Никита Яковлевич, в монашестве о. Иакинф (1777—1853) — востоковед, синолог. Был знаком с Пушкиным, сотрудничал в «Литературной газете». В СЦ имеются благожелательные упоминания о трудах Н. Я. Бичурина, однако до 1832 г. он не участвовал в издании альманаха.

Волконская Зинаида Александровна (1789—1862) — писательница, поэтесса, хозяйка литературно-музыкального салона в Москве. В 1829 г. уехала в Италию и дважды (в 1830 и в 1831 гг.) публиковала в СЦ «Отрывки из путевых записок».

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, журналист, критик, друг Пушкина. На протяжении всей истории СЦ был их постоянным автором и опубликовал в альманахе следующие произведения: «Младый певец», «Недовольный», «К журнальным близнецам», «Простосердечный ответ», «Черта местности», «К княжне *** при посылке ей моих песен» (СЦ-1825); «О. С. Пушкиной», «Характеристика», «Альбом», «Нарвский водопад», «Семь пятниц на неделе», «К мнимой счастливице» (СЦ-1826); «Выдержки из записной книжки», «Нетленный цветок», «Слезы прощания» (СЦ-1827); «Море» (СЦ-1828); «Выдержки из записной книжки», «Послание к А. А. Б. При посылке портрета», «Предостережение», «Стансы» (Анне Ивановне Готовцевой), «Эпиграммы» (Неустрашимый самохвал... 2. Двуличен он! избави боже!..), «Простоволосая головка», «Ирландская мелодия» (из Мура) (СЦ-1829); «Слеза» (СЦ-1830); «Осень 1830 года», «Святочная шутка», «Эпиграмма» (Вот враль! подобного ему не знаю чуда), «Леса», «Родительский дом», «К журнальным благоприятелям», «К А. О. Р.***» (СЦ-1831). Готовя СЦ-1832, Пушкин неоднократно пи-

сал Вяземскому, просил его «стихов и прозы» для альманаха. Вяземский прислал только стихи.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, участник движения декабристов. Был в дружеских отношениях с Пушкиным и Дельвигом. «Если увидите А. С. Пушкина,— писал он Вяземскому 22 марта 1831 г.,— прошу обнять его сладкими объятиями поэзии и дружбы; я всегда любил и люблю его от души» (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. 1731, л. 4 об.). Глинка постоянно участвовал в издании СЦ, где были напечатаны следующие его произведения: «Древние замки» (Письмо VI, к другу), «Неузнанная», «Псалом», «Желание бога», «Видение в луне» (СЦ-1825); «Непонятный союз», «Неразлучные», «Вожатый», «Смерть Фигнера», «Черты осени», «Степная жизнь. Воспоминания. Поход» (СЦ-1826); «Чудесная сопутница», «Осенние дни», «Нетленные глаза», «Приключение» (СЦ-1827); «Две сестры или: которой отдать преимущество?», «Восхождение солнца в бурное осеннее утро», «Псалом LXII», «Переговоры в Белой Церкви» (СЦ-1828); «Вступление большой действующей армии на позицию при с. Тарутине», «Не наша сторона», «Псалом LXVII», «Дева и видение», «Царь и мудрец» (СЦ-1830); «Новая пробирная палатка», «Непонятная вещь», «Отрадное чувство», «Тоска о нем», «К синему небу», «Бедность и утешение», «Осень и сельское житье», «Приметы» (СЦ-1831). В письме от 21 ноября 1831 г. Пушкин писал Глинке: «Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние Северные Цветы. Изо всех его друзей Вас да Баратынского недосчитались мы на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего был он связан 〈...〉 Надеюсь еще на вашу благосклонность и на ваши стихи» (XIV, 241). Глинка ответил: «В первый раз из письма вашего узнаю, что альманах составляется *в пользу или в память Дельвига*, милого, доброго Дельвига! О. М. Сомов писал мне неясно. Я, однако ж, еще до получения вашего письма выслал Сомову *одну* в прозе и *пять* пиес в стихах. Теперь Вам посылаю: три в стихах и одну (т. е. один лоскуток!) в прозе» (там же, с. 243—244). В СЦ-1832 напечатаны одна прозаическая

и четыре стихотворные вещи Глинки. Какие из них были посланы Сомову, а какие Пушкину, неизвестно. Но очевидно, что они были включены в сборник, уже получивший цензурное разрешение (9 октября 1831 г.). После выхода СЦ-1832 Глинке был отправлен «нарядный экземпляр» альманаха (ЛН, т. 16/18, с. 590).

Деларю Михаил Данилович (1811—1868) — поэт, переводчик, был в дружеских отношениях с Дельвигом. С 1830 г. участвовал в издании СЦ, где были напечатаны: «Поэт», «К Неве», «Ангелу-хранителю», «Слеза любви» (СЦ-1830); «Сон и смерть», «Выздоровление», «Глицере», «Могила поэта» (СЦ-1831).

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт, ближайший друг Пушкина. О его роли в истории СЦ см. вступительную статью. В СЦ были напечатаны следующие произведения Дельвига: «Песня» (Наяву и в сладком сне), «Русские песни» (1. Скучно девушке весною жить одной. 2. Пела, пела пташечка), «Романс» (Друзья! друзья! я Нестор между вами), «Купальницы» (СЦ-1825); «В альбом С. Г. К-ой», «Н. И. Гнедичу», «Мы», «Эпитафия», «Луна», «Русская песня», «Две звездочки» (СЦ-1826); «Дифирамб», «Друзья», «В альбом А. Н. В⟨уль⟩ф», «Гений-хранитель» (СЦ-1827); «На смерть В⟨еневитино⟩ва», «На смерть собачки Амики», «Застольная песня», «Ответ», «Утешение», «Идиллия» (Некогда Титир и Зоя...), «Эпиграмма» (Свиток истлевший с трудом развернули), «Смерть» (СЦ-1828); «Сон», «Хор для выпуска воспитанниц имп. Харьковского института», «Романс» (Одинок месяц плыл) (СЦ-1829); «Четыре возраста фантазии», «Отставной солдат», «Грусть», «Слезы любви», «Русская песня» (Как у нас ли на кровельке), «Малороссийская мелодия», «Удел поэта», «Изобретение ваяния» (СЦ-1830). В СЦ-1831 Дельвиг не напечатал ни одного своего стихотворения, чем вызвал возмущение Пушкина. «Каков шут Дельвиг, в круглый год ничего сам не написавший и издавший свой альманах в поте лиц наших?» — писал он Вяземскому (XIV, 139). «Видел я, душа моя, Цветы,— говорится в письме к Плетневу,— странная вещь, непонятная вещь! Дельвиг ни единой строчки в них не

поместил. Он поступил с нами как помещик со своими крестьянами. Мы трудимся, а он сидит на судне да нас побранивает. Не хорошо и не благоразумно. Он открывает нам глаза, и мы видим, что мы в дураках» (там же, с. 141). Это письмо было написано лишь за неделю до внезапной кончины издателя СЦ. Известие, полученное Пушкиным 18 января, потрясло его до глубины души. «...Никто на свете не был мне ближе Дельвига 〈...〉 Без него мы точно осиротели» (там же, с. 147).

Пушкин очень хотел видеть в альманахе статью о Дельвиге и предлагал Плетневу написать ее. «...Если бы ты собрался да написал что-нибудь о Дельвиге! то-то было бы хорошо» (там же, с. 189). «Написать о Дельвиге желаю, но не обещаю,— отвечал на это Плетнев.— Все зависеть будет от случая: Минута ему повелитель» (там же, с. 195). Намерение это не было осуществлено. В альманахе напечатана была только небольшая заметка, предваряющая публикацию произведений Дельвига и написанная Сомовым. Сомов сам подтверждал свое авторство в письме к Н. М. Языкову от 26 января 1832 г., где, в частности, говорится: «Стихи Дельвига, как я оговорил в примечании к ним, оставались без поправки; для чего, видно, он их и не выпускал. А после него править — ни у кого из нас рука не поднялась» (ПД, 1493 / VII, с. 11, л. 8 об.).

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, баснописец, в кругу СЦ к нему относились с уважением, хотя видели в нем представителя минувшей литературной эпохи. До 1832 г. печатался в СЦ лишь однажды. В письме к Дельвигу от 25 декабря 1825 г. сообщал, что шлет в альманах «из малого числа безжизненных стихов... две пиесы» («Русский архив», 1891, кн. 2, с. 363). Эти стихотворения: «Подражание 136-му псалму» и «Надпись к портрету лирика» — появились в СЦ-1826. По выходе СЦ-1832 Пушкин отправил книгу И. И. Дмитриеву и получил от него письмо, в котором, в частности, говорилось: «Всем сердцем благодарю вас за альманах и за все прекрасные цветы собственной вашей оранжереи» (XV, 8).

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, один из ближайших друзей Пушкина. В СЦ были

опубликованы: «Привидение», «Таинственный посетитель», «Ночь», «Мотылек и цветы» (СЦ-1825); «Торжество победителей», «Видение», «Отрывки из „Илиады“», «Море» (СЦ-1829).

Комаров Александр Александрович (1813—1874) — преподаватель русской словесности в петербургских военно-учебных заведениях. До 1832 г. в СЦ не печатался.

Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — писатель. До 1832 г. в СЦ не печатался. После выхода СЦ-1832 Лажечникову был отправлен «нарядный экземпляр» альманаха (ЛН, т. 16/18. М., 1934, с. 590).

Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — историк, фольклорист, филолог, поэт, ученый-биолог, адъюнкт, а с 1833 г. ординарный профессор ботаники Московского университета, издатель альманаха «Денница». Был в хороших отношениях с Пушкиным, Дельвигом, Сомовым. Сотрудничал в «Литературной газете», но в СЦ до 1832 г. не печатался. В конце 1829 г. Максимович послал в СЦ статью «О цветке». 12 декабря Сомов писал ему по этому поводу: «Благодарю и очень благодарю вас за прекрасный цветок, но он расцветет уже в парнике «Литературной газеты», ибо проза «Северных цветов» уже отпечатана» («Русский архив», 1908, кн. 3, с. 259). 28 сентября 1831 г. Сомов вновь обратился к Максимовичу. «Пушкин решил на будущий год продолжать «Северные цветы» с благою целью,— писал он,— он поручил мне передать вам его поклон и великое челобитье, а о чем, тому следуют пункты 1-й и последний, если у вас есть что-либо в прозе, какой-либо отрывок из вашей вдохновенной ботаники, то пришлите его нам для «Северных цветов». Да не видитесь ли вы с Языковым? Нельзя ли умолить его Христом да богом, чтоб он прислал нам стихов и поболее и поскорее: ибо «Северные цветы» непременно выйдут в свет к 15-му декабря» (там же, с. 264—265). Максимович прислал для напечатания в альманахе статью «О жизни растений», за что Сомов благодарил его от своего имени и от имени Пушкина.

Одновременно выражалась и благодарность Языкову (см. там же, с. 265). Экземпляр СЦ-1832 был отправлен в числе других и Максимовичу (ЛН, т. 16/18. М., 1934, с. 590).

Мещерский Александр Васильевич (1810—1867) — поэт. До 1832 г. в СЦ не печатался.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — литератор, цензор, профессор русской словесности Петербургского университета, автор известного «Дневника». До 1832 г. в СЦ не сотрудничал. Никитенко был в числе авторов, которых Сомов пытался привлечь к участию в задуманных им литературных сборниках. (См. его письмо от 21 января 1832 г. ПД, 18 690/ /CXXIV, б. 3, л. 3.)

Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — писатель, журналист, литературный и музыкальный критик. В СЦ-1831 он опубликовал «Последний квартет Беетговена». 23 сентября 1831 г. Одоевский сообщал А. И. Кошелеву о том, что «Пушкин издает Северные цветы в пользу детей Дельвига» как об одной из наиболее примечательных литературных новостей. (См.: Труды кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та, вып. 2. Львов, 1958, с. 72).

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, журналист. Пушкин относился к нему с уважением и симпатией. До 1832 г. в СЦ не печатался. После выхода в свет СЦ-1832 Пушкин послал Погодину экземпляр альманаха (РОБЛ, ф. 231, Пог/II, п. 50, № 68).

Прокопович Николай Яковлевич (1810—1857) — поэт. До 1832 г. в СЦ не печатался. Известен как соученик и знакомый Н. В. Гоголя.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). О его роли в истории СЦ см. вступительную статью. В альманахе были напечатаны следующие произведения Пушкина: «Песнь о вещем Олеге», «Демон», отрывки из «Евгения Онегина» (глава 2, строфы VII—X), «Про-

зерпина» (СЦ-1825); «Отрывок из письма к Д‹ельвигу›», «Подражание Корану», «Баратынскому (Из Бессарабии)», «Ему же», отрывки из второй песни «Евгения Онегина», отрывок из поэмы «Цыганы» (СЦ-1826); «Письмо Татьяны» (из 3-й песни «Евгения Онегина»; отрывок из III главы «Евгения Онегина» (ночной разговор Татьяны с ее няней); «К ***» (Я помню чудное мгновенье); «19 октября» (СЦ-1827); «Отрывки из писем, мысли и замечания», «Граф Нулин», «Отрывок из Бориса Годунова», «Элегия» (Под небом голубым страны своей родной), «Ангел», «Череп» (послание к Дельвигу) (СЦ-1828); «IV глава из исторического романа», «Воспоминание», «Ты и вы», «Два ворона», «Любопытный», «To dawe, Esc» (Зачем твой дивный карандаш), «Подражание Анакреону», «Ответ Катенину», «К И. В. С‹ленину›, «Наперсник», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный», «Не пой, красавица, при мне», «Ответ» (А. И. Готовцевой), «К Я‹зыкову›», «Портрет», «В альбом П. А. О‹сиповой›» (СЦ-1829); «Отрывок из литературных летописей», отрывок из VII главы «Евгения Онегина», «Зимний вечер», «Эпиграмма» (Мальчишка Фебу гимн поднес), «Олегов щит», «2-го ноября» (Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...), «К **» (Подъезжая под Ижоры), «Эпиграмма» (Седой Свистов! Ты царствовал со славой), «26 майя 1828», «Я вас любил, любовь еще, быть может», «Многие из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат», «К N. N.» (Счастлив ты в прелестных дурах) (СЦ-1830); «Поэту», «Ответ Анониму», «Монастырь на Казбеке», «Отрывок» (На холмах Грузии лежит ночная мгла), «Обвал» (СЦ-1831).

Розен Егор **Федорович** (1800—1860) — поэт, драматург, критик. Пушкин помогал Розену как издателю альманаха «Альциона», и Розен высоко ценил эту помощь. «Спасибо Пушкину,— говорится в одном из его писем к Глинке,— он крепко меня поддерживает...» (ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, ед. 382). Известно также, что Розен был частым гостем Дельвига и интересовался его мнением о своих произведениях. (См.: *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни, т. 1. М.: Academia, 1933, с. 55, 72). О своих отношениях с Пушкиным и

Дельвигом Розен писал в статье «Ссылка на мертвых» («Сын Отечества», 1847, июнь, отд. III, с. 3—40). В СЦ Розен сотрудничал с 1829 г. и напечатал там следующие произведения: «Тайна розы» (СЦ-1829); «Путь любви», «Венчальный обряд», «Маленькая роза» (СЦ-1830).

Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — писатель, критик, журналист. О его роли в истории СЦ см. вступительную статью. В альманахе были напечатаны следующие произведения Сомова: «Юродивый» (СЦ-1827), «Обзор российской словесности за 1827 г.», «Гайдамак», «Русский романтик русскому классику» (СЦ-1828); «Обзор российской словесности за 1828 г.», «Мнимому классику» (СЦ-1829); «Обозрение российской словесности за первую половину 1829 года», «Кикимора» (СЦ-1830); «Обозрение российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 года» (СЦ-1831).

Ставелов Н.— поэт, до 1832 г. в СЦ не печатался. Кроме стихотворения «Странник», в СЦ-1832 предполагалось напечатать еще одно стихотворение Н. Ставелова — «Горная вершина», но оно было запрещено цензурой. Об обстоятельствах этого запрещения рассказывает дело, сохранившееся в ЦГИА (ф. 777, оп. 1, ед. хр. 1101). Цензурный комитет согласился с мнением цензора В. Семенова, что в «Горной вершине» «выражается, по-видимому, сомнение касательно бессмертия души» (л. 9), и представил решение вопроса о его напечатании на усмотрение Главного управления цензуры. 13 ноября 1831 г. своим отношением за № 381 Главное управление цензуры известило о своем согласии «с мнением комитета о невозможности позволить» стихотворение Н. Ставелова (л. 11).

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — поэт, позднее глава известного философского кружка. В СЦ-1831 был напечатан его перевод «Филин».

Струйский Дмитрий Юрьевич (псевдоним Трилунный) (1806—1856) — поэт, прозаик, музыкант, критик.

Общался с Пушкиным и Дельвигом. Первые публикации Струйского в СЦ появились в 1831 г.: «Выдержки из записной книжки», «Альпийские сосны», «Слезы».

Теплова Надежда Сергеевна (1814—1848) — поэтесса. До 1832 г. в СЦ не печаталась. После выхода СЦ-1832 Н. С. и С. С. Тепловым был отправлен экземпляр альманаха (ЛН, т. 16—18, с. 590).

Теплова Серафима Сергеевна (ок. 1815 — после 1861) — поэтесса, сестра Н. С. Тепловой, которой посвящено публикуемое в СЦ-1832 стихотворение. Ранее в СЦ не печаталась.

Тепляков Виктор Григорьевич (1804—1842) — поэт, прозаик, путешественник. В СЦ сотрудничал с 1830 г. и опубликовал в альманахе следующие произведения: «Странники» (СЦ-1830); «Письмо III из Турции», «Первая фракийская элегия. Отплытие», «Современное благополучие», «Румилийская песня» (СЦ-1831).

Тимашева Екатерина Александровна (1798—1881) — поэтесса. Была знакома с Пушкиным, в начале января 1831 г. просила Вяземского выразить признательность Пушкину за публикацию в СЦ-1831 ее стихотворения «Ответ» (ЛН, т. 58, с. 100).

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург, поэт. До 1832 г. в СЦ не печатался.

Шибаев Н. И.— поэт. В СЦ-1831 опубликовал стихи «Неаполь» и «Элегия».

Щастный Василий Николаевич (1802 — не ранее 1853) — поэт, переводчик. Общался с Пушкиным и Дельвигом. Как свидетельствует А. И. Дельвиг, Щастный часто бывал у его брата и просил его замечаний на свои стихи. В СЦ напечатал следующие произведения: «Беседа милой девы», «Кто приподнял нескромною рукою...» (СЦ-1829), отрывок из драматической поэмы Иосифа Коженевского «Отшельник» (СЦ-1831).

Языков Николай Михайлович (1803—1845) — поэт. Поддерживал личные и творческие контакты с Пушкиным. Сотрудничал в СЦ и опубликовал в альманахе следующие произведения: отрывок из повести «Ала», «Слава богу», «Две картины» (СЦ-1826); «К няне» (СЦ-1828); «А. Н. В⟨уль⟩фу», «Барону А. А. Дельвигу» (СЦ-1829); «Элегия» (СЦ-1831). Издатели «Северных цветов» дорожили материалами, полученными от Языкова. 15 января 1829 г. Сомов писал поэту: «Препровождаю к вам «Северные цветы» и прошу их любить да жаловать, так как и их издателей. Что последних вы любите, о том заверил нас Булгарин, а *жаловать* их если будете так, как в нынешнем году, то это будет истинно царское жалование» (ПД, 1493 / VII с, л. 2). Также и в последующих письмах (см. там же, л. 2 об., 3, 4) Сомов от своего имени и от имени Дельвига благодарил Языкова за присланные стихи и просил, чтобы он и впредь не лишал альманах своих «даяний». В сентябре 1831 г. Сомов через Максимовича обращался к Языкову с просьбой прислать свои произведения для СЦ-1832 (см. справку «Максимович М. А.»). 18 ноября 1831 г. Пушкин просил Языкова поторопить Вяземского, от которого он также ждал материал для альманаха. После выхода СЦ-1832 Языкову был отправлен экземпляр (ЛН, т. 16/18, с. 590). Языков остался недоволен альманахом. Он писал В. Д. Комовскому: «А что Сев. Цветы — сия тризна по Дельвигу —как их называет ее свершитель Пушкин. Мы ожидали и бог знает чего — ан вышел грех. Замечательно в нашей литературе, между прочим, и то, что все крупные предприятия важнейших ее сановников — не удаются —такова «Литературная газета» и проч.» (ЛН, т. 19/21, с. 61).

Якубович Лукьян Андреевич (1808—1839) — поэт. До 1832 г. в СЦ не печатался.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ЛН — «Литературное наследство».

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

ПСС — Пушкин. Полн. собр. соч., т. I—XVI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949.

РОБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.

СЦ — «Северные цветы». Если имеется в виду какая-либо одна книжка альманаха, то через дефис указывается соответствующий год. Например: СЦ-1830— «Северные цветы на 1830 год».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (в Ленинграде).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Северные цветы на 1832 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

НА 1832 ГОД

*

Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»
АН СССР

Редактор издательства
И. Г. Древлянская

Художник
Е. М. Дробязин

Художественный редактор
Т. П. Поленова

Технический редактор
Н. П. Кузнецова

Корректоры
Л. С. Агапова, О. В Лаврова

ИБ № 15004

Сдано в набор 14.08.79.
Подписано к печати 12.11.79.
Формат 70×90 1/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура елизаветинская.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 14,62. Уч.-изд. л. 16.
Тираж 100000 (2-й завод 50001—100000) экз.
Тип. зак. 3319. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

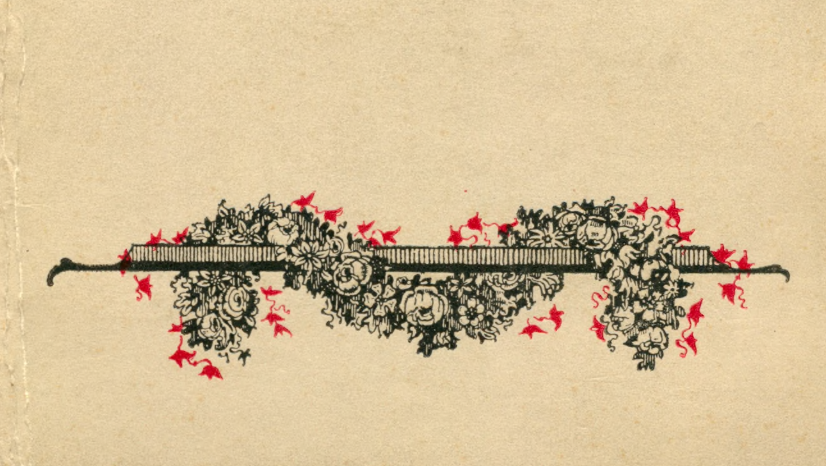
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

2 р. 20 к.





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»





СЕВЕРНЫ
ЦВЕТЫ
НА 1832 ГОД

